

ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ

ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ

.



ФИЛОСОФСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ
ИСТОРИЧЕСКОЙ
НАУКИ

1969

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» • МОСКВА

В основу книги положены труды семинара по философским вопросам обществознания Института философии АН СССР. В ней освещены такие вопросы, как предмет и метод исторической науки, закон и закономерность в истории, многообразие исторического процесса, точные методы и историческая наука и др.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ РЕДАКТОРЫ

А. В. ГУЛЫГА, Ю. А. ЛЕВАДА

ОТ РЕДАКЦИЙ

Предлагаемая вниманию читателя книга представляет собой сборник трудов семинара по философским проблемам обществознания, работающего в Институте философии АН СССР с 1963 г. Задача семинара — обсуждение актуальных проблем марксистской философии, рассматриваемых применительно к специфике той или иной общественной дисциплины. Первые годы своей работы семинар посвятил изучению философских проблем исторической науки. В сборник включены доклады, прочитанные на заседаниях семинара и доработанные авторами с учетом замечаний, высказанных в прениях. Ряд материалов публиковался в периодической печати, что позволило организовать вокруг них более широкий обмен мнениями.

Характер деятельности семинара определяет лицо публикуемых работ. Внимание авторского коллектива главным образом приковано к тому, что составляет предмет дискуссии. Естественно, что по конкретным вопросам взгляды различных авторов не всегда совпадают, так как по ряду специальных проблем они высказывают свои личные точки зрения. Это в порядке вещей, когда речь идет о выяснении еще не решенных или спорных вопросов.

Авторы книги заняты исследованием предмета и метода исторического знания, многообразного характера исторического процесса и способов его отражения — так можно было бы коротко характеризовать направленность их работы. Авторы книги затрагивают достаточно широкий круг вопросов, однако можно констатировать, что их внимание концентрируется на разработке узловых проблем теории исторического процесса и исторического по-

знания. Таковы рассматриваемые в книге понятия исторической науки как самосознания общества, как научной формы исторического сознания человечества; понимание причинности в истории, исторической закономерности, исторического детерминизма, понятия исторической необходимости, возможности и случайности; проблема объективности исторического знания, характер и природа исходных объектов в историческом исследовании, понятие реальности прошлого в исторической науке, вопрос о доказательности исторических исследований; проблема целостности общества как в синхроническом, так и в диахроническом аспектах; проблема начала человеческой истории — т. е. исследование грани между биологической и общественной формами движения материи; некоторые вопросы теории общественно-экономических формаций; взаимосвязь истории с другими науками, с естественными в особенности, структурный метод исследования в исторической науке, логика исторического познания; взаимосвязь истории и искусства, истории и этики, типология как способ исторической абстракции, понятие исторического образа, достоверность как этическая и эстетическая категория истории.

Авторы книги большое внимание уделяют критическому анализу современной буржуазной философии истории — как в специальных статьях, так и при рассмотрении тех или иных конкретных проблем.

Выполняя указания партии по идеологическим вопросам, авторы решительно выступают против попыток как ревизии марксистско-ленинской теории, так и догматического ее истолкования,

ИСТОРИЯ КАК НАУКА

А. В. Гулыга

Термин «история» многозначен¹. В русском языке можно насчитать по крайней мере шесть значений этого слова. Два из них имеют чисто бытовой характер. Это история как повествование и история как происшествие. Действительно, человек, сочинивший историю, еще не историк, а попасть в историю далеко не всегда значит обессмертить свое имя.

Остальные четыре значения этого слова представляют собой научные термины. Это прежде всего история как процесс развития. Мы говорим об истории мироздания, об истории Земли, ее флоры и фауны. Мы говорим об историческом рассмотрении предмета, о проникновении историзма в любую науку². Именно в этом смысле следует понимать слова Маркса и Энгельса в «Немецкой идеологии»: «Мы знаем только одну-единственную науку, науку истории. Историю можно рассматривать с двух сторон, ее можно разделить на историю природы и историю людей»³.

¹ Об этимологии слова «история» см. K. Keuck. *Historia. Geschichte des Wortes und seiner Bedeutung in der Antike und in den romanischen Sprachen*. 1934.

² Для марксиста историзм означает требование рассматривать предмет в развитии, в конкретных условиях того или иного этапа развития. В буржуазной литературе под историзмом зачастую понимают предельную индивидуализацию событий, доходящую до отрицания чего-либо стабильного, каких-либо закономерностей. Отсюда следующее определение: «В философии историзм выступает как исторический релятивизм» (см. F. Austring. *Wörterbuch der Philosophie*. 1961). «Суть историзма, — пишет Ф. Мейнеке, — состоит в замене генерализирующего рассмотрения исторически возникающих человеческих сил рассмотрением индивидуализирующим» (F. Meinecke. *Die Entstehung des Historismus*. Stuttgart, 1959, S. 2).

³ К. Маркс и Ф. Энгельс. *Сочинения*, т. 3, стр. 16.

Таким образом, провозглашение истории единственной наукой не дает историкам повода для кичливости; это всего лишь требование рассматривать любое явление исторически, т. е. в развитии, в движении от низшего к высшему. Общей теорией развития, в какой бы сфере действительности оно ни происходило — в природе, обществе, мышлении, — является диалектический материализм. Поскольку история общества рассматривает свой объект в качестве развивающегося целого, она также опирается на законы диалектики.

Другое значение термина история состоит в обозначении им жизни общества. «История — не что иное, как деятельность преследующего свои цели человека», — читаем мы в «Святом семействе»⁴. В этом смысле мы говорим о законах истории, противопоставляя их законам природы. Законы истории, т. е. законы общественного развития, изучают не только историки, но и социологи, экономисты, юристы, искусствоведы. В наиболее обобщенном виде эти законы составляют содержание исторического материализма — философской науки, являющейся методологической основой не только для историка, но в равной мере и для представителей других наук. Любая общественная дисциплина строит свою методологию на основе как исторического материализма, так и диалектического материализма с учетом тех специфических особенностей, которые характерны для данной науки.

Специфика той науки, которой занимается историк, состоит в том, что она обращена к прошлому. История — это прошлое. Таково третье значение рассматриваемого нами термина. Принадлежать истории — значит относиться к прошлому.

Наконец историей мы называем науку, изучающую прошлое человеческого общества. Это и есть собственно история, гражданская история, или историческая наука⁵. Наша статья посвящена

⁴ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 2, стр. 102. Ср. также характеристику Энгельса: «Исторические науки суть те, которые не являются науками о природе» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 13, стр. 491).

⁵ Семантический анализ термина история представляется необходимым, так как отсутствие должной строгости в употреблении понятий, с которыми мы сталкиваемся даже в фундаментальных справочных изданиях, создает дополнительные трудности при определении предмета и задач исторической науки. В «Большой советской энциклопедии» говорится, что термином история обозначается процесс развития, и далее история определяется как наука, «изучающая развитие человеческого общества как единый, закономерный во всей своей громадной разносторонности и противоречивости, процесс» (БСЭ, 2-е изд., т. 19, стр. 24). Приведенное определение представляет собой почти дословную ленинскую характеристику... исторического материализма. В «Философской энциклопедии» мы читаем: «История применительно к обществу обозначает: 1) реальный процесс развития общества в целом, а также отдельных стран, народов или сторон общественной жизни; 2) науку, изучающую этот процесс во всей его конкретности и многообразии» (Философская энциклопедия, т. 2. М., 1962, стр. 368). Между тем такой

выяснению некоторых имеющих методологическое значение особенностей истории как науки.

Уточним понятие методологии. Когда мы говорим о методологии истории, мы имеем в виду не только исторический материализм. Сказать, что исторический материализм представляет собой методологию истории, значит выразить безусловную, но неполную истину. В этом высказывании обеднено, сужено значение как исторического материализма, так и методологии, философии истории. Роль, которую исторический материализм играет в системе современного научного знания, не сводится к методологическому обоснованию исторической науки. Все науки (и не только гуманитарные, но и естественные) в той или иной степени находят в историческом материализме основополагающие методологические идеи. Все науки связаны с общественной практикой, так или иначе решают проблемы общественной эффективности своих открытий, их результатов и последствий. Все формы знания обусловлены социальными отношениями. Научное решение этого комплекса проблем ученый находит в историческом материализме, который, подобно диалектическому материализму, служит всеобщей методологией. С другой стороны, методология истории должна решить ряд общеполитических проблем, выходящих за пределы исторического материализма. Историк приходится сталкиваться с рядом гносеологических, логических, даже эстетических задач, которые перед ним встают иначе, чем перед другими учеными. Уже рассмотрение проблемы исторической реальности, с которой мы начнем наш анализ, убедит нас в этом.

ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ И ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ

В рассказе М. Эме «Декрет» с героем происходят удивительные метаморфозы. Внезапно он переносится в будущее, на семнадцать лет вперед, затем столь же неожиданно возвращается назад. Человек, от лица которого ведется повествование, обескуражен, он размышляет по поводу случившегося и приходит к выводу, что время есть всего лишь переход его сознания из одного мира в другой; существует бесчисленное множество миров, и каждая секунда переносит человека в новую действительность.

Это — точка зрения релятивиста, позитивиста-эмпирика, проверяющего истину лишь показаниями органов чувств, не признаю-

единой науки нет; процесс развития общества во всем многообразии встающих при этом проблем — предмет изучения всей совокупности социальных дисциплин. История не занимается перспективами развития общества (хотя ее выводы могут быть весьма полезны при определении последних), ее взгляд всегда ретроспективен, ее внимание целиком приковано к достигнутым результатам.

щего ничего, кроме непосредственно данного. Позитивизм отвергает понятие материи на том основании, что невозможно поставить единичный эксперимент, доказывающий ее существование. Такой эксперимент, действительно, поставить нельзя, но дело заключается в том, что далеко не все сущее находит свое подтверждение в единичном эксперименте. Существование материи доказывается не каким-либо одним экспериментом, а всем совокупным опытом науки и повседневной практики.

Для позитивиста предмет истории ирреален; прошлого нет, и историк не видит «ничего реального кроме исписанной бумаги», как говорил в свое время Сеньобос⁶.

Неужели это так? Неужели история трактует только о том, чего нет? Тогда значительная часть деятельности историка есть времяпрепровождение весьма сомнительного свойства, и он может претендовать на звание ученого только там, где имеет дело с «верифицируемыми остатками».

Конечно, в этих рассуждениях есть доля тривиальной истины, состоящей в том, что совершившееся событие утрачивает свое существование. Вы приходите на поле боя, в котором были ранены, и не узнаете его: исчезли разрушения, воронки, траншеи, вас окружает мирный пейзаж. А где участники боя? «Иных уж нет, а те далече». Но вот вы заходите в деревню и видите памятник погибшим, при желании вы можете найти и очевидцев сражения, память о котором продолжает жить.

Историческое событие, совершившись, не переходит в чистое небытие. Оно продолжает жить, и подчас не только в сознании людей, но в материальных процессах. Взятие власти пролетариатом в России произошло в течение короткого времени, но реальность этого события ощущается людьми и поныне, в иных местах земного шара сегодня даже значительно сильнее, чем в октябре 1917 г. Десять дней, которые в свое время потрясли мир, продолжают влиять на ход современных мировых событий. Октябрьская революция живет в достижениях Советской страны, в борьбе за демократию и социализм других народов, в новых принципах международных отношений.

Диалектика позволяет различать понятие «бытие» и «существование». Первое значительно шире второго. Существование — это непосредственное бытие; его противоположность — бытие, опосредствованное чем-либо. Противоположность бытия — небытие, чистое ничто, лишенное каких-либо определений. Существование — это настоящее, момент перехода к будущему. Понятием бытия мы охватываем всё, что было, есть и будет. Реально не

⁶ Ланглуа и Сеньобос. Введение в изучение истории. СПб., 1899, стр. 173. «Единственной реальностью является настоящее», — такова точка зрения Г. Рейхенбаха (Г. Рейхенбах. Направление времени. М., 1962, стр. 12).

только настоящее (это высшая степень, полнота реальности), но реально также и прошлое, реально будущее. Мы недаром говорим о реальных возможностях как о том, что принадлежит окружающей нас действительности, для осуществления чего имеются необходимые условия. Полет на Луну ныне совершенно реальная вещь, менее реален полет на другие планеты, выход за пределы Солнечной системы также реален, но в настоящее время обладает минимальной долей реальности.

Различной степенью реальности обладает и прошлое. От события, которым человечество живет сегодня (как мы увидели на примере Октября), до событий, о существовании которых мы знаем по преданиям и другим малодостоверным источникам, — огромная шкала различных степеней реальности.

Реальность истории проявляется прежде всего в действии общественных законов. Включая реостат, мы замечаем, как сразу же меняются показания амперметра: закон Ома действует в любой момент времени и может быть проверен на данных этого момента. Но никто не сможет, взяв какой-нибудь один момент из жизни общества, установить действие закона соответствия производственных отношений характеру и уровню развития производительных сил. Этот закон выведен на основе изучения значительного отрезка пути, пройденного человечеством, прошлые этапы которого рассматриваются как обладающие необходимой для науки реальностью. Прошлое определяет настоящее, представляет собой основу, на которой разворачиваются современные события. Сущность — в прошлом, говорил Гегель.

Когда мы говорим об обществе, мы имеем в виду не только живущих сегодня людей, но систему отношений, существующую уже много веков; для жизни общественного организма события отдаленных веков столь же реальны, как для отдельного индивида то, что случилось с ним в детстве. Человек не может отказаться от своего прошлого. Даже если он забыл его, оно вторгается в его жизнь. Точно так же обстоит дело и с человечеством: история — это его память, она хранит и воспроизводит все, что ему дорого и что ненавистно.

Материальные и духовные ценности, созданные в прошлом, принадлежат настоящему. Без их освоения невозможно движение вперед; люди принимают эстафету из рук предшествующих поколений и нанизывают новые звенья на цепь культурной эволюции человечества. Минувшее живет в созданной человечеством культуре, в сложившихся общественных связях, политическом строе, традициях и т. д.

Прошлое обладает реальностью. Можно ли назвать эту реальность объективной? Прежде чем ответить на этот вопрос, нам придется снова уточнить термины. Маркс видел недостаток старого материализма в том, что действительность бралась последним «только в форме объекта, или в форме созерцания, а не как чело-

*веческая чувственная деятельность, практика, не субъективно»*⁷. Окружающая человека действительность, которую он познает и одновременно преобразует, есть единство субъекта и объекта. В этом смысле все общественные отношения и связи носят субъективно-объективный характер, причем под объектом понимается здесь предмет и результат деятельности, а под субъектом — ее носитель, общественный человек, коллектив, общество в целом. В этом смысле исторический процесс есть непрерывное взаимодействие субъекта и объекта.

Но понятие «субъект» мы можем брать и в старом, традиционном смысле — в смысле индивида, «созерцающего», познающего противостоящий ему объект. В этом смысле общественные отношения объективны и объективна реальность прошлого. Разумеется, эта реальность не дана человеку в его ощущениях, не является материальной.

Отражение исторической действительности есть ее реконструкция, воспроизведение. Конечно, историк не создает по своему усмотрению, а лишь воссоздает прошлое, стараясь приблизить описание и анализ событий к тому, что имело место в действительности. Задача исторического познания, как и любого другого, состоит в том, чтобы дать максимально верный слепок с реальности, но в истории степень относительности, гипотетичности знания больше, чем где бы то ни было.

Историческое знание носит характер объективной истины, но применение этой гносеологической категории к области знаний о прошлом имеет свою специфику, к сожалению, еще недостаточно изученную. Между тем ясно, что историк в значительной степени ограничен в возможностях применения такого надежного средства проверки научной истины, каким является практика. Конечно, изучая современную жизнь, особенно опыт развития отсталых народов, мы можем на практике подтвердить истинность ряда исторических закономерностей. Все шире применяется естественнонаучный эксперимент при изучении материальных памятников прошлого. Но в большинстве случаев обращение к практической деятельности не может выручить историка. Для того, чтобы отличить правду от лжи, разрушить произвольные построения, здесь применяется иное средство — критика источников. Тщательно изучая ход событий, документы и свидетельства, историк может прийти к достоверному выводу. Суду истории, как и обычному суду, для вынесения приговора надо знать истину, и деятельность историка в известных отношениях напоминает работу следователя. На Нюрнбергском процессе они совпали.

В иных науках исследователь имеет перед своими глазами факт — элемент изучаемой им действительности, он может его наблюдать или воспроизвести в эксперименте. Историк лишен

⁷ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 3, стр. 1.

такой возможности. У него нет непосредственного контакта с фактами, он имеет дело с источниками. Исходя из них, он реконструирует, воссоздает факты.

Но это отнюдь не означает, что события, уходя в прошлое, уносят с собой свой смысл, что чем больше дистанция, отделяющая нас от исторического факта, тем менее достоверно наше знание о нем. Если речь, разумеется, не идет о седой старине, то скорее наоборот. Большое видится на расстоянии. Зачастую люди не могут правильно оценить происходящее вокруг них и лишь ретроспективно приходят к пониманию событий. Энгельс, в частности, обращал внимание на то, что «ясной картины экономической истории какого-нибудь периода никогда нельзя получить одновременно с самими событиями, ее можно получить лишь задним числом, после того как собран и проверен материал»⁸. То же самое происходит и в политической истории: с течением времени исчезают иллюзии, утихают страсти, проходит опьянение деятельностью и трезвый рассудок спокойно произносит свой приговор. «Сова Минервы вылетает только в сумерки».

Путь историка к истине начинается со сбора источников⁹. Источником для историка может служить любой результат человеческой деятельности. Существует несколько вариантов классификации источников, но принципиального значения этот вопрос не имеет. Важным для историка является только одно обстоятельство: установить, связан ли данный источник непосредственно с событиями или возник позднее и свидетельствует о событии опосредованно. Этой цели отвечает деление источников (предложенное Э. Бернгеймом) на исторические остатки и традицию. К первым относятся предметы и документы, ко второй — воспоминания, произведения искусства, историческая литература. Строго говоря, любое исследование для историка — всего лишь источник.

В некоторых областях истории сбор фактического материала — своеобразный научный подвиг. С какой настойчивостью, иногда даже с риском для жизни разыскивают археологи остатки древних культур. Однако не только далекое прошлое, но подчас и недавние события скрываются от нас из-за отсутствия источников, и иная архивная находка легко может стать научным событием первостепенной важности.

Но в большинстве случаев исторiku (особенно новейшего времени) не приходится жаловаться на недостаток материала. Под-

⁸ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 22, стр. 529—530.

⁹ Конечно, интеллект историка — не «*tabula rasa*». Приступая к исследованию, как и любой другой ученый, историк имеет некоторое первоначальное представление о проблеме, почерпнутое из своего или чужого опыта; в его голове всегда есть идея, без которой, как говорят, глаза не видят фактов. Но задача состоит в том, чтобы эта идея не задавила факты, особенно тогда, когда последние с ней расходятся.

шивки газет, тома дипломатической переписки, мемуары и архивные материалы содержат такое изобилие данных, что главной задачей становится не сбор, а изучение, отбор, оценка источников.

Прежде всего проверяется подлинность источника, устанавливается время и место его возникновения. Подделка документов, интерполяции и сокращения, извращающие смысл, — обычные приемы фальсификации истории, процветавшей во все эпохи¹⁰. М. Н. Покровский показал, как подчас тенденциозно составлялись летописи и другие источники, какое одностороннее освещение давали событиям дворянские и буржуазные авторы.

Вполне оправданны поэтому обращенные к историкам призывы авторов, пишущих по вопросам методологии, быть недоверчивым к источникам, подвергать их тщательному критическому анализу. «Подвергай все сомнению» — это изречение, которое так любил Маркс и которым должен руководствоваться любой историк.

Историческое знание даже на уровне фактов «отягощено» интерпретацией. Строго говоря, исторический факт — это лишь источник, подвергшийся истолкованию. Поэтому в истории мы сталкиваемся с тем, что иные факты, знакомые нам с детства, «обросшие» теоретическими построениями, иногда теряют достоверность.

Помимо умышленного искажения событий, помимо недостатка источников или несовершенства методов их изучения, создающих определенную аберрацию при взгляде на прошлое, историку приходится сплошь и рядом иметь дело с односторонним освещением событий, проистекающим из целого ряда социальных и личных факторов.

В обществе, разделенном на классы и нации, историческое знание часто приобретает политический характер. Не мудрено, что одно и то же историческое событие получает прямо противоположное освещение у авторов, представляющих различные социальные группы.

Наконец, личные качества исследователя. В истории они играют особую роль. Человека, небрежно обрабатывающего и умышленно искажающего данные естественнонаучного эксперимента, нетрудно вывести на чистую воду. Сложнее это сделать в истории, особенно когда речь идет об уникальных и труднодоступных исторических источниках.

¹⁰ Не будем приводить примеры. Отметим лишь, что подобное обращение с историей не только исключает ее из мира науки, но превращает ее в весьма сомнительное занятие, по достоинству оцененное уже в древности. Лукиан с предельной четкостью обрисовал ситуацию: «Единственное дело историка — рассказать все так, как оно было. А этого он не может сделать, если боится Артаксеркса, будучи его врачом, или надеется получить в награду за похвалы, содержащиеся в его книге, пурпурный кафтан, золотой панцирь, нисейскую лошадь» (Лукиан из Самосаты. Как следует писать историю, 39. — Избранное. М., 1962, стр. 418).

Правда, методы естественных и точных наук ныне все больше помогают историкам в изучении материальных памятников и массовых источников, но печать личных особенностей исследователя все так же определяющим образом налагается на историческое исследование. По-прежнему серьезную опасность для исторической науки представляет «болезнь Фроуда», о которой в свое время писал Ш.-В. Ланглуа: «Фроуд был хорошо одаренным историком, но страдал слабостью никогда не писать правды; про него говорили, что он был constitutionally inaccurate»¹¹. Если речь не идет об умышленном искажении, то «болезнь неточности» возникает в результате недостатка квалификации, поспешности, ослабления внимания, чрезмерного доверия к собственной памяти, неконтролируемой игры воображения.

Познание в истории, как бывает и в других областях науки, идет от кажимости к явлению и дальше к сущности. Кажимость — категория, характеризующая собой неадекватность отражения, ошибки в познании, которые возникают вследствие объективно существующих обстоятельств. Для историка эта категория олицетворяет собой предупреждение о критическом отношении к материалу, о недоверии к источнику, о необходимости его проверки и изучения. В науке, как и в жизни, первое впечатление иногда бывает обманчивым, на самом деле явление может оказаться иным, чем оно кажется.

Но, перейдя к явлению от кажимости, т. е. к правильному пониманию факта от искаженного, убедившись в достоверности факта, историк еще не достигает цели — правдивого изображения действительности. Можно говорить только правду, но не всю правду. Можно оперировать подлинными фактами, но давать искаженную картину событий, ибо факты фактам рознь. Есть факты значительные, определяющие, а есть факты второстепенные; есть отдельные факты и есть их совокупность, система. Только в системе фактов может быть обнаружено действие исторической закономерности.

ЗАКОН И ФАКТ. ТРИ ПОДХОДА К ПРОШЛОМУ

История — наука; как таковая она опирается на определенную совокупность законов развития общества. Однако эти законы имеют некоторые специфические особенности. Если в природе действуют бессознательные силы и закономерности проявляются непосредственно в их взаимодействии, то общество состоит из людей, наделенных сознанием и волей, ставящих перед собой определенные цели, стремящихся осуществить их, и закономерность

¹¹ Ланглуа и Сеньобос. Введение в изучение истории, стр. 99.

здесь пробивается как некая равнодействующая миллионов людских поступков. Уже в христианском провиденциальном понимании истории как промысла божьего, хотя и в мистической форме, родилась идея общественных изменений, происходящих не в силу личного произвола. Это растворение личного, человеческого в общем, божественном вызвало протест бунтарей духа, выражавших в конечном итоге революционные или оппозиционные настроения угнетенного народа. Так появляются различного рода еретические учения, в которых человек — тварь, созданная богом, превращается в человека-творца, равного богу. Возрождение секуляризировало идею свободной личности, создало своеобразный культ сильного человека, пролагающего неизведанные пути в заморские страны, раздвигающего горизонты науки и искусства, творящего историю.

Тем не менее вскоре было замечено, что люди далеко не всегда в состоянии предвидеть естественные и тем более общественные последствия своей деятельности. Каждый индивид преследует свои собственные личные цели, но в итоге возникает нечто такое, чего не было в его намерениях. Человек, который из мести поджег дом своего соседа, вызвал пожар, уничтоживший целый город: результат, порожденный действием преступника, вышел далеко за пределы поставленной им цели. Нечто подобное происходит и во всемирной истории.

К началу XVIII в. факт несовпадения индивидуальных целей и общественных результатов в деятельности людей стал достоянием науки. Об этом, в частности, писал Дж. Вико¹². Гердер и Гегель в значительной степени повторяли Вико. Несовпадение индивидуального и общественного Гегель называл «хитростью разума». Божественный разум не только могуществен, но и хитер; его хитрость состоит «в опосредствующей деятельности, которая, дав объектам действовать друг на друга соответственно их природе и истощать себя в этом воздействии, не вмешиваясь вместе с тем непосредственно в этот процесс, все же осуществляет лишь *свою собственную цель*»¹³.

Идея общности людей в средневековом христианском понимании выступала здесь в сочетании с определенным пониманием роли, которую играет индивид, наделенный сознанием и волей. Философия истории Гегеля утверждала творческую активность

¹² «Сами люди создали этот Мир Наций... но этот Мир, несомненно, вышел из некоего Ума, часто отличного, а иной раз совершенно противоположного, и всегда — превосходящего частные цели самих людей, тех людей, которые ставили себе эти цели. Делая из таких ограниченных целей средства для служения целям более широким, Ум всегда пользовался ими для сохранения Поколения Людей на земле» (Джамбаттиста Вико. Основания новой науки об общей природе наций. Л., 1940, стр. 470).

¹³ Гегель. Сочинения, т. I, стр. 318—319.

личности и лишь предупреждала о том, что в деятельности человека есть нечто надындивидуальное, содержащееся в его поступках, но отсутствующее в намерениях. В неявной, извращенной форме здесь была выражена идея социального, порождаемого совокупным действием массы людей, идея сведения индивидуального к социальному.

При таком подходе к проблеме в обществе удастся обнаружить действие законов. Общественные законы проявляются как суммарное действие огромного множества случайных факторов, т. е. носят сугубо статистический характер. Известно, что в массовом масштабе случайности сами себя упраздняют, их действия не накапливаются, а компенсируются, взаимно погашают друг друга, вследствие чего вполне определенно проявляется действие законов. Поступки индивида определяются множеством случайных факторов, далеко не всегда поддающихся рациональному истолкованию, но эти поступки «гаснут», растворяются в совокупном действии огромной массы людей.

Статистические методы исследования дают возможность обнаружить необходимость там, где на поверхности видна лишь игра случая. Однако можно ли считать статистические законы вполне достоверными? Не уступают ли они в точности динамическим законам, т. е. тем, которые приложимы к каждому отдельному явлению?

Математика рассеивает подобные предубеждения. Не в степени достоверности следует искать отличие законов статистических от законов динамических. Различие между этими двумя видами законов в том, что статистические законы не обнаруживаются в единичном явлении в любой момент времени, а действуют там, где проявляется суммарное воздействие множества однородных случайностей.

Наблюдая картину исторической действительности во всех ее деталях, зачастую мы видим прямо противоположное тому, что следовало бы ожидать исходя из знания законов социального развития. Но делать отсюда вывод, что социальные законы не обладают достаточной силой, как заметил один социолог, — значит уподобляться школьнику, который, наблюдая воздушный шар, ставит под сомнение существование силы тяготения.

Выводы, вытекающие из статистических законов, тем точнее, чем больше число единичных явлений, из которых складывается данный процесс. Действие исторических законов мы можем обнаружить, взяв для рассмотрения либо массовый процесс, где менее всего сказывается влияние индивидуального начала, либо достаточно обширный исторический период.

Это не означает, однако, что действие законов проступает только при рассмотрении всей человеческой истории от питекантропа до наших дней. Принцип историзма предполагает непрерывное усложнение структуры, которое приводит к тому, что

возникают новые закономерности и исчезают старые. В экономической истории законы действуют с «естественнонаучной точностью». Однако, по мысли Маркса, и здесь, за исключением самых общих положений, мы не обнаружим закономерностей, которые действовали бы «всегда и везде». В каждый исторический период в конкретных условиях производство приобретает особый характер. «Не существует производства вообще»¹⁴.

Маркс настойчиво подчеркивал, что понимания истории нельзя достичь, «пользуясь универсальной отмычкой в виде какой-нибудь общей историко-философской теории, наивысшая добродетель которой состоит в ее надысторичности»¹⁵.

Каждое общество, каждая культура, каждая эпоха, иногда даже страна рождает свои собственные локальные, специфические закономерности, которые должны быть в полной мере учтены при объяснении исторических событий.

Во второй половине XVIII в. в центральной и восточной части Германии происходил процесс экспроприации помещиками крестьянских наделов и общинных земель. Здесь действовала вполне определенная историческая закономерность, которая, однако, с точки зрения всемирной истории, смены общественно-экономических формаций носила сугубо случайный характер. По внешним признакам обезземеливание немецких крестьян напоминало процесс огораживаний в Англии, но имело совершенно иную основу и иные социальные последствия. Если в Англии обезземеливание крестьян привело к формированию класса наемных рабочих и к развитию фермерства, то в Восточной Германии этот процесс привел к укреплению товарного хозяйства помещика, основанного на барщинном труде крепостных. В то же самое время в западных районах Германии аграрные отношения сложились совершенно иным образом — крестьяне здесь оставались держателями небольших наделов, выплачивавшими помещику денежные оброк.

Таким образом, даже в пределах одной страны вследствие определенных специфических условий в разных районах подчас действуют различные исторические закономерности.

Локальные закономерности возникают под воздействием огромного множества факторов — географических, климатических, демографических, экономических, политических, духовных, — которые в различных ситуациях взаимодействуют по-разному. Именно

¹⁴ К. Маркс. Введение (Из экономических рукописей 1857—1858 годов). — К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 12, стр. 711. И далее: «...Есть определения, общие всем ступеням производства, которые фиксируются мышлением как всеобщие; однако так называемые общие условия всякого производства суть не что иное, как эти абстрактные моменты, с помощью которых нельзя понять ни одной действительной исторической ступени производства» (там же, стр. 714).

¹⁵ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 19, стр. 121.

этот тип закономерностей определяет развитие конкретных событий в истории. По отношению к всемирно-историческому целому они приобретают черты случайного. Однако случайность есть форма проявления необходимости. Со времен Гегеля это стало азбучной истиной.

Конечно, бывают и иного рода случайности, которые вторгаются в неотвратимое течение процесса извне, так что не могут быть названы формой проявления его внутренних закономерностей. Они приходят как бы со стороны, являются чуждыми, посторонними и в этом смысле «чистыми» случайностями. Всякое завоевание является «чистой» случайностью для коренного населения завоеванной страны. Но если взглянуть на это событие с точки зрения соотношения сил на международной арене и с точки зрения агрессивной политики державы-завоевательницы, то и «чистая» случайность окажется формой проявления необходимости.

Итак, любая случайность ведет к необходимости и в конечном итоге оказывается формой проявления необходимой связи. Но поскольку существует бесчисленное множество взаимодействующих между собой закономерных, необходимых процессов, то для точности научного анализа мы обязаны различать случайность, в которой данная необходимость проявляется более или менее адекватно, и случайность, которая является ей совершенно посторонней, чуждой. «Адекватная» случайность — это антипод посторонней случайности. Если последняя к данной необходимости не имеет никакого отношения, то в первой эта необходимость проявляется с максимальной полнотой. «Адекватная» и «посторонняя» случайность суть два полюса, которые можно отметить при анализе того, в какой степени в единичных событиях проявилась та или иная необходимость. Это две крайние точки, между которыми лежит бесчисленное множество средних вариантов. Разграничение двух видов случайности имеет вполне определенный методологический смысл: оно позволяет отличить «нормальное» течение процесса от постороннего вмешательства в этот процесс.

Историк обязан учитывать и то и другое. Предметом истории является изучение законов общественного развития в их конкретных проявлениях. Ее задача — воспроизвести историческую действительность в единстве необходимого и случайного, восстановить реально пройденный человечеством путь во всех его зигзагах, во всем многообразии и неповторимости происшедших событий. Схема исторического процесса — это еще не история, так же как сюжет и идея — еще не художественное произведение. Каждое историческое событие обладает индивидуальными, только ему присущими чертами, и обнаружить их, сохранить их для потомства — такая же обязанность историка, как и обобщение изучаемого им материала.

При анализе прошлого знание законов развития общества дает истории лишь руководящую методологическую нить, но не раскрывает всей полноты исторической действительности. Абстракции, образуемые исторической наукой, «могут пригодиться лишь для того, чтобы облегчить упорядочение исторического материала, наметить последовательность отдельных его слоев. Но, в отличие от философии, эти абстракции отнюдь не дают рецепта или схемы, под которые можно подогнать исторические эпохи. Наоборот, трудности только тогда и начинаются, когда приступают к рассмотрению и упорядочению материала...»¹⁶ Действительно, ни из одного общественного закона нельзя вывести дедуктивным путем ни одного факта живой, конкретной истории.

Историк изучает законы и в равной степени факты. Этим его труд отличается от деятельности представителей многих других научных дисциплин, видящих свою цель исключительно в обнаружении закономерностей. Подобное утверждение, разумеется, не означает перехода на позиции идиографизма.

Термин «идиография» (описание особенностей) ввели еще в прошлом веке неокантианцы Баденской школы для обозначения специфики исторических дисциплин, находящихся, с их точки зрения, в противоречии с обобщающими («номотетическими», по их терминологии) естественными науками. Исторические науки изучают события, естественные науки — законы; метод истории — индивидуализация, метод естествознания — генерализация; связи между ними нет; понятие исторического закона есть *contradictio in adjecto*, — уверял Г. Риккерт. Дальнейшее развитие подобных идей привело к утверждениям, что история — это не наука, а область знания, не имеющая ничего стабильного, никаких общих принципов и критериев¹⁷.

Несостоятельность идиографического метода состоит в том, что он провозглашает одно лишь описание и противопоставляет его обобщению, между тем как в исторической науке эти два процесса слиты воедино. Разделение наук на идиографические и номотетические есть искаженное отражение того факта, что действительно существуют два типа наук. Задачи наук одного типа сводятся

¹⁶ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 3, стр. 26.

¹⁷ В настоящее время в буржуазной историографии и философии истории все явственнее заметна реакция на господствующее место описательного метода. «Канонизация идиографического метода, — пишет О. Андерле, — должна была обеспечить самостоятельность историографии по отношению к естествознанию, в действительности же она закрепила собой только ту фазу, которую последнее уже преодолело. Только «описательная» историография не является новой самостоятельной по методу наукой, а устаревшей формой естествознания» (O. Anderle. Theoretische Geschichte. — «Historische Zeitschrift», 1958, Heft 1, S. 28). Андерле призывает к созданию «теоретической истории», однако последняя, по его мысли, должна быть построена на принципах интуитивизма и индетерминизма.

преимущественно или только к обнаружению законов, в то время как другие наряду с этим преследуют цели научного описания и исследования фактов как таковых. Эти два типа наук следует различать, но их нельзя противопоставлять друг другу, как поступают неокантианцы, абсолютизирующие описательный момент в истории, отрывающие его от обобщения.

К тому же чистого идиографизма не существует. При всем своем стремлении к описанию особенностей историк неизбежно ставит границу индивидуализации и вынужден прибегать к обобщенному изложению, опускать бесчисленное множество деталей и подробностей. Даже апостол описательного метода Ранке, призывавший историков лишь рассказывать «как было дело», требовал отбора материала.

Наконец, порок идиографической теории состоит также и в том, что задача описания выводится из особенностей человеческого духа, неповторимого в своих воплощениях и потому якобы не поддающегося генерализации. Между тем научное описание входит в задачу не только некоторых общественных наук, но и ряда наук о природе. Физическая география изучает неповторимые особенности поверхности земного шара. Описательные функции имеются и в биологии. С другой стороны, существуют общественные науки, целиком построенные на принципах обобщения (таковы многие экономические науки, социология, общее языкознание).

В науках, которые наряду с обобщением преследуют цели описания, фактический материал играет особую роль, иную, чем в обобщающих дисциплинах. Последние используют фактические данные лишь в качестве подспорья для обобщения. Эти науки проходят стадию накопления эмпирического материала, но целью их всегда остается установление закона, и когда это достигнуто, эмпирический материал отходит на задний план.

Историческое исследование также начинается со сбора фактов. Факты и здесь, и даже в еще большей мере, — воздух для ученого.

Вместе с тем исторический факт — это не только материал для обобщения, это не просто иллюстрирующий действие общественного закона пример, который можно опустить или заменить другим. Историческое обобщение не снимает факта. В этом смысле факты для истории имеют самодовлеющее значение.

Разумеется, мы далеки от мысли призывать историков к эмпиризму. Эмпиризм в истории проявляется не в том, что обращаются к фактам, а в том, как обращаются с ними, в беспомощности перед лицом фактов. Работа, содержащая лишь нагромождение фактических данных, непроверенных, несистематизированных, необъясненных, теряет качество научного исследования и примыкает к разряду источников, нуждающихся в обработке. К сожалению, это — распространенное явление.

Но еще более опасное явление — пренебрежение реальными

фактами. Конечно, отдельные факты не должны заслонять от взора ученого «большой правды» истории. Но столь же недопустимо во имя «большой правды» игнорировать «малую правду», правду фактов, ссылками на «большую правду» прикрывать или оправдывать искажение или приукрашивание реальных фактов, «подчищать» историю в угоду тем или иным конъюнктурным соображениям. У ученого есть много прав, кроме одного — права на вымысел. Историк не имеет права покидать пределы науки, создавать легенды и мифы.

В старину географические карты не знали единого масштаба; наряду с более или менее правильным воспроизведением местности они содержали фантастические картинки и просто белые пятна. Иное историческое повествование и поныне напоминает подобную карту: вымысел здесь сосуществует с правдой, перспектива сдвинута, о многом важном говорится скороговоркой или просто умалчивается. В тех случаях, когда при этом не преследуются политические цели, мы сталкиваемся с неумением применить определенный критерий для отбора фактов. Конечно, исторический масштаб отличается от географического. При составлении карты вместо реальной большой меры берется условная малая мера, которой строго придерживаются. История не допускает механических сокращений. Историческая работа — это не уменьшенный слепок с действительности; лишенные важных событий периоды излагаются здесь предельно сжато, а крупные исторические события подвергаются обстоятельному детальному рассмотрению.

Но каков в таком случае критерий отбора фактов? Как избежать здесь субъективизма и произвола? Характерно, что идеалистическая философия истории, отрицающая существование общественных законов, отказывается от решения этой задачи. «Нельзя, — пишет Б. Кроче, — назвать логический критерий, который определял бы, какие из сведений и документов полезны и важны, а какие нет, потому что здесь мы имеем дело с практической, а не с научной проблемой». Историк, согласно Кроче, руководствуется «запросами определенного момента или эпохи. Этот отбор, конечно, связан с интеллектуальной деятельностью, но не с применением философского критерия, свое подтверждение он находит только в самом себе»¹⁸.

Отрицание объективного значения оценок историка превращает историю в произвольную конструкцию того, кто о ней пишет. Между тем материалистическое понимание истории дает в руки историка именно логический критерий для отбора фактов. Те события, которые имеют отношение к осуществлению закономерности, способствуют или препятствуют этому, являются историческими. Понятие закономерности, конечно, не универсаль-

¹⁸ B. Croce. *Theory and History of Historiography*. London, 1921, p. 109.

ный эталон, но все же достаточно ощутимая нить, ведущая ученого по лабиринту прошлого. Для того чтобы получить в руки эту нить, историк должен произвести всесторонний анализ события, вскрыть связи, его породившие, и порожденные им следствия. Тогда многое из того, что имеет блистательный фасад, на проверку окажется исторической пустышкой, а иное событие, прошедшее для большинства современников незаметно, выйдет на передний план истории.

При этом историческая наука оперирует не только теоретическими проблемами, она непосредственно связана с различными видами социальной деятельности: политикой, воспитанием, пропагандой. Однако и практический подход к прошлому не означает произвольного обращения с материалом. Если в прошлом ищут обоснования политики мира, то здесь не приходится насиловать факты: человечество выстрадало мир, установление всеобщего мира есть властное, объективно непредотвратимое веление истории. Иное дело, когда к истории обращаются за обоснованием расовой вражды, национальной розни, насилий и террора. Ничего кроме фальсификации при этом не получается.

Скептики (да и не только скептики) говорят, что история ничему не учит. Это верно лишь относительно тех, кто вообще не способен учиться. Но таких наказывает жизнь. Бурбоны, вернувшиеся на французский престол после падения Наполеона, за незнание уроков истории заплатили окончательной потерей трона. Бурбоны помельче платят дешевле.

Человек находит в прошлом ответы на многие жгучие вопросы современности. Даже из древней истории наш современник может почерпнуть много поучительного. Он может, например, узнать, к каким последствиям приводит личная, бесконтрольная власть. Новейшая история — фундамент для политической и хозяйственной деятельности сегодня. И государственный муж, и простой смертный в равной мере изучают генезис сложившейся ситуации для того, чтобы найти оптимальный вариант решения современных проблем.

Человек ищет в прошлом образцы для своего поведения: республиканская доблесть античности вдохновляла деятелей Французской революции, а пример Радищева и декабристов — многие поколения русских революционеров. На героических традициях революционного пролетариата нашей страны, на великом подвиге народа, совершившего социалистическую революцию и разгромившего фашизм, воспитывается наше молодое поколение.

История учит человека активности, личной ответственности каждого за свои поступки. Существуют «теории», согласно которым в «массовом обществе», где люди бывают вынуждены действовать «по приказу», — виноватых нет. Это излюбленный довод военных преступников. Но история никогда не списывала бесчеловечность за счет «руководства», фашистские палачи понесли

персональную кару за содеянное, и в будущем перед глазами человека, вовлеченного в кровавую авантюру, всегда будет судьба как вдохновителей, так и мелких исполнителей гитлеровской преступной политики. Перед человеком всегда остается выбор между участием в преступлении и неучастием в нем, между работой и борьбой, и эту свободу выбора, ответственность человека за свое поведение воспитывает история.

Обращаясь к прошлому, мы всегда пристрастны, мы не только изучаем события в его взаимосвязях и следствиях, но производим определенный нравственный приговор исходя из моральных критериев современности. Но с другой стороны — и это главное — опыт истории помогает выработать нравственную оценку окружающей нас действительности и соответствующим образом определить наше поведение. Опыт истории — верный ориентир, которым зачастую пользуются даже бессознательно. Сколько бы ни иронизировали по поводу бесполезности уроков истории, они все же существуют. Вероятно, именно здесь кроется причина того, что ни одна крупная историческая трагедия не может быть сыграна дважды. При всех попытках ее воспроизвести она неизменно превращается в фарс.

Итак, теоретические задачи, решаемые историком, и определенные практические потребности влекут нас к изучению прошлого. Однако ни тем, ни другим нельзя объяснить того всеобъемлющего интереса к пройденному человечеством пути, который владеет людьми. Теоретическое отношение к предмету всегда отодвигает на задний план единичные факты, когда уже обнаружена определенная закономерность; для утилитарных целей нужна подлинная картина минувшего, но набор сведений может быть ограничен ранее известными; историк же воистину ненасытен в обнаружении все новых и новых сторон и деталей изучаемой им действительности. Он стремится не только к неискаженному, целостному, но и максимально полному воспроизведению прошлого. Это стремление к наибольшей полноте охвата событий диктуется не теоретическими и не практическими соображениями. Какими же еще?

Дело заключается в том, что помимо теоретического и практического отношения к миру человечество выработало еще один вид его освоения, который Маркс называет художественным, религиозным, практически-духовным. Этот вид освоения предполагает особого рода эмоционально окрашенный подход человека к окружающему его миру, при котором явления действительности непосредственно соотносятся с чувствами и стремлениями индивида. Действительность рассматривается и осваивается через призму ее ценности для человека, т. е. аксиологически¹⁹.

¹⁹ Подобный подход к проблеме аксиологии был намечен в докладе О. М. Бакурадзе, О. И. Джигоева и Н. З. Чавчавадзе на всесоюзном сим-

Ценностное отношение не всегда совпадает с утилитарным. Нам дороги многие совершенно бесполезные вещи, наши поступки диктуются далеко не всегда утилитарными соображениями. Идея ценностей есть форма утверждения в мире человеческого начала, а человек, как известно, сыт не хлебом единым. Высшая ценность — человек, его жизнь. Она измеряется не той практической пользой, которую можно ждать от индивида: дряхлый, умирающий человек может быть совершенно бесполезен, но за его жизнь идет отчаянная борьба вплоть до последнего дыхания.

Практическая оценка (суждение типа «Этот предмет мне полезен») и отнесение к ценности (суждение типа «Этот предмет мне дорог») — два различных подхода к действительности, подчас тесно связанные друг с другом, даже совпадающие, но иногда и резко противостоящие один другому.

У нас долгое время предвзято относились к проблеме ценностей, усматривая в ней лжепроблему, плод идеалистических измышлений. На трудностях аксиологии, действительно, спекулирует идеалистическая философия. Но это не может служить основанием для игнорирования реально существующей проблемы. В отличие от идеализма, гипостазирующего ценности («метафизика ценностей») либо субъективирующего проблему («релятивизм ценностей»), марксистская философия исходит из общественного характера аксиологических отношений. Ценностные отношения между явлениями (событием, предметом) и человеком (социальной группой, обществом в целом) не остаются неизменными. Есть ценности общечеловеческие, есть ценности, принадлежащие той или иной социальной группе (классу, нации и т. д.), есть, наконец, ценности, характер которых определяется сугубо личными мотивами. Отсюда и тот выборочный интерес к прошлому, с которым зачастую приходится сталкиваться. Каждое новое поколение если не заново прочитывает книгу истории, то во всяком случае вносит в нее определенные коррективы.

Исторический факт зачастую, помимо связи с породившей его обстановкой, имеет прямой «выход» в современность. Факт, в свое время не игравший значительной роли в каузальной цепи прошлого, может представлять интерес для настоящего времени. С аксиологической меркой историк может подходить к памят-

познанию по проблеме ценностей. В докладе отмечалось, что «в художественно-религиозно-практически-духовном освоении явления действительности выступают как соотносящиеся с человеком, как могущие отвечать его чувствам, потребностям, стремлениям и желаниям, раскрываются как средства удовлетворения потребностей или как достойные стремления цели, т. е. как обладающие ценностью. Общая специфика этого способа осознания мира и аспект действительности, раскрывающийся через его посредство, и есть предмет марксистской аксиологии» (Симпозиум по проблеме ценностей в марксистско-ленинской философии. Программа и тезисы докладов. Тбилиси, 1965, стр. 15).

никам культуры и материальным ценностям. О произведении искусства мы судим прежде всего по тому непосредственному воздействию, которое оно оказывает на современность, а потом уже интересуемся историческими обстоятельствами его возникновения.

Ценностное отношение всегда эмоционально. И тот, кто исследует историю, и тот, кто знакомится с ней впервые, не может быть равнодушен к материалу: история повествует о людских свершениях. Жизнь общества — это не только естественнo-исторический процесс, но и всемирно-историческая драма. За каждым фактом — судьба человека, интерес к истории — это интерес к человеку. Читая жизнеописания римских цезарей, средневековые хроники, историю войн, революций, труда и искусства, мы видим перед собой людей, их устремления, борьбу, заблуждения и страсти, мы переживаем их судьбу. Вот, между прочим, какой смысл вкладывается в слова, когда говорят об особой роли фактов в истории²⁰.

Ценностная эмоция всегда носит положительный характер. Обязательным ее компонентом выступает своеобразное наслаждение; объект ценностного отношения доставляет радость. Какую же радость дает нам изучение истории?

К изучению прошлого человека влечет чувство исторического интереса. Люди должны знать свое прошлое во всей его полноте, во всех деталях. Это своего рода катерогический императив, заставляющий ученого, писателя и просто любителя восстанавливать историческую правду. «Изучая предков, узнаем самих себя, — говорил Ключевский. — Без знания истории мы должны признать себя случайностями, не знающими, как и зачем пришли в мир, как и для чего мы живем, как и к чему должны стремиться»²¹⁻²².

²⁰ Это не учитывает Б. М. Кедров, который пытается подойти с одинаковой меркой к физике и к истории. Он пишет, что, когда ставится «вопрос о том, что по отношению к исторической науке факты имеют какое-то особое значение, я этого не понимаю... Возьмем, например, физику. Сделанное в этой науке открытие радиоактивности было поначалу чисто эмпирическим открытием, установлением нового естественнонаучного факта, но оно сыграло в развитии физики и всего естествознания не меньшую роль, чем открытие какого-либо исторического документа исторической наукой» («История и социология». М., 1964, стр. 105). Все это верно. Пожалуй, даже никакое обнаружение нового исторического документа не сравнится по своему значению с открытием радиоактивности. Речь идет о другом: о ценностном отношении к материалу. К тому же тот факт, что Анри Беккерель, работая над ураном, обнаружил, что находившиеся рядом нераспечатанные фотопластинки оказались засвеченными, и пришел к выводу, что уран испускает невидимые лучи, — этот факт сам по себе не является фактом современной физики. Фактом физики служит явление радиоактивного распада как таковое, а обстоятельства этого открытия принадлежат истории, это факт исторической науки.

²¹⁻²² Изречения и афоризмы В. О. Ключевского. — «Вопросы истории», 1965, № 7, стр. 208—209.

Радость истории — знание правды. «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман», — уверял когда-то поэт. В истории дело обстоит наоборот: самая «низкая» разоблачительная правда дороже любого «высокого» обмана, какие бы благородные цели он ни преследовал. Обман вообще не сочетается с благородством. «Подчищенная» (т. е. фальсифицированная) история не может служить нравственному воспитанию, это скорее путь к духовному растлению личности, воспитанию цинизма и лицемерия. Не спасает в подобных случаях и «формула умолчания». Если человеку что-то недоговаривают о прошлом, у него появляется либо желание узнать всю правду (и, следовательно, разоблачить тех, кто его дурачит), либо недоверие и отвращение к истории.

Именно поэтому любой исторический факт, лишенный мистификации, представляет собой позитивную ценность. Мы можем отрицательно относиться к какому-либо событию, но мы чувствуем себя обязанными знать о нем правду, только правду, всю правду. Интерес к истории — это интерес к самому себе как части общественного целого.

ПРОБЛЕМА ЦЕЛОГО

Обобщение и индивидуализация — два пути, по которым движется историческое знание. На первый взгляд, эти пути расходятся в противоположные стороны, но в конечном итоге в историческом исследовании они приводят к одной цели — созданию целостной картины прошлого.

Проблема целого имеет два аспекта. С одной стороны, целое — это органическая система, с другой — полнота компонентов. Первый аспект — предмет философского знания, второй — знания энциклопедического. Философия изучает мир как органическое целое, энциклопедия дает нам сведения о мире в целом.

Аналогичным образом обстоит дело и в отношении общества. Философская наука — исторический материализм изучает общество как целое, совершающее поступательное движение от низших ступеней к высшим. Картину общества в целом дает вся совокупность социальных наук. В ведении истории находится прошлое — все его стороны и аспекты; гражданская история изучает прошлое человеческого общества в целом и как целое. Гражданская история — это и философия и энциклопедия прошлого.

Отсюда ясно, каково отношение гражданской истории к специальным, отраслевым историческим дисциплинам. Каждая область человеческой деятельности имеет свое прошлое, свои закономерности развития, а следовательно, свою историю. Есть история физики, история лирики, история международных отношений. История того или иного предмета связана теснейшим образом с теоретическим его рассмотрением. С другой стороны,

она составляет какую-то часть, пусть очень небольшую, гражданской истории. Последняя универсальна, она отражает все основные процессы, все общественно значимые события эпохи в их взаимодействии.

Гражданская история, создавая многообразную картину эмпирических событий, вместе с тем всегда решает и теоретическую задачу их осмысления и объяснения. Противопоставлять историю социологии как эмпирию теории значит повторять ошибки не только домарксистского, но и догегелевского времени²³. Уже Гегель показал, как история наполняется теоретическим содержанием, а теория пронизывается историзмом. Историк, стоящий на уровне требований современной науки, — всегда теоретик. Любое социологическое исследование, построенное на материалах прошлого, есть исследование историческое. За пределами истории лежат лишь социологические обобщения, относящиеся к настоящему и будущему²⁴.

Задачи историка состоят не только в том, чтобы сообщить читателю определенный комплекс сведений из политического и культурного прошлого, но и в том, чтобы дать целостную картину развития общества во взаимодействии всех его сфер.

Говорят, что история открывает широкие возможности для дилетантизма; стать посредственным историком легче, чем плохим математиком. Не будем спорить, отметим другое: чтобы стать хорошим историком, нужно быть энциклопедически образованным человеком, нужно обладать особым талантом синтетического мышления, умением охватить единым взглядом жизнь эпохи, подойти с одинаковым пониманием к любой сфере исторического бытия. Это не так легко.

²³ Подобное противопоставление находим у В. П. Рожина: «Историческая наука изучает общественную жизнь в целом, во всех ее областях, но она не занимается открытием и формулированием управляющих ею законов, как таковых... Другими словами, историческая наука изучает историю общественных явлений во всей их конкретности, следует по стопам событий, а марксистская социология дает теорию этих явлений и событий» (В. П. Ро ж и н. Введение в марксистскую социологию. Л., 1962, стр. 36).

²⁴ Вместе с тем следует иметь в виду, что термином «социология» мы обозначаем две науки. Марксистская общетеоретическая социология — это исторический материализм. Его взаимоотношения с исторической наукой нам уже в общих чертах известны. Кроме того, термин «социология» служит для обозначения конкретных исследований, процессов, которые протекают в той или иной стране в данное время в данных условиях. У нас все шире разворачиваются социологические исследования организации труда, его производительности, образования, общественного мнения, использования свободного времени и т. д. Разделение «сфер влияния» между историей и конкретной социологией также проходит по той подвижной линии, которая отделяет прошлое от настоящего. Конечно, здесь также много точек соприкосновения и даже прямого совпадения; настоящее ежедневно, ежеминутно переходит в прошлое, и данные конкретных социологических исследований быстро становятся историческими источниками.

В большинстве случаев, правда, историку приходится решать какую-либо частную задачу. История страны, какого-либо ее периода, даже одного события — таковы обычные сюжеты исторических работ. Но и в этих случаях идея целого должна «витать в голове» исследователя, ибо только соотнесение с общественным целым дает объяснение той или иной частной проблемы.

М. Бунге в своей книге о причинности говорит о «пяти вопросах науки». Целью научного исследования он считает составленный в понятной, точной и доступной проверке форме ответ на пять вопросов — что (как), где, когда, откуда и почему²⁵. Историк, как и представитель любой другой науки, обязан в своих исследованиях отвечать на эти вопросы. Наиболее трудным для него и вместе с тем непрестанно перед ним встающим является вопрос «почему». Если первые четыре вопроса не выводят историческое исследование за пределы эмпирического описания, то рассмотрение последнего вопроса придает ему теоретический характер.

Первый шаг к объяснению явления — установление причинной зависимости. Имеется обширная литература, направленная против понятия причинности в истории. Однако критика индетерминистов направлена против механистического понимания каузальных связей, разделения явлений только на причину и следствие, в результате чего может возникнуть бесконечная цепочка событий, приводящая к абсурду. Вольтер, например, шутя доказывал, что убийство французского короля Генриха IV было связано с тем, что некто, живший в Индии за сто лет до этого, однажды поднялся с левой ноги.

Причиной называется явление, предшествующее данному явлению и порождающее его. Устарело ли это традиционное определение причины? Нет, не устарело; устарел лишь механистический взгляд, согласно которому явление вызывается к жизни только одной причиной или рядом причин. Причинность не исчерпывает детерминизма. «Каузальность, обычно нами понимаемая, есть лишь малая частичка всемирной связи...»²⁶

Причинность указывает на те факторы, которые непосредственно вызывают данное явление к жизни. Причины не следует искать в далеком прошлом. В том, что европейцы уничтожили коренное население Америки, не виноват Колумб, открывший Новый Свет. Исторические события вызываются к жизни только однопорядковыми, т. е. равными по характеру и значению, событиями. Причина всегда рядом, она непосредственно переходит в следствие. В этом смысле, Гегель говорил, что причина и действие — это не два понятия, а одно.

²⁵ См. М. Бунге. Причинность. (Место принципа причинности в современной науке.) М., 1962, стр. 283.

²⁶ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 29, стр. 144.

Наше представление об исторической детерминации значительно обогащается, когда поиски причин и следствий дополняются понятием взаимодействия, но последнее также не исчерпывает всех факторов, определяющих бытие данного явления. «Только „взаимодействие“ = пустота», — резюмировал В. И. Ленин соответствующее место из «Науки логики» Гегеля²⁷. Гегель пояснял свои мысли примером из истории Спарты. «Если мы, например, рассматриваем нравы спартанского народа как действие его государственного устройства и, наоборот, их государственное устройство как действие нравов, то этот способ рассмотрения может быть и правилен, однако он все же не дает окончательного удовлетворения, потому что на самом деле мы не поняли ни государственного устройства, ни нравов этого народа. Удовлетворение получается лишь тогда, когда мы познаем, что эти две стороны, а также и все остальные стороны, которые обнаруживают нам жизнь и история спартанского народа, имеют своим основанием понятие»²⁸.

Для Гегеля в основе взаимодействия явлений лежит «понятие», духовный фактор, определяющий собой течение исторического процесса. Маркс показал, что основа общества носит материальный характер. Следовательно, при объяснении событий надо исходить не только из них самих, но и из того материального процесса, который «скрыт» за этими событиями, определяет их и проявляется в них. Принцип взаимодействия равнозначных факторов дополняется принципом «субординации», нахождения сущности, лежащей в основе социальных явлений. Однако «субординация» в данном случае не носит линейного характера; сущность — это целое, вся система, а не одна какая-то ее сторона. Это надо иметь в виду, чтобы избежать опасности механистического, одностороннего подхода к проблеме. Стремление свести дело к одному, неизменному «решающему» фактору подчас упрощает картину социального развития. В учебниках по историческому материализму мы нередко находим искусственно сконструированную схему, согласно которой развитие общества определяется... совершенствованием орудий труда: сначала изобретается новое орудие, внедряется в производство — и затем происходит переворот в общественной структуре.

Между тем знакомство с историей говорит о другом. Крушение античных и возникновение феодальных отношений в Европе не было вызвано коренными изменениями в орудиях производства. Генезис капитализма был связан первоначально вообще не столько со сферой собственно производства, сколько со сферой обмена. «В настоящее время, — писал Маркс, — промышленная

²⁷ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 29, стр. 146.

²⁸ Гегель. Сочинения, т. I, стр. 260.

гегемония влечет за собой торговую гегемонию. Напротив, в собственно мануфактурный период торговая гегемония обеспечивает промышленное преобладание»²⁹.

Как и почему развивается производство, показано Марксом в знаменитом «Введении» из экономических рукописей 1857—1858 гг. Маркс расчленяет здесь процесс производства на составные элементы: собственно производство, распределение, обмен и потребление — и приходит к следующему выводу: «... Все они образуют собой части целого, различия внутри единства. Производство господствует как над самим собой во всей противоположности своих определений, так и над другими моментами. С него каждый раз начинается процесс снова. ... Конечно, и производство в его односторонней форме определяется, со своей стороны, другими моментами. Например, когда расширяется рынок, т. е. сфера обмена, возрастают размеры производства и становится глубже его дифференциация. С изменением распределения изменяется производство, например с концентрацией капитала, с различным распределением населения между городом и деревней и т. д. Наконец, нужды потребления определяют производство. Между различными моментами имеет место взаимодействие. Это бывает во всяком органическом целом»³⁰.

Что касается места производства в развитии общества, то Энгельс в последние годы своей жизни неоднократно предупреждал против преувеличенной его оценки. «Маркс и я отчасти сами виноваты в том, что молодежь иногда придает больше значения экономической стороне, чем это следует. Нам приходилось, возражая нашим противникам, подчеркивать главный принцип, который они отвергали, и не всегда находилось время, место и возможность отдавать должное остальным моментам, участвующим во взаимодействии»³¹. Общество со всеми его институтами, как и производство, представляет собой органическое целое. Каковы пределы этого целого? Возникновение капитализма, создание единого мирового рынка, единой системы политических взаимозависимостей привело к тому, что история приняла глобальный, всемирный характер. В докапиталистических формациях процессы исторического развития зачастую шли в различных географических районах вне прямой зависимости друг от друга. В этих случаях размеры исторического целого не выходят за рамки народа или группы народов. Первоначальное развитие различных ветвей человеческого рода носило разобщенный характер.

В ходе исторического развития меняются не только размеры социального целого, но и характер основных взаимодействующих

²⁹ К. Маркс. Капитал, т. I. — К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 23, стр. 764.

³⁰ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 12, стр. 725—726.

³¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 37, стр. 396.

компонентов. Начало человеческой истории отмечено огромной ролью семейных отношений — того, что Энгельс определял как «производство самого человека, продолжение рода»³². В дальнейшем кровно-родственные связи перестают играть такую существенную роль, но в течение очень длительного времени сохраняют значение общинные связи, коллективная собственность.

Живучесть «вторичной» соседской общины Маркс объяснял ее двойственным характером, своеобразным «дуализмом»: «с одной стороны, общая собственность и обуславливаемые ею общественные отношения придают прочность ее устоям, в то время как частный дом, парцеллярная обработка пахотной земли и частное присвоение ее плодов допускают развитие личности, не совместимое с условиями более древних общин»³³.

В раннеклассовых формациях продолжает еще существовать непосредственное единство индивида и общественного целого, «отдельный индивидуум еще столь же крепко привязан пуповиной к роду или общине, как отдельная пчела к пчелиному улью»³⁴. Это обстоятельство накладывает свой отпечаток на все виды деятельности людей и особо яркое выражение находит в сознании общества. Античное и средневековое искусство, например, при всем различии их содержания и формы, эстетических идеалов и средств выражения имеют одну принципиально общую черту, отличающую их от искусства эпохи капитализма. Деятельность людей в буржуазные эпохи во всех ее сферах была пронизана эстетическим началом, выражавшим состояние первозданной псевдогармонии. Возникновение буржуазного порядка, заменившего все личные связи товарно-денежными отношениями, создало совершенно новый тип художественного творчества. Капиталистическое разделение труда превратило искусство в самостоятельную сферу духовного производства, оторванную от труда и повседневной жизни. Это было следствием новой социальной структуры общества. Однако структура общественного целого, созданная капитализмом, оказалась также исторически преходящей.

Сопоставляя целостные социальные системы, историк видит их взаимодействие и получает картину прогрессивного развития общества. Маркс, однако, предупреждал, что «понятие прогресса не следует брать в обычной абстракции»³⁵. Речь идет о неравномерном развитии различных сторон общественной жизни. Так,

³² К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 21, стр. 26. Сравнительно недавно эта идея Энгельса выдавалась за «неточность» (см., например, Ф. Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства. М., 1951, стр. 4 — примечание редакции).

³³ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 19, стр. 404.

³⁴ К. Маркс. Капитал, т. I. — К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 23, стр. 346.

³⁵ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 12, стр. 736.

«относительно искусства известно, что определенные периоды его расцвета отнюдь не находятся в соответствии с общим развитием общества, а следовательно, также и с развитием материальной основы последнего, составляющей как бы скелет его организации. Например, греки в сравнении с современными народами, или также Шекспир»³⁶. В обществе нет единого, непрерывного, пропорционального восхождения от низшего к высшему, духовные формы могут обгонять материальные. Причем «в вопросах современного искусства и т. д. эта диспропорция еще не так важна и не так трудна для понимания, как в сфере самих практических социальных отношений... собственно трудный вопрос, который надлежит здесь разобрать, заключается в следующем: каким образом производственные отношения, как правовые отношения, вступают в неравное развитие... например, отношение римского частного права... к современному производству»³⁷. Римское право с его скрупулезной формальной рациональностью, с подробнейшей регламентацией частнособственнических отношений, исторически появилось не как следствие возникновения и развития капиталистического производства — наиболее развитого вида товарного производства, — но было своеобразной предпосылкой его.

Исследователь, руководствующийся принципом историзма, выделяет в развитии человечества целостные системы и к каждой из них подходит с соответствующей меркой. Изучение той или иной завершенной системы, лежащей перед глазами историка, — задача хотя и сопряженная с определенными трудностями, но все же поддающаяся безошибочному решению. Путь уже пройден, и никто, кроме историка, вторично по нему не пойдет. В гораздо более затруднительном положении оказывается историк современности, которая в своем поступательном движении представляет собой систему незавершенную, открытую, многовариантную. Любая развивающаяся действительность содержит в себе не одну, а ряд возможностей, и диалектическое мышление восстает против попыток игнорировать какую-либо из них. Существует огромный соблазн замкнуть в мыслях открытую систему и через свое представление о будущем истолковать прошлое. Марксизму чужд подобный провиденциализм. При составлении социального прогноза всегда приходится учитывать, что у общества имеется несколько вариантов развития, и зачастую трудно определить, какой из них будет реализован.

Вспомним, как Маркс в прошлом веке оценивал судьбы России. По его мнению имелись две возможности: прямой переход от патриархальных личностных отношений, господствовавших в русской деревне, к личностным отношениям социалистического типа,

³⁶ Там же.

³⁷ Там же.

минуя вещные отношения, минуя капитализм. Другой вариант — утверждение капитализма и дальнейшее движение по западно-европейскую образцу. Набрасывая письмо к Вере Засулич, Маркс писал: «...„Земледельческая община“ повсюду представляет собой *новый тип* архаической общественной формации... Ее конститутивная форма допускает такую альтернативу: либо заключающийся в ней элемент частной собственности одержит верх над элементом коллективным, либо последний одержит верх над первым»³⁸.

В заключение этого раздела еще одно соображение. Проблема целого встает при рассмотрении не только общества, но также и человека. Сущность человека — совокупность общественных отношений. В социальной жизни лежит разгадка многих тайн человеческого поведения. Каждый индивид — дитя своей эпохи, своей страны, своей социальной группы. Но сущность, как известно, нигде не бытует в чистом виде. Сущность «является», и явление всегда богаче сущности. Когда речь идет о человеке, то как раз это богатство его личной, неповторимой жизни приобретает подчас решающее значение, и не только для него самого, но и для других, для общества. Разумно организованное общество заинтересовано в существовании и развитии яркой, не похожей на других творческой индивидуальности.

Марксизм, сводя «индивидуальное к социальному», отнюдь не топчет личность в безликой массе, ему чужда идея человека-винтика, наоборот, он проявляет повышенный интерес ко всем многосторонним потенциям неповторимой индивидуальности. Мы не забываем напутствия, данного нам великим гуманистом Роменом Ролланом, который писал, приветствуя советских читателей: «Если вы хотите, чтобы человеческое Целое было всесильным, пусть каждый из вас будет этим человеческим Целым»³⁹. Мы ценим наших современников — государственных деятелей, героев космоса, тружеников, ученых, художников и просто хороших людей. Мы хотим все знать о деятельности успешных поколений, о жизни «замечательных людей», больших и малых. Задача историка и здесь состоит в том, чтобы показать человека не только с какой-то одной стороны, но как целое, не просто как индивида, но и как личность. Жизнь личности (и не только выдающейся) представляет самодовлеющий интерес. Факты ее биографии — исторические факты.

Таким образом мы можем расширить понятие «исторический факт». Не только то, что имеет отношение (позитивное или негативное) к закономерности, но и то, что имеет отношение к человеку как личности, входит как факт в историю, составляет содержание опыта, представляющего ценность для человечества.

³⁸ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 19, стр. 404.

³⁹ Р. Роллан. Собрание сочинений, т. 14. М., 1958, стр. 535.

Для марксиста-историка проблема человека не покрывается проблемой общества. У истории два лица — социологическое и гуманитарное, одно обращено к массовым процессам, другое — к личности. Это два взаимосвязанных, взаимообусловленных, но все же не совпадающих мира, и перед историком с неизбежностью встает синтетическая задача познания и воссоздания этих двух миров — социологического и гуманитарного — в органическом единстве. Какими же средствами располагает историк для решения этой задачи?

ЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИСТОРИИ

Историк, подобно представителю любой другой области научного знания, широко использует в своей деятельности операции абстрагирования. Отвлекаясь от жизненного многообразия предметов, он отождествляет их («абстракция отождествления»), в случае надобности он рассматривает явления с какой-либо одной стороны («изолирующая абстракция»). Изучая, например, историю промышленности, мы можем подойти подобным образом не только к предметной стороне производства, но и к деятельности людей. Разбивая рабочих по профессиям, мы отождествляем фактически разных людей; изолируя их особенные признаки (возраст, квалификацию, заработную плату, проступки, наказания и т. д.) и обобщая эти данные, получаем картину положения пролетариата на том или ином предприятии, в то или иное время. Оперирование подобного рода абстракциями, общими для всех видов научного знания, позволяет историку все шире использовать количественные методы исследования.

Процесс математизации знаний, характеризующий развитие современной науки, не проходит бесследно и для истории. Математические методы и современная вычислительная техника с успехом применяются для анализа массовых источников, позволяя осуществлять операции, «вручную» практически невыполнимые. Так, например, статистическая обработка антропологических измерений коренного населения Сибири и жителей юга Европейской части СССР, выполненная на электронно-вычислительной машине за 4 часа, потребовала бы 30 человеко-лет работы традиционными методами⁴⁰.

В методологической литературе обсуждается и другой, более сложный аспект проблемы — моделирование общественных структур и процессов. Электронные аналоги начинают применяться для анализа экономических систем. Это открывает новые перспективы и перед исторической наукой.

⁴⁰ См. В. А. Устинов. Применение вычислительных машин в исторической науке (для анализа массовых исторических источников). М., 1964, стр. 5.

Всячески поддерживая начинания тех историков, которые применяют математику и современную вычислительную технику, мы все же должны себе ясно представлять, что это не универсальная отмычка ко всем трудностям исторической науки. Качественная сложность общественных явлений, многообразие задач, которые решает историк, в значительной мере ограничивают возможность использования математики. Как отмечает академик А. Н. Колмогоров, чем сложнее круг изучаемых явлений, тем качественно он более многообразен, тем менее становится применим математический метод⁴¹. Переходя от небесной механики к физике, далее к биологии и, наконец, к социальным наукам, можно установить вполне определенную градацию степеней применения математики от полного ее господства до подчиненного положения. Для историка количественный анализ — это необычайно важный, но все же вспомогательный метод исследования.

Надо сказать, что существование в исторической науке «жестких», формальных абстракций не отрицал даже такой адепт индивидуализирующего метода, как Г. Риккерт. Он называл их, однако, «относительно историческими понятиями» на том основании, что они не передают индивидуального, т. е., по его мнению, подлинного, содержания истории. Действительно, при помощи подобных абстракций всегда охватывается лишь какая-то одна сторона исторической действительности, далеко не исчерпывающая всей ее полноты. Эти абстракции налагаются на живую действительность, как жесткая форма, трафарет, и фиксируют те ее стороны, которые строго соответствуют данному образцу, существуют именно в этом более или менее чистом виде. Мы говорим «более или менее», так как в абсолютно чистом виде ничто в мире не существует не только в обществе, но и в природе. Еще Лейбниц в свое время обращал внимание на то, что нельзя найти двух совершенно похожих друг на друга листьев одного и того же дерева. И вместе с тем разница между листьями, как и другими одинаковыми предметами, столь незначительна, что мы можем ее игнорировать.

При изучении истории общества, помимо опасности одностороннего подхода к жизненному многообразию единичных явлений, мы подчас забываем о различии отождествляемого также и при образовании предельно общих социологических понятий. Таковы, например, рассматриваемые с социологической точки зрения категории «производство», «потребление» и т. д. Этих категорий еще недостаточно для исчерпывающего понимания конкретного хода того или иного исторического процесса.

Наряду с абстракциями, которыми мы охватываем общественную жизнь либо с какой-то одной стороны, либо в предельно общем виде, социальные науки, в том числе и история, пользуются

⁴¹ См. «Ученые записки по статистике», т. 1. М., 1955, стр. 156.

иными средствами абстрагирования, которые помогают более адекватно отразить процесс общественного развития, зафиксировать те явления, которые в «чистом виде» не существуют.

Об экономических законах Ф. Энгельс писал, что «все они не имеют иной реальности, кроме как в приближении, в тенденции, в среднем, но не в *непосредственной* действительности. Это происходит отчасти потому, что их действие перекрещивается с одновременным действием других законов, отчасти же и вследствие их природы как понятий»⁴². Никакое понятие не совпадает прямо и непосредственно с действительностью, а в обществе дело осложняется тем, что здесь «перекрещивается» действие многих закономерных и случайных факторов, в результате чего ряд абстракций носит приближенный, типологический характер.

Типология как способ абстрагирования означает нахождение некоторых основных форм, отражающих реальные процессы, но не существующих в действительности в чистом виде. Так, например, стоимость есть выражение реально существующего отношения, но форма ее проявления — цена, как правило, не совпадает с ней. Следует иметь в виду, что термин «тип», помимо узкоспециальных и бытовых значений, употребляется в следующих трех смыслах. Во-первых, «тип» в значении образца, стандарта, не допускающего отклонений (прилагательное — *типовой*); во-вторых, в смысле обобщенного образа, наиболее характерного явления (прилагательное — *типичный, типический*); в-третьих, как прообраз, основная форма, допускающая отклонения (прилагательное — *типологический*). Это последнее значение термина мы и имеем в виду в данном случае, говоря о типологии.

В науке нового времени проблему типологии поставил Гете. Занимаясь сравнительной анатомией, он пришел к выводу о едином строении животных и о возможности конструирования общего типа скелета млекопитающих. В 1796 г. он писал: «Как, однако, найти такой тип — это показывает нам уже само понятие такового: опыт должен научить нас, какие части являются общими всем животным и в чем разница этих частей у различных животных; затем вступает в дело абстракция, чтобы упорядочить их и построить общий образ»⁴³.

В свете типологии как способа абстрагирования следует рассматривать и теорию «идеальных типов» Макса Вебера. Надо сказать, что в ее основе есть вполне определенная рациональная сторона, которая состоит в отмеченной выше невозможности существования многих социальных явлений в «чистом виде». Надо также отметить стремление Вебера найти такой вид понятий, который

⁴² К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 39, стр. 355.

⁴³ Иоганн-Вольфганг Гете. Избранные сочинения по естествознанию. Л., 1957, стр. 194.

сочетал бы в себе единство общего и индивидуального⁴⁴; для исторической науки, как мы увидим дальше, это единство имеет особое значение. Ошибка Вебера состояла в том, что он явно смешал два различных способа абстрагирования — типологию и идеализацию. Если типология — отвлечение лишь от невозможности существования определенных явлений в чистом виде, то идеализация — отвлечение от принципиальной невозможности существования данного явления вообще (например, точка, абсолютно твердое тело и т. д.). Идеализация — это конструирование того, что принципиально невозможно. Идеально-типическое понятие, по Веберу, — мысленная конструкция, которая в действительности не существует и существовать не может.

Идеальный тип, писал Вебер, «образуется путем одностороннего *выдвижения одной или нескольких* точек зрения и соединения всей полноты в большей или меньшей степени диффузно и дискретно существующих *единичных* явлений... в единый мысленный образ. В своей понятийной чистоте этот мысленный образ нигде нельзя найти эмпирически в действительности, это *утопия* — и для работы историка вырастает задача установить в каждом отдельном случае, насколько близко или далеко стоит действительность от идеального типа»⁴⁵. М. Вебер поставил реальную, важную для истории проблему образования типологических понятий, однако он глубоко заблуждался: мы увидим, что дело состоит не в «одностороннем выдвижении одной или нескольких точек зрения», а в нахождении мысленной модели реальных отношений.

В истории мы сталкиваемся с двумя основными видами образования типологических понятий. Прежде всего, эмпирическое образование типа для сходных явлений аналогично выше приведенным рекомендациям Гете в отношении остеологии. Как помимо анатомии человека, лошади, воробья и лягушки существует сравнительная анатомия, объединяющая виды живых существ в роды, классы, типы и устанавливающая общие схемы строения живых организмов, не совпадающие ни с одним видом в отдельности, так и в истории можно установить сравнительным путем различные типы общественных явлений. «Подобные типы можно установить, например, по отношению к политическим организациям человеческих обществ в связи с их социальным строем. Та-

⁴⁴ Вебер писал: «Мы намеренно рассматривали «идеальный тип» ... как конструкцию, которую создает мышление, для того чтобы измерять и систематически рассматривать *индивидуальные* связи, т. е. связи, имеющие значение в их своеобразии, как, например, христианство, капитализм и т. д. Мы сделали это для того, чтобы устранить ходячее представление, будто в области культурных явлений абстрактно-типическое тождественно с абстрактно-родовым» (M. Weber. Soziologie. Weltgeschichtliche Analysen. Politik. Stuttgart, 1956, S. 246—247).

⁴⁵ M. Weber. Soziologie. Weltgeschichtliche Analysen. Politik, S. 235.

кими типами были деспотии древнего Востока, государства-города античного мира с их гегемоническими федерациями, средневековые поместья-государства и сословные монархии»⁴⁶. В символическом выражении образование эмпирического типа можно представить следующим образом. Если даны четыре явления: a^1bcd , ab^1cd , abc^1d , $abcd^1$, то $abcd$ будет их средним типом. Этот тип образуется не непосредственным отвлечением общих признаков, присущих каждому из четырех явлений (мы не можем назвать ни одного такого признака!), а конструированием общей их основы.

Другой вид типологии — анализ структуры развивающейся системы методом восхождения от абстрактного к конкретному. Суть этого метода, примененного Марксом к анализу капиталистического общества, изложена им во «Введении» и неоднократно становилась предметом рассмотрения в современных работах по диалектической логике.

Обратим внимание лишь на некоторые моменты, представляющие интерес для исторической науки.

Прежде всего отметим, что для диалектического мышления конкретное есть не только единичная, чувственно воспринимаемая вещь или знание об этой вещи. Чувственная конкретность есть отправной пункт для выработки абстракций, которые затем служат строительным материалом для создания логической конкретности. «Конкретное потому конкретно, что оно есть синтез многих определений, следовательно, единство многообразного. В мышлении оно поэтому выступает как процесс синтеза, как результат, а не как исходный пункт, хотя оно представляет собой действительный исходный пункт и, вследствие этого, также исходный пункт созерцания и представления»⁴⁷. Укажем, однако, на относительность различия между конкретным и абстрактным: что следует считать абстрактным и что конкретным, зависит от достигнутого уровня познания действительности и тех задач, которые решаются исследователем.

Метод восхождения от абстрактного к конкретному предполагает построение системы субординированных, т. е. взаимосвязанных, переходящих друг в друга, категорий, связь между которыми отражает реальную структуру и способ функционирования объекта, достигшего определенной стадии зрелости. Поскольку высший этап любого развития вытекает из определенных предшествовавших ему низших стадий и как бы содержит их в «снятом» виде, то изучение структуры объекта имеет огромное методологическое значение для познания его прошлого, его истории.

⁴⁶ Н. Кареев. Теория исторического знания. СПб., 1913, стр. 202. М. Вебер возражал против такого подхода к проблеме. Для него «идеальный тип» не родовое понятие, а единство общего и индивидуального.

⁴⁷ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 12, стр. 727.

Теперь встает вопрос о соотношении «движения» категорий с реальным путем, пройденным развивающимся объектом, о соотношении между логическим и историческим. Надо отметить, что, соотнося историческое с логическим, мы вкладываем в первый термин два смысла; в одном случае мы обозначаем им исторический путь, пройденный самим развивающимся объектом, в другом — историю познания объекта. Когда говорят о совпадении в общем и целом логического с историческим, о том, что логическое есть историческое, очищенное от случайностей и зигзагов, что логика начинается с того же, с чего начинается история, то все это справедливо по отношению к истории познания, а не к истории развития объекта. Действительно, научное знание начинается свое развитие с выработки наиболее общих, «тощих» абстракций, которые в дальнейшем все более наполняются конкретным содержанием. Гегель блестяще показал это на примере истории философии: каждая новая философская система, если отвлечься от случайностей, присущих индивидуальности ее создателя, есть новая ступенька в движении философского знания к абсолютной истине.

Подобной стройности не знает история природы и общества. Здесь нет «начала», движение идет не от абстрактного к конкретному, а от одной конкретности к другой. Здесь мы сталкиваемся с иной последовательностью категорий (реальных отношений), чем в движении понятий, раскрывающих логическую структуру развитого, «ставшего» объекта. Исторически, например, земельная рента, торговый, ростовщический капитал предшествовали промышленному капиталу; но в структуре сложившего капиталистического общества доминирующую роль играет последний, и с его анализа начинается движение мысли в «Капитале». «...Было бы недопустимым и ошибочным, — писал К. Маркс, — брать экономические категории в той последовательности, в которой они исторически играли решающую роль. Наоборот, их последовательность определяется тем отношением, в котором они находятся друг к другу в современном буржуазном обществе, причем это отношение прямо противоположно тому, которое представляется естественным или соответствует последовательности исторического развития»⁴⁸. Отношения, которые играли роль условий возникновения явления, превращаются затем в побочные формы его проявления. Этим и объясняется своеобразное «перевертывание» исторической последовательности категорий. «Исторически

⁴⁸ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 12, стр. 734. В другом месте Маркс говорит: «Размышление над формами человеческой жизни, а следовательно, и научный анализ этих форм, вообще избирает путь, противоположный их действительному развитию» (Капитал, т. I. — К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 23, стр. 85).

предшествующее» в ходе развития постоянно превращается в «логически последующее» и наоборот»⁴⁹.

Между тем историк обязан исследовать и воспроизвести реальный процесс становления той или иной системы общественных отношений, их развитие во времени, в хронологической последовательности, в единстве необходимого и случайного. Поэтому логически конкретное понятие о структуре капитализма не заменит исторической картины возникновения этой формации, хотя дает многое для раскрытия ее смысла. Анатомия человека есть ключ к анатомии обезьяны, но только ключ. Логический анализ общественно-экономической формации есть ключ к историческому анализу ее возникновения. Пользуясь этим ключом, историк проникает в тайники прошлого и воссоздает богатство исчезнувшей действительности.

Выше мы упоминали об относительности понятий конкретного и абстрактного. То, что в одних отношениях выступает как конкретное, в других является абстрактным. Логический анализ капиталистического общества, представляющий для социолога конкретную картину структуры и функционирования этого общества, служит для историка лишь абстрактным отправным пунктом для воспроизведения конкретного генезиса капиталистических отношений в той или иной стране в ту или иную эпоху. При этом следует иметь в виду, что, как писал Гегель, «каждой эпохе свойственны столь своеобразные обстоятельства, она представляет собой столь индивидуальное состояние, что только исходя из него самого, основываясь на нем, должно и единственно возможно судить о ней»⁵⁰. Эта гегелевская мысль привлекла внимание Ленина. Сначала он записал основное ее содержание, подчеркнул написанное, заметил на полях «очень умно», а затем выписал все место целиком. Здесь, разумеется, речь идет не об историческом релятивизме (в этом нельзя заподозрить ни Гегеля, ни Ленина, это очевидно), а лишь о роли индивидуального в истории. Задача историка, как мы отмечали выше, состоит в воссоздании целостной картины прошлого, включающей в себя как общее, необходимое, так и индивидуальное.

Логической формой, выражающей единство общего, особенного и единичного, является конкретное понятие. Гегель впервые высказал идею об общем, несущем в себе богатство индивидуального. Ленин, комментируя соответствующее место из «Науки логики», писал: «Прекрасная формула: „Не только абстрактно всеобщее, но всеобщее такое, которое воплощает в себе богатство особенного, индивидуального, отдельного“ (все богатство особого и отдельного!)!!»⁵¹

⁴⁹ Э. В. Ильенков. Дialeктика абстрактного и конкретного в «Капитале» Маркса. М., 1960, стр. 204.

⁵⁰ См. В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 29, стр. 281—282.

⁵¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 29, стр. 90.

Понятие «Французская буржуазная революция» включает в себя как то общее, что определяет переход от феодализма к буржуазному строю, так и то особенное, что характеризует этот период в специфических условиях Франции XVIII в., то индивидуальное, неповторимое, что имело место в революционной борьбе. Нельзя писать о Французской революции, не говоря о формировании в стране капиталистических отношений, но нельзя и ограничиться этим. Используя аппарат понятийного мышления, историк описывает и анализирует важнейшие революционные события, деятельность вождей революции, ее победы и поражения.

В конкретном историческом понятии раскрывается единство общего и единичного не только в отношении явлений сосуществующих, но и в отношении явлений, сменяющих друг друга. Основной принцип исследования и изложения в истории — хронология: события берутся в строгой временной последовательности. Но хронология — не панацея от всех трудностей, которые подстерегают ученого на пути к всеобщему охвату исторической действительности. Даже в локальных цивилизациях древности многие события внутренней жизни страны невозможно понять без учета внешних влияний. В новейшее время история принимает всемирный характер. Крутые повороты в международных отношениях в одной части земного шара зависят подчас от хода событий, происходящих за многие тысячи километров. Временная последовательность событий может быть непосредственно прослежена лишь в очень узкой цепочке, в то время как историк, задавшийся целью передать движение большого социального организма, сталкивается с необходимостью изображения множества событий, происходящих одновременно в разных местах и в разных сферах общественной жизни. Поэтому он волей-неволей должен возвращаться в своем анализе назад для того, чтобы проследить иную связь событий, помимо рассмотренной только что. Не удивительно, что конкретное историческое понятие приобретает сложную структуру. Категория времени занимает в ней ведущее, но не всепоглощающее место. При построении конкретного исторического понятия в исторической науке «работают» такие понятия, как сущность и явление, необходимость и случайность, содержание и форма, действительность и возможность. Они характеризуют собой различные стороны, связи, отношения исторической реальности, которые необходимо учитывать при объяснении событий.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБРАЗ

Научному знанию не противопоказаны образные средства. Рисунок и фотография, чертеж и схема нередко в ученых трактатах, с их помощью наглядно воспроизводится изучаемый объект.

Иллюстративный материал часто встречается и в исторических сочинениях — портрет государственного деятеля, схема сражения, политическая карта, зарисовка быта и труда всегда сопровождают повествование о днях минувших. Но в истории мы сталкиваемся и с особым рода образным мышлением, которое сродни мышлению эстетическому.

История соприкасается с художественной литературой и искусством больше, чем какая-либо из других наук (разумеется, кроме науки о самом искусстве). О близости истории искусству известно давно. В античном мире эта идея олицетворялась символическим образом музы истории Клио. Вольтер, Шиллер, Пушкин воплощали в своем творчестве живое единство этих двух сфер человеческой культуры. В биографическом жанре трудно различить, где кончается история и начинается литература.

Близость истории и литературы всегда порождала разного рода превратные концепции о природе исторического знания. Молодой Кроче рассматривал историю не как науку, а как искусство. Аналогичные взгляды отстаивал Рассел. На XI международном конгрессе историков Л. Готшок (Gottschalk) развивал идею о том, что история является «отчасти наукой, отчасти искусством, отчасти философией». Функции искусства история, по мнению Готшока, выполняет вследствие неполноты исторических данных. «Зияющая пропасть отделяет историю, как она происходила на самом деле, от той истории, которую мы знаем, и эта пропасть может быть заполнена только при помощи воображения, реконструкции событий, воспроизведения того, как они должны были произойти, на основании имеющихся в распоряжении неполных данных. Это есть акт творчества (или, лучше сказать, воссоздания, или интерпретации), родственный искусству»⁵².

Готшок неправ в решении проблемы, но сама проблема имеет реальный смысл. Хорошая книга по истории сродни искусству не только в силу своих беллетристических качеств, не только потому, что она хорошо написана и читается, как роман. Здесь есть определенное методологическое родство, которое, однако, следует искать не там, где ищет его Готшок, не в необходимости пользоваться воображением, не в субъективных, а в объективных моментах, в специфике предмета и метода. Историк близок писателю не тогда, когда недостаток материала заставляет его пускаться в ход свое воображение. Как раз в этих случаях историк крайне осторожен в своих утверждениях и предположениях. Он «конкурирует» с писателем лишь тогда, когда обилие достоверного

⁵² XI-e Congrès International des Sciences Historiques. Résumé des Communications. Göteborg—Stockholm—Uppsala, 1960, p. 23.

Надо сказать, что Л. Готшок не оригинален: аналогичные мысли высказывал еще в прошлом веке И. Г. Дройзен (см. J. G. Droysen. Historik. München, 1958, S. 419—420).

материала дает возможность нарисовать яркую картину действительности.

Дело заключается в том, что сам объект исторического исследования имеет эстетическую структуру. Эстетические отношения возникают в процессе познания и преобразования человеком окружающего его предметного мира. Они объективны в той мере, в какой, например, объективны отношения производственные. Эстетические категории — прекрасное, возвышенное, драматическое, трагическое, комическое, типическое — присутствуют в самой жизни (как в настоящем, так и в прошлом), а следовательно, и в истории.

Р. Виппер в одной из своих ранних работ заметил, что историк драматизирует целые эпохи. В качестве иллюстрации он приводил описание периода, предшествовавшего буржуазной английской революции. Одиннадцать лет беспарламентского правления (1629—1640) изображаются как один долгий акт трагедии, содержащий ее завязку. Люди живут в тягостном ожидании; обе стороны, между которыми потом произойдет столкновение, молча готовятся к борьбе. В соответствии с этим общим замыслом историк отбирает из бесконечного огромного материала нужные ему факты.

Наблюдение это верно, но надо только сказать, что здесь опять-таки мы имеем дело не с литературным приемом, не с произвольной схемой, а с выявлением реальной логики событий. Завязка исторической драмы в Англии сменилась вскоре бурным развитием событий, которое имело и свою кульминацию и развязку.

О драматизме и даже трагизме реальной истории не раз говорили Маркс и Энгельс, употребляя эти выражения отнюдь не в метафорическом смысле. Глубокие мысли по этому поводу можно найти в их переписке с Ф. Лассалем о его трагедии «Франц фон Зиккинген». Произведение Лассалья посвящено революции, но в основу его положено чисто формальное понимание трагического конфликта. Этот конфликт якобы состоит в противоречии между необходимостью для революционного вождя вести за собой массы, быть впереди, и вечной косностью человеческой природы. Подобное противоречие Лассаль видел в революционных событиях периода Крестьянской войны в Германии и, в частности, в действиях руководителя рыцарского восстания 1522—1523 гг. Зиккингена.

Маркс положительно отнесся к замыслу взять в качестве содержания трагедии крушение революции. «Задуманная тобой коллизия, — писал он Лассалю, — не только трагична, но она есть именно та самая трагическая коллизия, которая совершенно закономерно привела к крушению революционную партию 1848—1849 годов. Поэтому я могу только всецело приветствовать мысль сделать ее центральным пунктом современной трагедии. Но я

спрашиваю себя, годится ли взятая тобой тема для изображения этой коллизии?»⁵³

Дело заключалось в том, что исторический Зиккинген не был революционным вождем; он восстал против возникавшего нового строя как представитель старого рыцарства, как представитель гибнущего класса. Зиккинген был примером трагического героя для Гегеля, видевшего трагедию лишь в гибели общественной силы, уходящей с исторической арены. Замысел Лассалья — выйти за пределы гегелевской трактовки трагического — не осуществился; избранный им исторический персонаж оставался в пределах этой трактовки, и положенная в основу произведения формальная схема — мнимое извечное противоречие между революционным порывом вождя и необходимостью компромисса — была даже шагом назад по сравнению с Гегелем, подходившим к каждому трагическому конфликту конкретно-исторически⁵⁴.

Ошибка Лассалья, отмечал Маркс, состояла в том, что он поставил «лютеровско-рыцарскую оппозицию выше плебейско-мюнцеровской»⁵⁵. Энгельс также считал, что Лассаль недостаточно подчеркнул в пьесе роль плебейских и крестьянских элементов. И надо отдать справедливость Лассалю, он правильно понял смысл сделанных ему замечаний. «Ваши упреки, — писал Лассаль Марксу и Энгельсу, — сводятся в конечном счете к тому, что я вообще написал „Франца фон Зиккингена“, а не „Томаса Мюнцера“»⁵⁶. Действительно, если Зиккинген был трагическим героем уходящего мира, то Мюнцер являлся олицетворением героически и трагически погибающих носителей нарождающейся новой исторической силы.

Маркс и Энгельс различали два вида трагической коллизии в истории. Трагической представлялась им героическая гибель старого общественного строя, еще не утратившего своих сил. *«Трагической»* была история старого порядка, пока он был существующей испокон веку властью мира, свобода же, напротив, была

⁵³ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 29, стр. 483.

⁵⁴ Гегель был убежденным приверженцем идеи объективности и конкретно-исторической обусловленности эстетических отношений. Олицетворением трагизма была для него эпоха Реформации, «когда рыцарство и дворянская самостоятельность входивших в его состав индивидуумов находят свою гибель от рук вновь возникшего объективного порядка и законности» (Гегель. Сочинения, т. XII, стр. 200). Последующая история, по Гегелю, лишена героики и, следовательно, трагизма; буржуазный порядок с его развитыми моральными, правовыми и политическими установлениями сужает до предела самостоятельную деятельность человека; отдельная личность не является теперь носителем общественных сил. С другой стороны, буржуазный строй — закономерная необходимая ступень в развитии мирового разума; восставать против него неразумно. Буржуазная ограниченность закрыла для Гегеля возможность узреть в революции героические и трагические черты.

⁵⁵ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 29, стр. 484.

⁵⁶ См. «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», т. 1. М., 1957, стр. 45.

идеей, осенявшей отдельных лиц, — другими словами, пока старый порядок сам верил, и должен был верить, в свою правомерность. Покуда ancien régime, как существующий миропорядок, боролся с миром, еще только нарождающимся, на стороне этого ancien régime стояло не личное, а всемирно-историческое заблуждение. Поэтому его гибель и была трагической»⁵⁷.

Вместе с тем Маркс и Энгельс сформулировали и новое понимание трагического как гибели провозвестников передовой, но преждевременно выступившей исторической силы. Революции, потерпевшие поражение, содержали в себе трагическую коллизию, о которой Энгельс писал: «Самым худшим из всего, что может предстоять вождю крайней партии, является вынужденная необходимость обладать властью в то время, когда движение еще недостаточно созрело для господства представляемого им класса... то, что он *может* сделать, противоречит всем его прежним выступлениям, его принципам и непосредственным интересам его партии; а то, что он *должен* сделать, невыполнимо»⁵⁸.

Полностью изживший себя некогда прогрессивный, но ныне выродившийся общественный строй, превратившийся в пародию на свое прошлое, становится живым воплощением «юмора в истории», комической ситуации. «История Франции вступила в стадию совершеннейшего комизма, — писал Энгельс Марксу 3 декабря 1851 г. по поводу контрреволюционного переворота Луи Бонапарта. — Что может быть смешнее, чем эта пародия на 18 брюмера, устроенная в мирное время при помощи недовольных солдат самым ничтожным человеком в мире...»⁵⁹ Маркс любил говорить, что всемирно-исторические события повторяются дважды: первый раз — как трагедия, второй — как фарс. Это нужно, пояснял он, для того, чтобы человечество весело расставалось со своим прошлым.

Итак, историческая действительность рождает ситуации, исполненные большого эстетического смысла. Образно-эмоциональное начало переходит из исследуемого материала в историческое повествование подчас даже помимо намерений автора. Историк не вправе пренебрегать познавательными возможностями, которые сама история дает ему в руки. Сознательно их используя, он может добиться большей действенности своего произведения.

Исторический образ — зеркальное отражение реального события. В этом его отличие от образа художественного, представляющего собой обобщенное отражение жизни, трансформированное, сгущенное и заостренное творческим воображением писателя. В историческом образе домысел совершенно исключен, фантазия

⁵⁷ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 1, стр. 418.

⁵⁸ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 7, стр. 422—423.

⁵⁹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 27, стр. 339.

в творчестве историка играет вспомогательную роль, роль своеобразного толчка к интуитивному акту нахождения материала и осмысления его. Писатель создает типические образы, историк — лишь ищет их.

Типическое, как и другие эстетические категории, принадлежит самой жизни⁶⁰. Под типическим мы понимаем явление, с наибольшей полнотой и яркостью выражающее свою сущность. В историке должна быть остро развита способность видеть типическое, понимать его.

Поскольку типическое выражает сущность, оно связано с повторяющимся, с общим. Но поскольку типическое выражает сущность с наибольшей полнотой и яркостью, оно необычно, индивидуально. Сущность эпохи полно и ярко передают крупные исторические события, выдающиеся личности, создания культуры, к ним в первую очередь приковано внимание историка. Но, как отмечает Гегель, «нередко даже мелкие особенности какого-нибудь незначительного события или слова выражают не субъективную особенность, а, наоборот, с бьющей в глаза очевидностью и краткостью выражают собой время, народ, культуру (причем выбрать подобного рода характерные подробности является уже делом проницательности историка)»⁶¹.

Не только большие, но подчас и незначительные для всего общества факты могут служить своеобразным фокусом, концентрирующим в себе отраженные лучи действительности. 14 января 1951 г. в итальянской газете «Мессаджеро» появилось объявление о том, что требуется машинистка. Спустя 48 часов та же газета на первой странице сообщила об ужасном происшествии на ул. Савойя, где в результате неожиданного обвала лестницы семьдесят семь молодых женщин получили разной степени ранения, а одна скончалась. По объявлению явился двести человек, лестница, не рассчитанная на такое скопление народа, рухнула. Кинорежиссер Джузеппе Де Сантис писал по этому поводу: «Факты из хроники зачастую обладают способностью внезапно проливать свет на определенное социальное явление, обнаруживать его истинные причины и наиболее характерные для данного момента черты. . . Этот случай, словно указующий перст, ткнул в язву безработицы»⁶². Де Сантис использовал трагическое происшествие на улице Савойя для создания художественного фильма, который, однако, не является копией события (достаточно сказать, что ни один из персонажей фильма не имеет прообраза среди пострадавших). Для историка этот случай, воспроизведенный в его подлин-

⁶⁰ Еще Гете обратил внимание на то, что в реальной действительности встречаются «выдающиеся случаи, которые в своем характерном многообразии стоят... как представители многих других» (Гёте и Шиллер. Переписка (1794—1805), т. I. М.—Л., 1937, стр. 308).

⁶¹ Гегель. Сочинения, т. III, стр. 331.

⁶² Рим, 11 часов. [Сборник]. М., 1958, стр. 7.

ных деталях, дает возможность убедительнее, чем иные статистические выкладки, обрисовать ситуацию в послевоенной Италии.

Обычные, повседневные события в жизни безработного — поиски места, получение пособия, регистрация на бирже труда — ввиду своей массовости, привычности, обыденности не привлекают к себе внимания и не раскрывают стоящей за ними сущности столь впечатляюще, как это сделал случай на улице Савоя. Он необычен, но он — «указующий перст» и в этом смысле типическое явление. Художник, правда, может найти типическое в повседневном, сделать обычное необычным, глазами первооткрывателя посмотреть на примелькавшееся, в необычном ракурсе показать социальную ситуацию, силой художественного воображения проникнуть в духовный мир человека. Для историка этот путь заказан, он не имеет права прибегать к воображению, в его распоряжении лишь те образы, которые создает сама историческая действительность.

Говорят, что Ключевский, автор нестареющего «Курса русской истории», всегда наглядно, зрительно представлял себе то, о чем собирался повествовать. Быть может, именно поэтому ему удавалось достичь столь необычной силы эмоционального воздействия: лучшие его страницы можно поставить в один ряд с тургеневской прозой. Хороший историк всегда сопереживает ход описываемых событий, бесстрастное историческое повествование — свидетельство духовной бедности автора, чтобы не сказать сильнее⁵³. Историк обращается и к внутреннему миру личности, пытается приподнять завесу над побудительными мотивами людских поступков, восстановить логику (или алогичность) мыслей и чувств человека, совершившего тот или иной социально значимый акт. Единственное требование к историку во всех подобных случаях — наличие надежных источников.

Сила исторических образов — в их достоверности. Когда читатель твердо убежден в том, что ему рассказывают о подлинных событиях, то повествование приобретает особую эмоциональную действительность. Достоверность выступает в качестве не только научной, но и своеобразной эстетической категории, которая присуща лишь историческому повествованию и, как правило, отсутствует в произведении художественном.

Современное искусство, правда, пытается стереть это различие. На подмостки театров ныне пришли документальные пьесы, где нет ни вымысла, ни домысла, где с протокольной точностью воспроизводятся реальные события. Такова драма П. Вейса «До-

⁵³ История не дело евнухов, говорил Кроче. Хейзинга, явно увлекаясь, советовал историку переживать события в их неопределенности, как еще не совершившиеся. «Рассказывая о Саламине, он может предполагать, что победителями будут персы, рассказывая о государственном перевороте 18 брюмера, — что Бонапарт потерпит позорное поражение» (J. Huizinga. *Geschichte und Kultur*. Stuttgart, 1954, S. 66).

знание», представляющая собой переложенные на белые стихи отрывки из стенограммы процесса над палачами Освенцима. Документальное кино уже давно конкурирует с художественными, игровыми фильмами; высшее достижение в этой области — «Обыкновенный фашизм» М. Ромма. Литературное повествование, построенное на документах, — «Бездна» Л. Гинзбурга. Характерно, что все три названных произведения посвящены преступлениям фашизма — величайшей трагедии, пережитой человечеством в XX в. Здесь реальность намного превзошла пределы человеческой фантазии, и художники не пытаются с ней конкурировать.

«Мировая история — величайшая поэтесса», — писал Ф. Энгельс⁶⁴. Творчество этой поэтессы, где трагедия переплетена с фарсом, где льются потоки подлинной крови, где нет вымышленных страстей, имеет свои законы, свои особенности, изучение которых с позиций общей эстетической теории было бы весьма полезным делом для историка.

«Не помню сейчас, какой ученый сухарь родил ту «бессмертную» идею, что в храме исторической науки эстетике делать нечего», — писал Ф. Меринг, начиная свою книгу о Марксе⁶⁵. К сожалению, и в наши дни встречаются подобные «ученые сухари», которые в разговорах об эстетической ценности истории видят лишь посягательство на ее научные права⁶⁶.

К познанию общего, существенного можно идти двумя путями. Теоретическое познание движется путем отвлечения от случайного, единичного, путем выработки научных абстракций, обнаружения законов и т. д. Другой способ познания существенно-общего состоит в нахождении наиболее характерных единичных явлений, которые при всей своей неповторимости и исключительности являются как бы непосредственным выражением породившей их закономерности. Этим путем идет искусство, создающее обобщенные художественные образы. Типический образ — создание искусства, но типическое явление принадлежит жизни.

Историческое обобщение представляет собой своеобразный синтез теоретического и художественного освоения мира. Оно двояко по своей природе: абстрактно и чувственно-конкретно, понятия сосуществуют здесь с наглядной картиной прошлого. Историк не имеет права вступать в область вымысла и домысла, но когда он сталкивается с типическим явлением и правдиво рас-

⁶⁴ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 33, стр. 43.

⁶⁵ Ф. Меринг. Карл Маркс. История его жизни. М., 1957, стр. 27.

⁶⁶ Интересно, что на Западе зачастую историкам не по душе то, что их наука — живое воплощение теоретического и эстетического начала, но уже по другим причинам. «Многие историки опасаются того, что их предмет, приобретая научные качества, утратит свою душу, потеряет красочность и увлекательность, т. е. как раз то, что в первую очередь привлекало их к изучению истории» (H. S. Hughes. History as Art and as Science. N. Y., 1964, p. 4).

сказывает о нем, его повествование приобретает и эстетическую ценность.

Конечно, не любая проблема в истории допускает применение образно-эмоциональных средств. Задача, решаемая историками, требует подчас одностороннего подхода к материалу (так обстоит дело, например, в экономической истории, где широко применяется математическая обработка исследуемых данных, а образно-эстетические возможности освоения материала ограничены или сведены к нулю). Но когда историк имеет дело с многообразием исторической конкретности — эпохой, взятой как целое, жизнью народа, класса, человека, то в арсенале его познавательных средств образное мышление занимает значительное место.

В западной литературе иногда можно встретить теорию «двух историй» — сосуществования «исторической науки», оперирующей общими социологическими понятиями, и «исторического описания», образно повествующего о неповторимых событиях прошлого. Эта идея восходит к Фихте, делившего историю на априорную (теоретическую) и апостериорную (эмпирическую). Гегель также различал «философскую» и «историческую» историю. Если первая, отвлекаясь от жизненной пестроты, пишет «серым по серому», то произведения второй «дают достаточно простора для художественной деятельности»⁶⁷.

Мы не можем принять подобное расчленение исторической науки. Идея монизма в истории — это не только признание единого, целостного характера исторического процесса, но также признание органического единства всех познавательных средств в этой сложной и многообразной области знания.

⁶⁷ Гегель. Сочинения, т. XIV, стр. 181.

ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАКОНОМЕРНОСТИ

А. Я. Гуревич

В наши дни на первый план со все большей силой выдвигается вопрос о человеческом содержании истории. Люди не носители стоящего над ними закона, покорно выполняющие его предначертания. Они активные творцы и участники исторического процесса; закономерности истории формируются человеческой деятельностью, в результате исторического творчества людей. Признавая объективность общественно-исторической закономерности, необходимо видеть и особый ее характер, обусловленный тем, что она осуществляется самими людьми. Здесь нет произвола и индетерминизма, но историческая закономерность имеет как бы «локальный» характер, ибо обнаруживается всегда в неповторимых событиях и получает субъективную окраску, пройдя через людей, их поступки и психику, мысли, идеи, чувства.

Законы, действующие в истории, по степени их универсальности, так сказать, сферы их компетенции, в нашей философско-исторической литературе принято подразделять на отдельные группы. К первой относят «общесоциологические законы», действующие на протяжении всей истории человечества (таков, например, закон соответствия производственных отношений характеру производительных сил); во вторую группу входят законы, являющиеся общими для нескольких формаций (законы классовой борьбы, социальной революции; сюда же, видимо, следует отнести закон общественного разделения труда, порождающего классовое деление общества, и другие); наконец, третью группу исторических законов, по этой классификации, составляют законы отдельных формаций: капитализма, социализма, перехода от одной формации к другой. Законы третьей группы именуют «специфическими законами истории» ¹.

¹ См., например, «Философская энциклопедия», т. 2. М., 1962, стр. 156.

Классификация общественных законов по группам представляется целесообразной и оправданной. Но, различаясь между собой по степени универсальной приложимости к историческому процессу, все они, на наш взгляд, суть законы общего движения человечества в целом, либо ряда формаций, либо отдельной формации, взятой, однако, опять-таки в целом. По этой причине, а также потому, что они обнаруживаются в истории всегда лишь в виде тенденций, их следовало бы считать скорее социологическими законами, а не специфическими законами истории в собственном смысле слова, к какой бы из перечисленных выше групп они ни принадлежали.

Закон перехода от одной общественной формации к другой «Философская энциклопедия» относит к специфическим законам истории. Принято считать, что согласно этому закону в недрах старой, изживающей себя формации зарождаются и складываются предпосылки более прогрессивной формации, возникает новый общественный уклад, характеризующийся иным уровнем развития производительных сил и соответствующими им производственными отношениями; достигнув определенной стадии зрелости, новые социальные силы взрывают старое общество, происходит социальная революция: борьба угнетенного класса против господствующего класса кладет конец господству последнего.

Хорошо известно, что в течение длительного времени в советской историографии таким образом объяснялось падение Римской империи. Однако такого рода попытка терпела неудачу всякий раз, как только принимались во внимание конкретные факты и процессы истории. На самом деле в поздней Римской империи наблюдался не прогресс производительных сил, которые должны были, согласно упомянутому закону, перерасти отживавшие рабовладельческие производственные отношения и прийти в конфликт с ними, а скорее регресс производства, приведший римское общество в тупик.

Вряд ли можно сомневаться и в том, что зачатки феодальных отношений, в какой-то мере возникавшие в Римской империи, так и не развились на Западе в феодальный общественный уклад до ее падения; становление феодализма началось, собственно, после варварских завоеваний в результате сопровождавших их сдвигов в социальном строе Европы и синтеза античных и общинно-родовых порядков. Наконец, совершенно очевидно, что восстания рабов не привели и не могли сами по себе привести римский общественный строй к гибели, ибо рабы не были носителями новых производственных отношений, да и вообще борьба рабов против рабовладельцев не являлась ведущей формой классовой борьбы в античном Риме. Маркс прямо утверждал, что «в Древнем Риме классовая борьба происходила лишь внутри привилегированного меньшинства, между свободными богачами и свободными бедняками, тогда как огромная производительная

масса населения, рабы, служила лишь пассивным пьедесталом для этих борцов»². Падение Римского государства было вызвано в первую очередь варварскими завоеваниями, сопротивляться которым империя, ослабленная внутренним кризисом, была не в состоянии³.

Очевидно, закон перехода от одной формации к другой представляет собой обобщение такого высокого уровня, что прямая попытка объяснения с его помощью данного периода истории, без существенной модификации и спецификации, без учета многих важных моментов, связанных с особенностями социального строя Римской империи и общинно-родового строя завоевавших ее варваров, невозможна. Падение Римской империи вряд ли объяснимо только кризисом рабовладельческого строя, да и само это понятие нуждается в уточнении и конкретизации. Видимо, здесь сыграл роль ряд других существенных факторов. Оставим открытым вопрос о том, возможен ли был вообще переход от античного общественного строя к феодальному на основе одного лишь развития внутренних противоречий Римской империи, без вмешательства сил, «внешних» по отношению к ней. Не имея возможности подробно останавливаться в статье на этой особой проблеме, отметим, что воспроизводство класса рабов совершалось не в недрах античного общества, а преимущественно за счет включения в систему рабской эксплуатации все новых и новых масс варваров и других народов, находившихся за пределами римского мира. Следовательно, при переходе от рабства к феодализму действовали, переплетаясь между собой, закономерности движения не одной, а двух общественных систем — античной и варварской.

Ф. Энгельс, говоря о разрешении противоречия, присущего всякому обществу, которое основывалось на рабстве, отмечал: «Разрешение его совершается в большинстве случаев путем насильственного порабощения гибнущего общества другим, более сильным (Греция была покорена Македонией, а позже Римом). До тех пор пока эти последние, в свою очередь, имеют своей основой рабский труд, происходит лишь перемещение центра, и весь процесс повторяется на более высокой ступени, пока наконец (Рим) не происходит завоевание таким народом, который вместо рабства вводит новый способ производства»⁴. Мысль о том, что коренная революция, которая вывела римское общество из тупика, состояла именно в варварских завоеваниях империи, открывших путь для становления феодализма, высказывалась Энгельсом неоднократно⁵.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 16, стр. 375.

³ Обоснование этих выводов см. в статье А. Р. Корсунского «Проблема революционного перехода от рабовладельческого строя к феодальному в Западной Европе» («Вопросы истории», 1964, № 5).

⁴ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 20, стр. 643.

⁵ См., например, К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 21, стр. 149—150, 154—155.

Таким образом, содержание глубокой социальной революции, составляющей основу переходного периода от античности к средневековью, не может быть раскрыто на уровне одного лишь общего социологического закона, здесь следует дать объяснение на уровне конкретной исторической закономерности⁶.

Более того, объяснение исторического явления невозможно путем подведения его под какую-либо одну закономерность, какой бы уровень общности закона мы ни рассматривали. Исторические явления всегда многозначны: они вызываются комплексом разнородных причин, совершаются в результате пересечения многих факторов, выражающих различные линии развития, нередко и противоположной направленности. Историк не обладает исчерпывающим знанием всех причин, уже поэтому его объяснение большей частью неполно и оказывается недостаточным с углублением знаний. Кроме того, объяснение одного и того же события может быть дано на разных уровнях общности: одно объяснение — в плане всемирной истории, другое — в плане истории определенного региона или периода, третье — при более узком подходе, при большем приближении к явлению. Наконец, одно и то же событие может быть поставлено в разные сети связей в зависимости от угла зрения, под которым оно рассматривается.

Известно, какую огромную литературу породило и продолжает порождать упомянутое выше явление — падение Римской империи. Различные теории, выдвигавшиеся для объяснения этого исторического события, кажутся противоречащими одна другой и даже взаимно исключающими. Но возможен и иной подход к ним: каждая из теорий (кризис системы рабского хозяйства, упадок производства, варварские нападения, гипертрофия государства, народные выступления, сокращение численности населения, торжество христианства, партикуляризм провинций и т. д.) отражает какую-то реальную сторону исторического процесса. Другое дело, что понимание значимости разных факторов и их соотношенности между собой может быть различным. Сейчас нам важно подчеркнуть лишь то обстоятельство, очень важное для понимания природы исторического объяснения, что историческое явление многопланово как по своему генезису, по комплексности вызвавших его причин, так и по влиянию, которое оно оказывает: оно не имеет одной причины и поэтому не может быть однозначно объяснено.

Историк чаще всего исследует по необходимости локально ограниченный и относительно краткий этап исторического про-

⁶ Ясно, что понятие «социальная революция» в данном случае приходится трактовать чрезвычайно расширительно; оно имеет существенно иной смысл, нежели, скажем, понятие «социальная революция» применительно к переходному периоду от феодализма к капитализму.

цесса, на протяжении которого общий закон может обнаружиться только отчасти как тенденция, какими-либо отдельными своими сторонами или даже одной стороной, ибо в истории нередки случаи застоя, регресса, реакции и другие явления, противоречащие картине поступательного движения. Ищет ли исследователь в своем эмпирическом материале лишь проявление такого общего закона, о которых шла речь выше? Очевидно, история нуждается в конкретном объяснении происходящего, и простая ссылка на социологические законы вопроса не решает. Тут-то и возникает необходимость введения понятия конкретной исторической закономерности. Если социологические законы объясняют исторический процесс в целом и могут быть обнаружены только при рассмотрении исторических эпох и больших периодов как общие тенденции развития, то конкретная закономерность истории проявляется на протяжении ограниченных отрезков времени, в конкретной обстановке, и формируется она на основе совокупности всех причинных и иных связей общественного развития в данном обществе и в данный момент. При учете действия конкретной закономерности приходится считаться не только с ведущей тенденцией развития, которая выражает общие законы социального прогресса, но и со всем богатством реального содержания общественной жизни, противоборствующими тенденциями, активностью людей, их волей и сознательностью — со всеми факторами исторического процесса. Иными словами, специфическая, конкретная историческая закономерность, изучаемая исторической наукой, не есть простая конкретизация или персонификация законов всемирно-исторического развития: она обнаруживается в процессе деятельности людей, в сочетании, столкновениях, взаимодействии усилий всех участвующих в процессе сил и волей в каждый данный момент.

Первоосновой деятельности людей являются производительные силы, состояние которых выражает меру способности людей воздействовать на природу. Каждое новое поколение застает в готовом виде до и помимо него сложившиеся производительные силы, производственные отношения, определенные формы общественного строя, идеологии, культуры. Люди творят историю, исходя из наличных условий; они преобразуют эти условия, но деятельность людей, их активность обуславливается данной им реальностью; «выпрыгнуть» из общества, встать над ним и произвольно творить свою жизнь они не могут. Обусловленный предшествующим состоянием общества процесс его развития и преобразования и есть выражение закономерного общественного развития.

Но люди обладают волей, эмоциями, идеями, личными и общественными стремлениями, классовыми интересами, и они не могут не желать их реализации. Однако, поскольку эти намерения у разных индивидов и групп, классов, прослоек, партий, наро-

дов, государств не совпадают, то их усилия никогда не бывают направлены в одну сторону и не суммируются, а потому и их действиями в классовом обществе достигается не столько тот результат, которого они добивались, сколько нечто иное либо даже прямо противоположное желаемому. Этот результат, обусловленный конкретным сочетанием участвовавших в историческом движении сил, представляет собой своего рода «равнодействующую», «среднюю статистическую» всех этих сил. Он с необходимостью и закономерно вытекает из соотношения сил, вовлеченных в породившую его коллизию.

Проявляющаяся таким образом историческая закономерность действительно находится «вне» людей и «над» ними — в том смысле, что она оказывается не продуктом сознательной деятельности какой-либо группы, правительства или индивида, а чем-то весьма отличающимся от цели, ими преследовавшейся, и им приходится с нею считаться и перед нею склоняться⁷. Но эта закономерность исторического процесса не равнозначна закону природы: и закон истории, и закон природы объективны; однако закон природы является внешним по отношению к сознанию и воле людей; между тем закономерность общественной жизни, будучи «равнодействующей» усилий составляющих общество групп и индивидов, усилий, исторически обусловленных, формируется ими самими, хотя и предстает перед ними в виде отличного от их стремлений результата. Отсюда подчас появляется склонность фетишизировать исторические закономерности и приравнивать их к естественным законам. К. Маркс и Ф. Энгельс в полемике с идеалистами и субъективистами, говоря, что общественное развитие — это естественноисторический процесс, делали акцент на одну сторону вопроса, но в иных ситуациях они подчеркивали особенности развития человеческого общества, отличия его от эволюции природы⁸, имея в виду то решающее обстоятельство, что люди являются не только актерами, но и авторами всемирно-исторической драмы.

Выступая против «теологической бесчеловечности» младогегельянцев, Маркс и Энгельс еще в «Святом семействе» писали: *«История не делает ничего, она «не обладает никаким» необъятным богатством», она «не сражается ни в каких битвах»!* Не «история», а именно *человек*, действительный, живой человек — вот кто делает все это, всем обладает и за все борется. «История» не есть какая-то особая личность, которая пользуется человеком как средством для достижения *своих* целей. История —

⁷ См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 27, стр. 402—403; т. 37, стр. 395—396.

⁸ «... По выражению Вико, человеческая история тем отличается от истории природы, что первая сделана нами, вторая же не сделана нами...» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 23, стр. 383, прим. 89).

не что иное, как деятельность преследующего свои цели человека»⁹.

Позднее Ф. Энгельс, подчеркивая существенное различие между развитием природы и историей общества, отмечал: «В природе (поскольку мы оставляем в стороне обратное влияние на нее человека) действуют одна на другую лишь слепые, бессознательные силы, во взаимодействии которых и проявляются общие законы. Здесь нигде нет сознательной, желаемой цели: ни в бесчисленных кажущихся случайностях, видимых на поверхности, ни в окончательных результатах, подтверждающих наличие закономерности внутри этих случайностей. Наоборот, в истории общества действуют люди, одаренные сознанием, поступающие обдуманно или под влиянием страсти, стремящиеся к определенным целям. Здесь ничто не делается без сознательного намерения, без желаемой цели»¹⁰. Имея в виду прежде всего современное ему капиталистическое общество, Энгельс заключал, что цели, преследуемые людьми, по большей части недостижимы, а результаты, вытекающие из этих действий, для них вовсе не желательны. Тем самым Маркс и Энгельс ставили перед исторической наукой задачу познания как объективного хода исторического процесса, изучения результатов деятельности людей, так и преломления этой деятельности в их сознании.

Поведение и поступки общественных классов, коллективов, индивидов в своем взаимодействии и переплетении образуют историческое развитие. Разумеется, деятельность участников исторического процесса детерминирована. Но детерминированность эта никогда не может быть полностью, без остатка сведена к действию, проявлению общего социологического закона — в той или иной степени человеческая деятельность автономна как по своим причинам, которые бесконечно многообразны, так и по достигаемым результатам.

Это относится и к духовной жизни общества. Признавая зависимость сознания от бытия в философском и генетическом смысле (дух вторичен по отношению к материи), а также то, что духовная жизнь общества формируется и развивается под воздействием импульсов, постоянно исходящих из экономической, социальной, биологической, естественно-географической среды, и, следовательно, подвержена так или иначе действию законов этих систем, мы не можем не считаться с тем, что развитие духовной жизни не сводится к прямолинейному отражению этих воздействий и законов, что она в известной мере самодетерминирована, что у нее есть и собственные закономерности.

Мы подчас не обращаем должного внимания на кардинального значения факт, что, раз возникнув, та или иная система

⁹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 2, стр. 102.

¹⁰ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 21, стр. 305—306.

приобретает относительно автономное содержание и движется по внутренне детерминированным законам. Понятие самоопределения в особенности существенно применительно к духовной жизни. Духовная деятельность человека и общества представляет собой систему, в которой сочетаются принципы автономии и гетеронмии; иначе говоря, эта система развивается на основе законов разных уровней и систем: как законов материального бытия, причем не только социально-экономических законов, основополагающих для общества, но и законов природы, которые действуют и в среде, окружающей общество, и в самих людях, так и собственных законов. Здесь нет, конечно, никакого волюнтаризма: речь идет о понимании общественной жизни в виде взаимосвязанных и взаимообусловленных систем разных уровней (или разных слоев), в основе которых в конечном счете лежит материальное производство, но которые в своем развитии в принципе не сводимы к нему одному. Принцип самодетерминированности различных систем ныне усиленно подчеркивается в самых разных науках, как естественных, так и в науках о человеке и обществе.

Если общесоциологический закон истории означает, что в основе исторического процесса лежит развитие производительных сил, определяющих в первую очередь и непосредственно структуру производственных отношений, то конкретная историческая деятельность людей зависит от самых различных причин, среди которых, помимо отношений производства, должны найти место и природные условия, и национальные особенности, и психология, и идеология, внешние влияния и воздействия, всякого рода традиции, уровень культурного развития, биологические и демографические факторы и многое другое.

Здесь нет, однако, равнозначности, свободной игры факторов, как это утверждают плюралисты. Плюрализм вообще не есть методологический подход к изучению действительности: это всего лишь констатация банальности, заключающейся в признании того, что все со всем связано и все на все влияет. Вопрос состоит в том, что лежит в основе всей совокупности факторов. Действие их обусловлено предшествующей стадией развития. Главное же заключается в том, что общественные отношения, т. е. отношения между людьми, при всем их многообразии, формируются в конечном счете в соответствии с их местом в общественном производстве. Анализируя действие исторической закономерности, мы обнаружим в качестве ее объективной основы определенную систему производственных отношений, в рамках которой происходит «игра» всех общественных сил и индивидов, участвующих в данный момент в движении.

Но признавая структурное значение системы производственных отношений, мы должны иметь в виду, что тип производственных отношений определяет рамки, в которых возможно

действие всех других факторов общественного развития, но не исчерпывает их.

Конкретная закономерность истории не «вырабатывается» в каждый новый момент произвольно, она вытекает из сложившихся ранее предпосылок, в ней проявляется ведущая тенденция процесса в целом, но специфическая, собственно историческая закономерность при всей ее несомненной и тесной связи с общим социологическим законом никогда не может быть сведена к его проявлению, действию, — она всегда имеет также и свое особое, существенное для исторической науки содержание.

Многочисленные факторы исторического процесса находятся в постоянном взаимодействии, они не независимы один от другого. Значимость их действия прежде всего зависит от стадии общественно-экономического развития. Например, роль природной среды существенно меняется при переходе от одной формации к другой. Вместе с тем естественно-географические условия, включающие и природные ресурсы, и климат, и расположение данной страны по отношению к другим странам, оказывают сильнейшее влияние на развитие производства и другие стороны жизни общества. Так, несомненно огромная роль комплекса природных условий в возникновении и интенсивном развитии системы античного рабства в странах средиземноморского бассейна или, скажем, в замедленности эволюции и в застойности жизни многих народов экваториального пояса, как и народов крайнего Севера¹¹. Но и те из упомянутых факторов, которые весьма далеки от производства, в определенной, подчас очень большой степени могут оказывать воздействие на общественное развитие¹². Вспомним мысль Энгельса о тормозящей роли, которую сыграли в исторических судьбах Германии XVII—XIX вв. усталость и бессилие немецкого бюргерства. Ханжество, сентиментальность и раболепие немецких мещан были продуктом социально-экономического и политического развития Германии между 1648 и 1830 гг., но эти качества, в свою очередь, стали «одним из величайших препятствий для нового подъема»¹³.

¹¹ В связи с этим нельзя не отметить ошибочность недооценки роли географической среды в общественном развитии, которая довольно широко распространена в исторической литературе. В специальных исследованиях и учебниках изображение исторических процессов сплошь и рядом оторвано от характеристики природной среды, и влияние ее на общество подчас игнорируется. Проблема «общество и природа» (или «человек и природа»), разумеется, не сводится к влиянию природных условий на человека и общество: важнейшей стороной ее является воздействие человека на естественно-географическую среду, включающуюся в общественно-исторический процесс.

¹² См. А. Я. Гуревич. Некоторые аспекты изучения социальной истории. (Социально-историческая психология.) — «Вопросы истории», 1964, № 10.

¹³ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 39, стр. 175.

Нередко можно услышать предостережения против опасности преувеличить значение такого рода факторов в историческом процессе. Эти призывы заставляют предположить, что те, от кого они исходят, обладают точным знанием, какова именно роль каждого из факторов в истории. Поскольку же таким секретом никто заведомо не владеет, то эти предостережения могут приводить лишь к изображению сил, действующих в истории, по раз навсегда выработанной схеме. Разумеется, абсолютизация роли географической среды или народонаселения, психологии или внешних влияний недопустима (равно как и абсолютизация любых иных факторов, в том числе и значения эволюции производительных сил).

Конкретные исторические факторы не действуют изолированно и сами по себе никогда не определяют закономерности исторического развития. Однако исследователь всякий раз должен, по возможности, учитывать в полной мере все моменты, воздействующие на общественный процесс, не упрощая сложного характера его движущих сил¹⁴. Более того, вряд ли возможно априорно установить шкалу факторов, определить степень их существенности вне конкретного эмпирического анализа соотношения этих факторов в данный период, в данной стране. Помимо совершенно очевидной опасности априоризма, дело заключается также и в том, что многие из названных факторов исторического развития действуют не непрерывно: в одних условиях выдвигаются в качестве существенных одни моменты, в других условиях — иные, одни факторы могут подавлять другие, а их соотношение постоянно меняется. В этом немаловажное отличие конкретных исторических факторов от определяющего условия общественного процесса в целом — развития производительных сил.

Выше уже говорилось о конкретной закономерности истории как о «средней статистической», или «равнодействующей», всех сил, участвующих в историческом движении. Разумеется, эти понятия, позаимствованные из физико-математических наук, нельзя применять в истории в буквальном их смысле. Речь идет не о простом суммировании числовых величин или о построении векторов, как если бы дело касалось физических тел и сил. Это уподобление имело целью показать сложность содержания исторической закономерности, не представляющей собой однозначной детерминанты и не сводимой только к общему закону. Теперь попытаемся рассмотреть историческую «равнодействующую» несколько ближе. Мы обнаружим, что все факторы, воздействующие

¹⁴ Историк, конечно, никогда не располагает абсолютно всеми данными, которые позволили бы ему полностью учесть все эти моменты; речь идет, следовательно, о максимальном охвате его мыслью всего того, что можно почерпнуть из источников, о преодолении опасности упрощенчества.

на историческое движение, не только не равноценны, но и не лежат в «одной плоскости».

Одни из этих факторов действуют непрерывно, являясь как бы основой всего процесса; другие, как только что было замечено, действуют дискретно. К факторам первого рода относятся закономерности экономические, естественно-географические, демографические. Изменения, происходящие на этих уровнях исторической реальности, как правило, обнаруживаются постепенно, на протяжении более или менее значительных отрезков времени. Мы имеем в виду существенные процессы экономической жизни, связанные с развитием производительных сил, техники, большие хозяйственные циклы. Тем более это касается природных условий жизни общества, которые обычно остаются постоянными на протяжении целой эпохи. Сдвиги в размещении населения, в его численности, возрастном, профессиональном составе и т. д. также обычно не совершаются в течение кратких периодов. Еще более константны биологические параметры человека. Конечно, можно привести многочисленные примеры того, как в сфере экономики или народонаселения, в природных условиях происходят внезапные скачки, перерывы постепенности, резко изменяющие действие указанных факторов исторического развития: например, разрушение производительных сил, массовая смертность населения, стихийные бедствия широкого масштаба. Но все эти катаклизмы не представляют собой нормального действия указанных детерминант. Им присуща относительно большая длительность.

Собственно, главное заключается даже не в продолжительности хозяйственных или демографических циклов или периодов, а в том, что они имеют свое собственное время. Очевидно, историческое время, обычно воспринимаемое как непрерывный хронологический ряд, на самом деле должно быть рассматриваемо в виде многих рядов, в каждом из которых существует особая длительность, присущая только данному уровню развития. Иначе говоря, время экономического цикла или время демографического цикла это не то же самое, что длительность политического развития или период существования данной социальной системы. Поэтому при изучении развития экономики, социального строя, искусства или политической истории исследователь имеет дело с временными отрезками разной длительности, определяемыми им с помощью объективных критериев, в результате конкретного анализа имеющегося материала. Эти отрезки не совпадают не только по своей продолжительности, но и по моментам их начала или окончания¹⁵.

¹⁵ См., например, таблицы урожайности различных сельскохозяйственных культур в странах Европы с IX в. до начала XIX в. в кн.: B. H. Slicher van Bath. *Yield Ratios, 840—1820*. «A. A. Bijdragen». 10. Wageningen, 1963. Сменяющие друг друга фазы подъема и упадка сельско-

Таким образом, для каждой из детерминант исторического процесса приходится предположить особый ритм, свою специфическую длительность. При такого рода рассмотрении время предстанет перед нами не как внешняя по отношению к историческому процессу форма, безразличная к его содержанию, а как существенный момент самого этого развития. Нельзя ли говорить о неодинаковой наполненности разных отрезков исторического времени? Вспомним знаменитое определение революций как «локомотивов истории»: на протяжении сравнительно кратких отрезков времени происходят несравненно более существенные события, нежели в течение длительных периодов мирного развития. Собственно, историк и не может придерживаться представления об историческом времени как о «пустой длительности», как о равномерном хронологическом процессе, состоящем из равновеликих отрезков. Периоды разной наполненности неизбежно рассматриваются им с разной степенью внимания, не одинаково подробно. История Франции на протяжении первых 90 лет XVIII в. не изображается историками так же детально, как история ее за последние 11 лет этого столетия: Великая Французская революция имеет собственный ритм и особое течение времени.

Но здесь встают во весь рост проблемы смещения разных линий развития, происходящего на неодинаковых уровнях, с присущими каждому из них специфическими закономерностями и длительностями, со своим историческим ритмом. Большие трудности возникают при переходе с одного уровня на другой, из одной системы отсчета исторического времени в другую. В особенности большие сложности в этом отношении сопряжены с периодизацией исторического процесса, когда историки сталкиваются со всеми временными рядами сразу. В большой мере — это проблема соотношения принципов синхронии и диахронии. Развитие на каждом из уровней, в плане действия однородных детерминант, рассматривается историком в виде течения событий в одной «временной плоскости». Но вместе с тем при историческом синтезе диахронические ряды должны быть включены в синхронную картину, в общий поток исторического развития, в который они уже не обособлены, а взаимосвязаны.

хозяйственного производства хронологически и по своей длительности не соответствуют ритму развития феодального общества. О соотношении этапов аграрного развития и демографических сдвигов в Европе во второй половине средних веков и в новое время см. B. H. Slicher van Bath. *Les problèmes fondamentaux de la société pré-industrielle en Europe occidentale. Une orientation et un programme.* «A. A. Bijdragen». 12. Wageningen, 1965, p. 18—19, 35, 40. История движения цен во Франции на протяжении XVIII в. также обнаруживает свои собственные ритмы и цикличность (см. E.-C. Labrousse. *Esquisse du mouvement des prix et des revenus en France au XVIII^e siècle.* Paris, 1933).

Проблемы, связанные с изучением сущности, характера различных детерминант исторического процесса и их временных ритмов, представляют значительный теоретико-познавательный интерес и имеют большую важность для исторического исследования¹⁶. Мы считали необходимым их затронуть — в порядке самой общей и сугубо предварительной постановки — для того, чтобы показать сложность и многоплановость понятия конкретной исторической закономерности.

Итак, мы приходим к выводу, что несмотря на взаимосвязь понятий конкретной исторической закономерности и социологического закона, природа их различна. Общий закон выражает объективные связи общественно-экономического плана. Историческая закономерность, как мы видим, вырастает из взаимодействия многих закономерностей, управляющих различными системами: она складывается на основе действия не одних лишь социологических законов, но также и закономерностей чисто хозяйственных, демографических, закономерностей биологической и психической жизни человека, духовной жизни общества, законов природы, во взаимодействие с которой вступают люди. Только совокупность действия всех этих закономерностей (которые и сами по себе не изолированы одни от других) порождает историческое движение. Конкретная историческая закономерность есть результат пересечения, сочетания закономерностей разных систем. Это пересечение происходит на основе ведущей закономерности, каковой для общества неизбежно является социологический закон.

Таким образом, историческая закономерность по своему содержанию богаче социологического закона, ибо она создается под воздействием многих детерминант, переплетающихся между собой и вступающих в сложные взаимодействия. В этом отношении она богаче общего закона, отражая в себе многообразие и разноплано-

¹⁶ В качестве примера исторического явления, при объяснении которого возникают все перечисленные выше проблемы, можно назвать итальянское Возрождение. Экономическое развитие Италии, точнее, развитие отдельных ее областей, шедшее до крайности неравномерно и противоречиво; драматические политические судьбы страны, раздробленной на многие государства, лишенной возможности объединиться и подвергавшейся вновь и вновь нападениям извне; высокий подъем искусства и других отраслей культуры — все эти линии развития имеют собственные детерминанты и особую длительность. Ритмы изменений в экономической и политической сферах и в сфере духовной жизни Италии были глубоко различны. «Кривая» изменений в одном случае отражала частичный подъем и последующий всеобщий упадок (экономика), в другом случае — беспрецедентный прогресс (культура), в политической жизни сталкивались самые противоположные тенденции. Как совместить в одной синтетической картине все эти линии развития? Какова истинная связь между ними? Попытки целостного объяснения столь сложного и противоречивого исторического феномена наталкиваются на препятствия, которые пока не преодолены историческим исследованием и теоретической мыслью.

вость реального процесса истории. В то же время в конкретной исторической закономерности социологический закон не выступает в полном объеме, ибо историческая закономерность преходяща и действие ее ограничено во времени, тогда как социологический закон проявляется в целом лишь на протяжении больших периодов.

В исторической закономерности наблюдается повторяемость связей явлений общественного развития и в то же время индивидуальность, особенность конкретного выражения этих связей. Например, рассматривая крестьянские восстания, волна которых прокатилась по Европе начиная с XIV в., мы видим черты сходства и повторения (в условиях, породивших восстания, в их ходе, составе участников, причинах поражения), а также специфику, делавшую столь несхожими между собой восстание Дольчино, Жакерию, восстание Уота Тайлера, Гуситские войны, движение в Каталонии, Крестьянскую войну в Германии, восстание под предводительством Роберта Кета и другие. В чертах повторяемости нашли свое выражение общие закономерности движения европейского феодального общества в XIV—XVI вв., в различиях выявились разнотипность феодального развития и многообразие конкретных исторических судеб каждой из стран, в которых происходили народные выступления.

Историческая закономерность выражает собой детерминированность исторических явлений. Как уже говорилось, последняя не может быть вскрыта путем простого приложения содержания общесоциологического закона к эмпирическому материалу. Причинные связи и обусловленность конкретного исторического процесса наука обнаруживает посредством всестороннего и детального анализа всей совокупности явлений жизни общества во всех ее аспектах. Конкретная закономерность истории может быть вскрыта только в результате эмпирического исследования и обобщения его результатов. Не возникает ли, однако, при такого рода разграничении двух уровней теоретического анализа общественного развития разрыва между ними и противопоставления одного другому? Исследование под этим углом зрения различных направлений в историографии и философии истории обнаруживает две крайности.

Первая состоит в отрыве причинности от закона. Такова, собственно говоря, точка зрения большинства буржуазных историков и теоретиков исторической науки. Они признают в той или иной мере действие причинности в истории, но отказываются видеть в истории естественно-закономерный процесс прежде всего на том основании, что не находят в ней строго повторяющихся явлений. Эта позиция, связанная с отказом считать историю наукой, неоднократно подвергалась критике в нашей литературе.

Другая крайность сводится к попытке подменить конкретную закономерность общественного развития общим социологическим

законом и растворить в нем без остатка и причинность и иные формы взаимосвязи исторических явлений.

Кстати, нетрудно заметить, что крайности, как часто бывает, сходятся. В самом деле, историк, подменяющий действительное объяснение исторического процесса ссылкой на законы исторического материализма, по существу, отказывается от научного анализа причин описываемого им процесса и впадает в чистейший эмпиризм. Ныне мы все яснее понимаем жизненную необходимость поиска иных, более плодотворных форм сочетания исторической науки с социологией и философией.

Задача преодоления обеих тенденций, каждая из которых на свой лад ложна и бесплодна для развития науки, исключительно актуальна. Нам представляется, что именно в данной связи было бы весьма полезно уточнить место, которое занимает знание закономерностей разного рода в историческом исследовании¹⁷. Конкретная закономерность исторического процесса познается историком, неизбежно руководствующимся теми или иными общими теоретическими представлениями. Чтобы закономерная причинная взаимосвязь исторических явлений была правильно и глубоко понята и изучена, историк должен исходить в своей исследовательской работе из социологических законов, отнюдь не подгоняя под них конкретный материал. Эти законы служат методологической и теоретической основой исторического исследования. Кроме того, они необходимы ученому при изображении истории в целом или обширных ее периодов при периодизации исторического процесса.

В исследовательской работе историка изученная им закономерность как бы накладывается на общесоциологический закон или, вернее, вбирает в себя это понятие, обогащается его содержанием. При этом историк не «наряжает», конечно, «макрозакон» по «моде» изучаемой эпохи и страны. Знание общесоциологических законов, открытых марксизмом, составляет мировоззрение историка-марксиста, конкретные исторические закономерности — результат исследования, которое он проводит, опираясь на это научное мировоззрение.

Если принять предложенное выше разграничение между исторической закономерностью и социологическим законом, то следует рассмотреть некоторые вопросы, вытекающие из понятия конкретной закономерности. Прежде всего, это вопрос о природе исторического детерминизма. Известно, что исторический материализм рассматривает формулируемые им законы общественного развития как законы-тенденции, пробивающие себе дорогу среди многообразия реального исторического процесса, и, по существу своему,

¹⁷ О необходимости исследования специфических исторических закономерностей см. П. Н. Федосеев и Ю. П. Францев. О разработке методологических вопросов истории. — «Вопросы истории», 1964, № 3.

несовместим как со схематизацией этого процесса, так и с утверждением тождества между историческими законами и законами природы. Нам представляется, что для более правильного и плодотворного в научном отношении понимания исторического детерминизма нужно решительно отказаться от предположения о его «линейности», непрерывности и качественной однородности действия на протяжении всей истории.

Для современного этапа развития науки характерен структурный подход к изучаемым ею объектам. Структура мыслится как единство, элементы которого находятся во взаимосвязи и взаимодействии, причем структурное целое не есть сумма составляющих его частей-элементов, но нечто отличное от них, обладающее относительной самостоятельностью по отношению к ним. Структура как функциональное единство совокупности элементов управляется своими, только ей присущими, имманентными законами, следовательно, обладает собственной каузальностью. Вследствие этого существование, функционирование и изменение структуры определяется не законом, стоящим как бы «вне нее», а носит характер саморегулировки, поддерживающей — в определенных условиях — равновесие элементов внутри структуры, восстанавливающей его при известных нарушениях и направляющей изменение этих элементов и самой структуры.

Весьма распространено мнение, что структурность (системность) является всеобщей чертой действительности. Во всяком случае, это утверждение можно было бы принять в качестве гипотезы¹⁸. Структурный метод исследования, широко применяемый в естествознании и в философии естествознания, пробивает себе дорогу и в других науках, в частности в лингвистике (структурная лингвистика), в социологии, политической экономии, в социал-антропологии. Нельзя априорно исключить возможность того, что он мог бы найти свое применение и в историческом познании, и то, что такого метода исторического исследования (наряду с другими) пока не существует. Это объясняется скорее исключительными трудностями, с которыми здесь сталкивается ученый при попытке соответствующим образом организовать крайне разнородный материал, нежели принципиальной неприменимостью подобного подхода к явлениям истории. Споры в среде антропологов о соотношении функционально-структурного и исторического аспектов в изучении «примитивных обществ» — свидетельство этих трудностей.

Учение об общественно-экономических формациях, о базисе и надстройке открывает, на наш взгляд, перспективы применения

¹⁸ Однако существует и иная точка зрения, согласно которой понятие структуры не имеет общего с эмпирической реальностью: оно есть средство моделирования данных опыта. См., например, C. Lévi-Strauss. *Anthropologie structurale*. Paris, 1958.

к обществу структурного подхода. Но понятие социальной структуры остается неразработанным. В нашей литературе преобладает мнение, что структурными чертами характеризуется экономика; мы охотно говорим о классовой структуре, о структуре капитала, землевладения. Признавая первостепенную важность этих понятий, нужно вместе с тем подчеркнуть, что содержание понятия структуры, выработанного современной наукой, как функционального единства элементов, шире, объемнее соответствующего понятия, применяемого обычно в социально-экономической литературе¹⁹. Такое, более широкое понимание структуры приводит к предположению о структурной природе также и духовной жизни общества, политической и других надстроек. Структурный подход к социальной действительности требует установления функциональных отношений между структурами, являющимися компонентами данной общественной системы, и изучения ее как целостности, что ни в коей мере не исключает осознания противоречий, в которых она движется.

Нами проблема структуры затронута лишь постольку, поскольку с ней связана проблема исторического детерминизма. Если мы примем гипотезу о структурности общественно-исторической действительности, то следовало бы говорить не о детерминизме вообще, а о конкретных закономерностях каждой данной социальной системы или структуры²⁰. Очевидно, закономерности движения социальной системы, как и любой другой системы, имманентно ей присущи и складываются в ее недрах, вместе с нею; их нельзя представлять себе как силы, воздействующие на нее извне. Конкретная историческая закономерность — это закономерность данной социальной системы или структуры. Смена систем есть вместе с тем и смена типов детерминизма, действие которых начинается вместе с возникновением порождающей их системы и прекращается с ее распадом или трансформацией. Скажем, закон товарного производства не существует сам по себе, но присущ лишь общественным системам определенного типа, а в каждой из них действует специфично, в зависимости от характера *данной* системы. Выше уже отмечалось, что роль природ-

¹⁹ Общество представляет собой сложную систему, состоящую из социальных структур разных уровней и объемов; в этом смысле оно есть суперструктура, а образующие ее структуры являются по отношению к ней ее элементами. Для расчленения разных типов социальных структур в социологии употребляются понятия макро- и микроструктур. Возникает предположение о существовании сложной иерархии социальных структур, качественно различающихся между собой.

²⁰ Иное дело, что закономерности функционирования и развития одной системы могут оказаться аналогичными закономерностям другой системы; такое утверждение вполне правомерно. Но прежде чем говорить о возможности сопоставления разных систем и структур, необходимо изучение каждой из них в отдельности.

ной среды (географический детерминизм) неодинакова в различных системах.

Но если согласиться с предположением о том, что детерминанты той или иной социальной системы могут пониматься лишь как внутренне ей присущие моменты, то допустима и следующая гипотеза. При переходе от одной социальной системы к другой не только меняется тип закономерности, но может наступить и перерыв в ее действии. В самом деле, кризис общественной системы, ее упадок и разложение характеризуются тем, что присущие ей внутренние закономерности перестают эффективно действовать, теряют способность саморегулировки и поддержания равновесия составляющих ее структур; «механизм» системы отказывается, разлагается. Между тем, новая социальная система, элементы которой зреют в недрах старой, еще не сложилась, закономерности ее жизнедеятельности выявятся лишь тогда, когда определятся важнейшие структурные черты этой новой системы.

Таким образом, наступает момент, когда прежний, традиционный детерминизм уже не «срабатывает», не определяет движения системы, а новый детерминизм, призванный регулировать новую систему, еще не выработан. Прерывность, дискретность действия закономерностей систем оставляет своего рода «зазор», социологический «вакуум», заполняемый свободной человеческой активностью. Разумеется, эта свободная активность участников исторического движения детерминирована и в переходные периоды, но связанность ее закономерностями уходящей системы резко ослабляется, и для «игры» различных сил и тенденций открываются гораздо более широкие возможности.

Именно в подобные переходные периоды исторического развития роль человеческой деятельности (как масс, так и отдельных личностей) оказывается наибольшей. Здесь в максимальной степени возможно социальное экспериментирование. Выступления классов, политических партий, политика групп, лидеров налагают сильнейший отпечаток на будущее развитие. Люди участвуют в формировании новой системы и оказывают влияние на выработку присущих ей закономерностей, тогда как в уже сложившейся системе они в меньшей мере способны ее изменять, им приходится подчиняться сложившемуся «механизму» законов этой системы. Такими переходными периодами являются прежде всего революции.

Переходным периодом от одной системы к другой был и Ренессанс. Люди, освобождавшиеся от многих — и внутренних и внешних — ограничений средневековой феодальной действительности, еще не попали в рамки жесткой новой социальной системы буржуазного общества. Отсюда — цельность натуры, чувство полноты жизни, присущие многим людям эпохи Возрождения, раскрепощение личности, уже свободной от конформизма старого типа и еще не подчиненной конформизму грядущего, широкое

развитие духовных возможностей человека, отсутствие сознания трагической противоположности индивида и общества.

Следовательно, проблема *свободы* человеческой активности переплетается с проблемой социального детерминизма. Нет необходимости «вообще», как нет и свободы «вообще»: это не абстрактные и всегда равные себе категории. Универсальное решение вопроса о соотношении свободы и необходимости беспредметно для историков. И детерминизм, и свобода человеческой деятельности — конкретные явления, действительное содержание которых исторически изменчиво. Степень возможного осуществления человеческой свободы может быть определена лишь в условиях данной социальной системы и структуры, но не как вечная абстрактная категория. Тезис «свобода есть осознанная необходимость» в марксистском понимании не может толковаться фаталистически, вульгарно, в смысле умаления роли человеческой свободы, отношения к ней как к простому выполнению понятого приказа, не подлежащего обсуждению, пересмотру или отмене, ибо подобное понимание означало бы оправдание безответственности. Все исторические ситуации, непрерывно возникающие и требующие от индивидов и групп определенных решений, осуществляются при посредстве человеческой свободы и только в ней реализуются. Люди, понявшие исторический закон или закон природы, сознательно используют его; способствуя осуществлению этого закона, они преследуют свои цели и тем самым не только служат закону, но и заставляют его служить себе.

Специфическая природа общественной закономерности связана с особенностью положения человека в социальной системе. В этом положении приходится принимать во внимание два аспекта. С одной стороны, индивид не может не подчиняться законам той системы, в которую он включен, — он принимает правила и нормы общественного поведения, его личность социализуется, институционализируется. Человек и его поведение социально детерминированы. Но, с другой стороны, в обществе существуют одновременно различные формы поведения, и между ними возможен выбор. Этот выбор не вполне свободен. Скажем, в классовом обществе человек не волен выбирать свою принадлежность к определенному классу, а следовательно, и поведение, соответствующее классовой принадлежности. Однако этим не исключается еще целый спектр возможностей иного плана. Представитель угнетенного класса, например, может стать революционером, но может и пойти в жандармы.

Кроме того, жизнь постоянно ставит человека перед альтернативами поведения. На разных стадиях истории диапазон выбора различен. «Стадность» общественной жизни первобытного общества и индивидуализм буржуазного общества — два полюса. Детерминированность общественного поведения человека исторически изменчива. Но она никогда не всеобъемлюща. Всегда суще-

ствует некоторая возможность нестандартного, новаторского поведения. Если бы ее не было, не было бы никакого общественного развития, человеческое творчество было бы исключено. Этим общество людей в корне отличается от обществ муравьев, пчел и бобров.

Невозможна такая историческая ситуация, которая оставляла бы открытым только одно-единственное решение. На самом деле ситуации различаются множественностью решений, которые они предлагают. Но эти решения не эквивалентны, не равноценны. Свобода выбора между ними не имеет ничего общего с безответственностью. Как раз в этой свободе и проявляется ответственность человека перед собой, перед обществом.

Вместе с тем и свободный выбор в той или иной мере всегда детерминирован. Кучка греков в Фермопилах осознала необходимость остаться в ущелье и погибнуть, задержав армию персов. Это была этическая необходимость, хотя и существовала альтернативная возможность — бежать, ибо победа огромной армии Ксеркса над небольшим отрядом Леонида была неизбежна. Ситуация открывала по крайней мере две возможности, равно — но по-разному — детерминированных, и греки, несомненно, осознавали обе, но выбрали ту, которая отвечала их представлениям о долге, их моральным убеждениям, их пониманию человеческого достоинства. Таким образом, само свободное поведение человека может осознаваться им как выполнение строгой необходимости: греки сделали выбор, совершили акт свободной воли, но этот выбор им представлялся как необходимый, как единственный и неизбежный.

Именно потому, что реально всегда существует не одна необходимость, не единый всеобъемлющий исторический закон, тотально обуславливающий все ситуации, а целый пучок конкретных детерминант, либо вообще неограниченное, необозримо большое количество возможных решений, человек не только может, но и должен произвести выбор. Чем сознательнее он его принимает, тем более он свободен.

Этот ход мыслей приводит нас к категории исторической возможности. В самом деле, представляет ли собой историческая закономерность однозначную необходимость такого рода, которая заранее исключает какие бы то ни было иные возможности развития, кроме совершившейся? Иначе говоря, существует ли в истории и, соответственно, применима ли в исторической науке категория вероятности, возможности? Или же правильнее считать, что все происшедшее имело характер неотвратимости и никакими другими путями история идти не могла? Вероятно, кое-кому такой вопрос покажется праздным: то, что было, — было; чего не было, — того не было, все остальное — из области гадания на кофейной гуще. Однако это не так-то просто.

Вопрос об альтернативных вариантах исторического развития, не осуществившихся в действительности, но возможных в определенных реальных условиях, важен для уяснения характера исторических закономерностей. В этом смысле постановка вопроса о принципиальной осуществимости в ходе исторического процесса иных вариантов, не тех, которые имели место, представляется правомерной. Разумеется, необходимо уточнить, что имеется в виду под альтернативой реализовавшейся возможности. Если мы исходим из положения, что конкретная историческая закономерность выступает как «равнодействующая» участвующих в движении социальных сил, как своего рода «средняя статистическая» всех действующих в данный момент одинаково и разнонаправленных волей (в свою очередь детерминированных всею совокупностью реальных общественных отношений), то не следует ли предположить, что в каждый такой момент возможны различные варианты исторического развития? Те или иные компоненты, взаимодействие которых порождает историческое движение, могут иметь различную силу и направленность, и от изменения этих факторов зависит изменение результирующей «равнодействующей».

Активность и энергия классов, партий, общественных деятелей приводят к победе и осуществлению одних имеющихся тенденций и подавлению других. Но активность и эффективность действий масс, групп и индивидов определяются бесчисленными и практически подчас непредвиденными обстоятельствами. В плане общего исторического процесса эти обстоятельства и порождаемые ими результаты могут представляться случайными. Тем не менее они накладывают отпечаток на процесс, отклоняя его «вектор», ускоряя либо замедляя ход, а нередко и существенно меняя характер его. Спрашивается: достаточно ли указания на кризис феодального строя и созревающие в его недрах капиталистические отношения для того, чтобы обосновать неизбежность буржуазной революции? Известно, что при наличии этих основных условий революции может не произойти; во-первых, для нее нужна еще и революционная ситуация, а во-вторых, даже в условиях последней возможны разные исходы: в одних случаях — революционный взрыв, в других — «рассасывание», изживание революционного накала вследствие тех или иных «привходящих обстоятельств» (реформы 60-х годов XIX в. в России, начало первой мировой войны и т. д.). В этих случаях реальная возможность революции (в смысле наличия объективных условий) не осуществляется, развитие событий принимает иной характер.

Каков же диапазон подобных «колебаний вектора»? Обычный ответ гласит: исторический закон пробивает, прокладывает себе дорогу через хаос случайностей. На наш взгляд, такой ответ может считаться удовлетворительным в социологии, но недостаточен в исторической науке. Действительно, общие законы историче-

ского развития, подобные закону смены социально-экономических формаций, мало подвержены воздействию всякого рода привходящих обстоятельств, и последние подчас могут не быть приняты во внимание, — но лишь на уровне социологии! ²¹ Однако историческая наука изучает конкретные закономерности, а не «макрозаконы». От историков требуется анализ всех имевших место конкретных явлений и даже возможных альтернатив и детальное их объяснение. При подобном подходе следует признать, что возможные варианты исторического процесса весьма многообразны и, главное, чрезвычайно существенны для выводов ученого об уроках истории, для выводов, которые вытекают из его исследования исторических событий. Иначе говоря, категория исторической возможности особенно важна в том пункте исторического исследования, где история от изучения прошлого переходит к выводам на будущее.

Например, приход к власти разбойничьей национал-социалистской партии был подготовлен предшествовавшим развитием Германии, где фашизм нашел социальную базу. Но была ли победа гитлеровцев над демократическими силами неизбежна и неотвратима? — Нет. Однако она оказалась возможной, и возможность эта осуществилась. Были и иные возможные пути политического развития Германии: при большей сплоченности рабочего класса и его политической активности и при ряде других конкретных условий (в частности, международных) гитлеровский переворот мог бы быть сорван. Но этого не произошло, и, в свою очередь, победа наиболее агрессивных сил империалистической реакции в Германии привела к неисчислимым бедствиям внутри страны, в Европе и во всем мире. Развязывание гитлеровской кликой второй мировой войны, а равно и временные успехи германского милитаризма также не были неизбежны. Но они оказались возможны в силу целого ряда причин. Таким образом, возможность обуздания гитлеризма не была использована, и за это человечество расплатилось десятками миллионов убитых, замученных, искалеченных, колоссальным разрушением материальных и культурных ценностей.

Абсолютной неизбежности именно данного хода событий, исключаящей какие бы то ни было иные возможности развития, не существует: всегда имеется множество тенденций, представляющих собой не только разные варианты одного и того же порядка (различные пути в одном и том же направлении), но подчас и противоречащие друг другу, диаметрально противоположные. Все они возможны, т. е. могут осуществиться при наличии

²¹ Однако и здесь необходимо внести ясность. Например, проблема смены общественно-экономических формаций требует сугубо конкретно-исторического решения. Общая схема, как известно, не может быть механически прилагается к реальному, конкретному историческому процессу.

определенных условий, хотя, надо оговориться, вероятность осуществления каждого из вариантов неодинакова. Практическая деятельность, активность людей, политика государств, классов, партий приводят к победе одной из возможных тенденций, и то, какая из них победит в данный момент, зависит от многих и многих причин, а отнюдь не только от действия общих законов истории. Среди этих причин мы можем встретить и такие, которые не обусловлены предшествующим развитием и представляют собой с точки зрения этого развития как бы внешние, привходящие обстоятельства.

Применимость категории вероятности к изучению общественных явлений связана с указанной выше их многозначностью. В формировании факта истории принимают участие многие тенденции, и он рождается лишь из их столкновения и взаимодействия. Поэтому в зависимости от конкретных условий может победить та или иная тенденция, которая и определяет данный факт.

Если же считать историческую необходимость инвариантной или допускающей лишь несущественные или случайные «отклонения от нормы» (типа небольшой отсрочки или ускорения того или иного события, выполнения поставленной историей задачи другим героем вместо действительно фигурировавшего в ней исторического персонажа и т. п.), то в этом случае следовало бы доказать, что исторические случайности на самом деле взаимно уравниваются, вследствие чего и не могут иметь существенных последствий. Но как это можно доказать? Где доказательства, например, того, что если бы во главе Франции после революции оказался не Наполеон, а другой генерал (сама по себе историческая неизбежность «шпаги» у власти в послереволюционной Франции не оспаривается), то и он совершил бы с необходимостью русский поход? Последствия этой войны были колоссальны и для Франции, и для России, и для всей Европы, — но какова была мера неизбежности этой войны?

Вместе с тем, что мешает предположить обратное, а именно — суммирование случайностей одного рода, приводящее к существенному «отклонению вектора»? Всякое историческое событие — результат стечения многих способствовавших ему обстоятельств. При другом их стечении могло бы совершиться иное событие, влекущее за собой (при воздействии всех остальных факторов) опять-таки иные последствия, нежели те, какие имели место в действительности, и так была бы порождена целая цепь событий и явлений — иной вариант развития. Эти варианты могут показаться несущественно различающимися между собой тому, кто регистрирует смену формаций (каково бы ни было имя «мирового духа на коне» — Наполеон или иное, — феодализм во Франции все равно сменился бы капитализмом), но для людей, испытывавших на себе тот, а не иной вариант развития и участвовав-

ших в выработке его, было далеко не безразлично, погибали они или выживали, были счастливы и свободны либо страдали и были порабощены. Не безразличны эти варианты и для историка, ибо он не может видеть в событиях лишь поверхностную «пену» или «зыбь», под которой скрываются глубокие и мощные течения — движение макрозаконов. Пренебрегая неповторимым в истории, а следовательно и событийным, историк неизбежно утратил бы смысл своих занятий.

При обсуждении вопроса о роли случайности в истории необходимо разграничивать разные формы случайностей, уровни, на которых они происходят, ибо под это понятие нередко подводится все, от «носа Клеопатры» до катастрофы, погубившей какую-нибудь древнюю цивилизацию. Нам кажется, что наиболее важный вопрос в данной связи — это вопрос о таких случайностях, которые оказывают существенное влияние на последующие события общественного плана.

Примером такого «вторжения случайности», не обусловленного внутренними закономерностями, но заметно изменившего ход исторического развития, могут, на наш взгляд, служить колониальные захваты XVI—XIX вв. Они представляют собой закономерный результат предшествовавшего развития Западной Европы по пути капитализма, требовавшего новых рынков, богатств, оперативного простора. Но для истории народов Америки, Азии, Африки, Австралии, Океании эти захваты ни в коей мере не вытекали закономерно из их внутреннего развития в предшествовавшую эпоху. Экспансия европейцев насильственно нарушила ход истории этих народов, прервала их нормальную эволюцию. Не будь завоеваний и колонизации, история этих народов сложилась бы иначе. Проявление существенных закономерностей капиталистического способа производства, колониальные захваты были случайностью в плане внутреннего развития неевропейских народов. Случайность на одном уровне и в одной системе развития в то же время есть закономерность на другом уровне исторического процесса, в другой системе отношений. Нужен ли более убедительный пример такого вторжения случайности в «нормальный ход» истории, которое привело к глубочайшим изменениям, коренным образом определившим дальнейшие судьбы большинства народов мира?!

Путь истории — это не заранее и раз навсегда проложенная трасса или колея. История никем не запрограммирована и не предопределена. Историческое развитие — открытая система с широчайшими возможностями, с неограниченным «набором» вероятностей и вариантов. Общая тенденция развития, опирающаяся на прогресс производительных сил и некоторые другие материальные факторы, выявляется лишь при рассмотрении больших периодов, законченных исторических эпох. При рассмотрении же более узких отрезков истории мы видим, что развитие совер-

щается не по некоему предустановленному пути, а скорее методом «проб и ошибок».

Свершившееся представляется нам неизбежным, но лишь постольку, поскольку иные возможности не реализовались. Естественно, что историк ищет обоснования для происшедших событий и предлагает их объяснение, ибо ничто в истории не совершается без причины. Когда определенные потенциальные возможности осуществились, а все другие были тем самым исключены, возникает представление, что тот путь, по которому пошло развитие, был единственно возможным, и эта мысль перерастает в твердое убеждение, по мере того как мы обнаруживаем внутреннюю логику в сцеплении происшедших событий. Реализованный вариант исторического процесса получает свое объяснение и провозглашается закономерным. Но соотношение категорий закономерности и возможности, необходимости и случайности должно быть глубоко изучено в каждом отдельном случае. Между тем ни философы, ни историки пока не дали пригодного для конкретно-исторического исследования решения этих важных вопросов. Поскольку теоретическое содержание названных категорий остается нераскрытым, то и в специальных работах эти проблемы не могут получить полного звучания. Нередко же они вообще не возникают.

Историк, который представляет исторический процесс как нечто неотвратимое и исходит из убеждения, что совершившееся было единственно возможным результатом всего предшествующего, неправомерно исключает иные, нереализованные возможности, не изучает различных и, может быть, даже взаимно противоположных тенденций развития, всегда имеющих в обществе. Причина игнорирования исторических возможностей заключается в том, что для истории существует лишь одно направление течения времени, это процесс необратимый. Поскольку «переиграть» историю невозможно, нельзя и проверить иные варианты, если они и намечались в прошлом. Мы неизбежно рассматриваем историю ретроспективно и судим о причинах по их результатам. Но такая точка зрения благоприятствует возникновению чувства уверенности в том, что действительно происшедшее в истории и было единственно возможным и неотвратимым, что никакой альтернативы не существовало и существовать не могло.

Утвердившееся в науке в XIX в. убеждение в закономерности прогресса общества с самого начала несло на себе сильный отпечаток влияния гегелевских идей. «Все действительное разумно, все разумное действительно»: совершившееся и совершающееся закономерно обусловлено, и, с другой стороны, все закономерное неизбежно осуществится, закон обязательно и неотвратимо проявит себя. Неоспоримо, что все совершившееся может быть рационально объяснено, показано в причинной, закономерной связи. Нет недетерминированных исторических явлений. Но уже в пер-

Вой части формулы Гегеля бесспорна апологетика современной ему действительности. Еще с большей силою эта апологетика называется во второй части формулы: «все разумное действительно». Не предполагает ли она, что всегда есть лишь одна возможность, которая неизбежно осуществляется? Такое следствие вытекает, видимо, из гегелевской абсолютной системы, но с точки зрения исторического материализма такой вывод неприемлем и недоказуем²². Это гегелевское положение исходит из идеалистического представления о законе истории, стоящем над людьми, тогда как на самом деле закономерности истории суть не что иное, как результат каждый раз конкретно складывающихся обстоятельств, обусловленных объективным положением производства и общества, но в колоссальной мере зависящих от воли и действий составляющих общество классов, групп, индивидов.

Итак, вполне возможно представить себе, что накопление иных случайностей в истории привело бы к существенно иному результату. И эта мысль отнюдь не кажется нам праздной. Она важна для уяснения логической природы категории случайности. Не называем ли мы подчас случайностью тот факт исторического развития, который историки не смогли включить в систему закономерных связей? Но подчас то, что прежде относили к разряду случайностей, теперь можно понять рационально, и ныне считаемое за случайное, возможно, в будущем окажется вполне объяснимым и включенным в причинную связь.

Поскольку объяснение исторических явлений связано с отношением их к системе оценок, которой обладает историк, постольку возникает предположение: не состоит ли различие между тем, что историк считает закономерной причиной, и тем, что он относит к случайности, в различии между тем, что может быть подвергнуто такому соотносению, и тем, что не имеет к нему отношения? Иначе говоря: объяснение, подводимое логикой историка под обобщение, есть причинное объяснение; не поддающееся обобщению, считаемое историком «нетипичным», «уникальным», объявляется случайностью. Но если в приведенном рассуждении о случайности есть резон, то историку следовало бы отдавать себе отчет в том, что даваемое им объяснение всегда есть логическая конструкция, а не простое непосредственное отражение действительных связей истории. История как изображение процесса и история как объективный процесс (в своих причинных связях и обусловленности) никогда полностью не совпадают. Эту тривиальную истину, имеющую силу по отношению к любому познанию, должен помнить историк хотя бы для того, чтобы не сбрасывать со счетов то, что ему непонятно.

Случайностью называют индивидуальные, уникальные причины события, в отличие от «рациональных» его причин, много-

²² См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 21, стр. 274—277.

кратно встречающихся в истории и поэтому подводимых под понятие исторического закона²³. С точки зрения историка, случайностью является то, что нарушает «нормальный ход истории». Поэтому без категории случайного историк не может обойтись так же, как он не может «избавиться» от философского анализа истории.

Однако не следует забывать о действительном значении понятия случайности в процессе исторического познания и принимать средство познания за историческую реальность. Историки и философы оказываются неспособными осмыслить это понятие, если они придерживаются одного из следующих двух допущений. Первое допущение: если отрицается всякая закономерность; в таком случае все не детерминировано и, следовательно, случай правит миром, а история сводится к нагнетанию случайностей. Историк при этом может, конечно, придавать смысл истории предлагаемым им объяснением, но сама по себе история (как бывшее в прошлом) этого смысла и законосообразности начисто лишена и представляет собой бесконечную игру случайностей²⁴. Второе допущение: при признании единого, всеобщего «макрозакона», под который якобы должны быть подведены все явления и посредством которого они будто бы могут быть объяснены; остающееся не объясненным на основе этого закона считается случайностью. Но если видеть в истории результат постоянного действия и взаимодействия многих закономерностей разных планов и уровней: социально-экономических, естественно-географических, биологических, психологических и других, при признании, подчеркнем еще раз, общественных законов за основополагающие и профилирующие, — то при таком рассмотрении случайность, по-видимому, оказывается необходимым продуктом «пересечения» этих закономерностей. Не вернее ли было бы сказать так: собственно из того, что мы именуем случайностями, и складывается конкретная закономерность, вытекающая из всей суммы тенденций развития, бесчисленных, а потому никогда не устанавливаемых наукой полнотой «случайных» волей, поступков, событий, действий?

Мы видели, что проблема случайности и закономерности в истории теснейшим образом связана с проблемой возможности и необходимости. Следует подчеркнуть, что на нынешнем этапе развития исторических знаний и разработки философских проблем исторической науки мысль об инвариантности исторического процесса глубоко неверна и бесплодна для науки. Если понимать закономерность исторического процесса как неотвратимость и од-

²³ Исторические случайности — это вещи и события, «внутренняя связь которых настолько отдалена или настолько трудно доказуема, что мы можем пренебречь ею, считать, что ее не существует» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 37, стр. 395).

²⁴ См. Th. Lessing. *Geschichte als Sinngebung des Sinnlosen*. München, 1921.

нозначность и считать, что история может принимать лишь одну форму, в которой она и совершается, не оставляя никаких иных возможностей и вариантов, то конкретное объяснение ее сделалось бы, по существу, излишним: достаточно было бы постулировать общие законы истории и в каждом данном событии находить их проявление²⁵.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что ссылка на одни лишь общие законы социального развития не только бесплодна в теоретическом отношении — она в высшей степени вредна и этически. Ясно, что создавать или отменять объективные законы общественной жизни люди не в состоянии. Но то, какая из реальных возможностей исторического развития победит в данный момент, в какой именно форме она осуществится, насколько полно выявится эта тенденция процесса, зависит от соотношения социальных сил, от степени их активности, сознательности, в конечном счете — от энергии людей, составляющих группы, классы, партии. В понимании исторической закономерности как результативной всех участвующих в движении элементов существенно подчеркнуть именно фактор человеческой активности и возможность — более того, необходимость — влияния ее на ход и исход всего движения.

Наука истории принадлежит к тем отраслям человеческого знания, которые имеют прямое отношение к нравственности. Общественное значение истории невозможно правильно оценить, если не принимать во внимание ее этическую функцию. История воспитывает. Только знание истории может дать обществу и человеку должную глубокую перспективу, установить связь настоящего с прошлым и тем самым включить конечное, жизнь каждого человека и поколения, — в бесконечное, в жизнь рода человеческого. Часто говорят, что история — память человечества, или общественная память человека. Правильнее было бы сказать, что история есть самосознание общества и человечества. Без чувства историзма распадается связь времен. Чтобы быть «учителем жизни», историческая наука должна вселить в человека чувство

²⁵ При обсуждении доклада П. Н. Федосеева и Ю. П. Францева о методологических вопросах исторической науки высказывалась мысль, что специфические закономерности истории качественно отличаются от общесоциологических законов (см., например, «Вопросы истории», 1964, № 3, стр. 46). Хотелось бы отметить, что, сводя специфические закономерности общественного развития к одному лишь проявлению общих законов его или, во всяком случае, не вскрывая иных их оснований (см. «Философская энциклопедия», т. 2, стр. 149; Советская историческая энциклопедия, т. 5, стр. 603), мы рискуем потерять представление об особом качестве этих закономерностей и рассматривать их как простую иллюстрацию к действию общих «макрозаконов» (см. об этом: Г. Глезерман. О законах общественного развития. М., 1960, стр. 139—142; А. И. Вербин, П. М. Егидес. Исторический материализм — методологическая основа исторической науки. — Труды Моск. гос. историко-архивного ин-та, т. 25. М., 1967, стр. 5 и след.).

уверенности в своих силах, знание того, что он не игрушка в руках судьбы, не песчинка, носимая ветром, и не покорный исполнитель предначертанного свыше закона, а творец собственной жизни и истории.

* * *

Решение в положительном смысле вопроса о существовании специфических исторических закономерностей, которые не могут быть подменены социологическими законами или сведены к ним, важно как в теоретико-познавательном отношении, так и для конкретной исследовательской работы историков. Обоснование и осмысление разграничения между общими законами и конкретными закономерностями истории могли бы способствовать освобождению исторической науки от чуждающей обобщений фактографии и вместе с тем от неправомочного оперирования абстрактными схемами, употребляемыми в качестве универсальных отмычек, при помощи которых мистифицируется ход истории. Необходимо помнить, что признание основных законов истории, рассматриваемой в целом или на протяжении больших отрезков времени, не должно заслонять от нас важности изучения неисчерпаемого многообразия исторического процесса, неповторимых конкретных ситуаций, которые непрерывно возникают в ходе его, досконального и всестороннего исследования исторических фактов²⁶. Объяснение фактов и явлений прошлого, основывающееся на понимании взаимозависимости и взаимодействия многообразных сторон действительности, требует установления связи причинности с исторической закономерностью; но всегда конкретная причинность связана с не менее конкретной специфической закономерностью и лишь через нее, сложно опосредствованно, — со всеобщими социологическими законами.

²⁶ Анализ методологии исследовательской практики историков-марксистов, несомненно, обнаружил бы, что во многих трудах фактически применяется понятие специфической исторической закономерности, несводимой к общесоциологическим законам. Но мы столкнулись бы и с отражением в иных работах конфликта между абстрактной схемой и подгоняемым к ней фактическим материалом (наподобие приведенного выше примера — о переходе от античности к средневековью). Тем важнее теоретическое осмысление проблемы соотношения общего закона и конкретной закономерности истории.

О НАЧАЛЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ИСТОРИИ

Б. Ф. Поршнев

1. ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС КАК ЦЕЛОЕ

Понятие начала человеческой истории имеет теоретическую важность не только для тех дисциплин, которые прямо изучают древнейшее прошлое человечества, — для палеоантропологии, палеоархеологии, палеопсихологии, палеолингвистики. Влияние этого понятия сказывается на всем нашем мышлении об истории. Подчас мы сами не сознаем этого, но то или иное привычное мнение о «начале», пусть никогда строго нами не продумывавшееся, служит одной из посылок общего представления об историческом процессе. Более того, вся совокупность гуманитарных наук имплицитно несет в себе некое понятие начала человеческой истории.

Проблема начала человеческой истории нужна для разработки двух методологических проблем, касающихся истории вообще: во-первых, проблемы единства, или цельности, всего исторического процесса, во-вторых, проблемы историзма как качественного преобразования всего в человеке и обществе в ходе развития.

Начнем с проблемы единства, или цельности, истории. О мировой истории как, в известном смысле, цельном акте свидетельствует возможность представить нарастание темпа исторического развития в виде кривой. Замечено, что, по каким бы критериям ни производить периодизацию — всей ли мировой истории человечества или ее отдельных этапов, — если принцип периодизации мало-мальски объективен, хронологические отрезки оказываются все более короткими. Читатель сам легко подберет примеры из предлагавшихся когда-либо периодизаций. Движение истории ускоряется в прогрессии, напоминающей геометрическую.

В этой связи следует напомнить, что и марксистско-ленинская теория общественных формаций является прежде всего законом динамики, законом прогресса, а не вневременной типологией. Маркс в предисловии к «К критике политической экономии» назвал их «прогрессивными эпохами экономической общественной формации»¹. Вдумчивый исследователь внутренней логики развития формаций, несомненно, открыл бы в последовательности формаций немало диалектических скреп, свидетельствующих о том, что это не набор или перечень, а структура, т. е. некое целое. К примеру, при взгляде на смену формаций как на две вписанные одна в другую триады становится неизмеримо понятнее взаимное отношение последней стадии рабовладельческой цивилизации и первой стадии цивилизации капиталистической: почему капитализм осознает свое рождение как «Возрождение». Каждая формация в свою очередь представляет собой систему необходимых ступеней, где начало и конец в громадной степени противоположны друг другу. Так, феодализм во Франкском королевстве образует контраст феодализму в феодальных монархиях XVII в. А то общее, что все же объединяет эти полярные точки, в свою очередь может быть показано как следствие «отрицания отрицания» в ходе развития данной формации, где, следовательно, среднее звено неминуемо выльется, на взгляд эмпирика, не отвечающим общему ее определению: период роста городов и «коммунальных революций» в средние века кажется полным отрицанием феодализма, который затем как-то как будто бы снова воцаряется на исторической сцене.

Все это отнюдь не означает упрощения наличной конкретности и дискретности истории. Мы хотим лишь со всей силой подчеркнуть, что при всем том она есть целое. Целостность тем труднее уловима, что история существует лишь как ткань множества параллельных и пересекающихся, обособленных и сплетенных нитей — как история стран и народов (т. е. общностей государственно-политических, этнических, а также и иных). При некоторых формациях — при рабстве и при капитализме — человечество даже с экономической необходимостью раскололо на народы эксплуатирующие и эксплуатируемые. Возвышение одних не только закрепляет, но и вызывает отсталость других. В какой-то мере это свойственно и феодализму. А какую сложную систему слабых и сильных, нападающих и обороняющихся, политически независимых и зависимых, покупающих других и покупаемых другими представляют собой все государства на карте мира в тот или иной момент исторического прошлого! Все же весьма вероятно, что горизонтальные, т. е. синхронистические, срезы истории с дальнейшим развитием научных методов покажут наличие некоторой структуры, единого целого за мозаикой множественных

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 13, стр. 7.

«историй». И все это целое движется в общем потоке времени по некоему общему вектору и с общим прогрессирующим ускорением.

Итак, марксистская наука мыслит мировую историю как целое.

Всякое мышление об истории как целом требует понятия единого начала истории. Единый процесс мыслим только с помощью единого начала этого процесса.

Начало истории, рассматриваемое с чисто методологической точки зрения, должно быть подразделено на внешнее и внутреннее, т. е., с одной стороны, начало чего-то нового по сравнению с предшествующим уровнем развития природы и, с другой, начало чего-то, что само будет изменяться, само будет историей. Соответственно и будет построено дальнейшее изложение.

Рассмотрим некоторые внешние определения начала истории. Подчас они даются просто указанием на те или иные новые атрибуты, присущие только человеку. Но, чтобы быть логичным и избежать произвольности, следовало бы начинать с вопроса: что такое начало истории с точки зрения биологии? Шире: можно ли вообще определить человеческую историю с точки зрения биологии, не впадая при этом в биологизацию истории? Иными словами: что присущее биологическим явлениям исчезло в человеческой истории? Да, такое определение разработано материалистической наукой: общественная история есть такое состояние, при котором прекращается и не действует больше закон естественного отбора. У человека процесс морфогенеза со времени оформления *Homo sapiens* в общем прекратился. При этом законы биологической изменчивости и наследственности, конечно, сохраняются, но отключено действие внутривидовой борьбы за существование и тем самым отбора. «Учение о борьбе за существование, — писал К. А. Тимирязев, — останавливается на пороге культурной истории. Вся разумная деятельность человека *одна борьба — с борьбой за существование*»².

Но, конечно, биологическое определение истории недостаточно. Оно лишь ставит новые вопросы, хотя оно уже несет в себе ясную мысль, что нечто, отличающее историю, должно было некогда начаться, — пусть это начало и было не мгновенным, а более или менее растянутым во времени.

Почему прекратилось выживание более приспособленных и вымирание менее приспособленных (за вычетом, разумеется, летальных мутаций)? Иначе говоря, почему забота о нетрудоспособных, всемерная защита их от смерти стали отличительным признаком данного вида? Обычный ответ гласит: вследствие развития труда. Взаимосвязь, как видим, не простая, а диалектиче-

² К. А. Тимирязев. Исторический метод в биологии. — Сочинения, т. VI. М., 1939, стр. 233.

ская — труд спасает нетрудоспособных. Связующим звеном служит сложнейшее понятие общества. Пока нам важно, что мы перешагиваем тем самым в сферу тех, тоже внешних, определенных начала истории, которые указывают на нечто, коренным образом, «с самого начала» отличившее человека от остальной природы. Это такие атрибуты, которые остаются *differentia specifica* человека на всем протяжении его истории. К ним причисляют труд, общественную жизнь, разум (абстрактно-понятийное мышление), членораздельную речь. Каждое из этих явлений, конечно, развивается в ходе истории, но к внешнему определению начала истории относится лишь констатация появления с некоторого времени данного постоянно наличного в дальнейшем признака.

На этом пути, что ни шаг, возникают серьезные методологические трудности. То эта граница настолько абсолютна, что грозит стать беспричинной и метафизической; проблема генезиса этих отличительных признаков отступает в туман, или на третий план, или вовсе (что наиболее последовательно) в сферу чуда творения. То, наоборот, предлагаемые отличительные признаки трактуются как не очень-то отличительные: «почти» то же самое имеется и у животных, причем в соответствии с установкой исследователя это «почти» способно утончаться до величины весьма малого порядка. Иными словами, *differentia specifica*, к констатации которой сводится проблема начала истории, может оказываться и бездонной пропастью, и положим местом, безмерно плавной эволюцией скорее количественного, чем качественного рода.

На этих огромных трудностях мы остановимся в следующем разделе, а сейчас надо еще раз сказать в общей форме о двух возможных точках зрения на проблему начала человеческой истории. Либо, как отмечено только что, в центр внимания берется константный признак, навсегда отличающий человека от животного, либо возникновение свойства непрерывно изменяться, иметь историю, причем обладающую вектором и ускорением. Это свойство в свою очередь может рассматриваться как *differentia specifica* человека, следовательно, тоже как своеобразная константа. Тогда началом истории во внутреннем смысле мы будем считать момент, с которого род человеческий стал видоизменяться быстрее истории окружающей природной среды, как и быстрее телесных изменений в самих людях.

Итак, понятие начала истории в значительной степени зависит от того, сделаем ли мы акцент на неизменном в истории или на изменчивости, т. е. на историчности истории. Хотя несомненно, что обе стороны не чужды друг другу, но во втором случае исторический прогресс выступает как продукт неумолимой необходимости избавиться от чего-то, что знаменовало начало истории.

Заметим, что второй вариант — последовательно проведенный историзм — заставляет думать также о проблеме конечности процесса. Разумеется, для подлинной науки не существует и мысли

о финализме: ни о возвращении человечества в лоно божие, ни об исчерпании духовных или природных ресурсов развития, ни о предпочтительности самоистребления человечества с помощью ядерной бомбы — торжеству «материалистической цивилизации». Даже наиболее наукообразные из распространяющихся на Западе теорий конца человечества выражают лишь ужас буржуазной идеологии перед неминуемым концом ее исторически ограниченных ценностей, в том числе частной собственности. По существу же упомянутая проблема конечности (или бесконечности) абсолютно посторонняя проблеме исчезновения людей: в плане методологии истории речь может идти только о конечности тех или иных явлений, преодоление которых составляет исторический прогресс. Если прогресс предполагает последовательное устранение и пересиливание чего-то начального, то прогресс должен быть одновременно и регрессом обратного порядка вещей. Понимание исторического развития как превращения противоположностей допускает мысль, что исходное начало действительно вполне превратилось в противоположное. В этом смысле оно исчерпано, окончено, «вывернуто», по выражению Фейербаха.

Это можно пояснить примером любопытной философской импровизации прогрессивного писателя и мыслителя Веркора на международном симпозиуме по проблеме прогресса в Руайомоне (под Парижем) в 1961 г. Согласно Веркору, исходный пункт прогресса в области духовного развития человечества — это достижение нашими далекими дикими предками того, что они чего-то не знают. Познание возникает как средство преодолеть незнание, таким образом незнание — первооснова нашего духовного мира, а мышление, познание существуют с того времени, как люди начинают не мириться с этим незнанием. (Напомним, что Веркор некогда, в романе «Люди или животные», пробовал вообразить эту нулевую точку истории, насыщенную глубочайшими противоречиями.) С тех пор мысль и незнание неразлучны, подобно свету и тени. Веркор предлагает поэтому ввести в теорию духовного прогресса два тезиса: «я мыслю — следовательно не знаю» и «я мыслю — следовательно отказываюсь не знать». Ближайшее средство одоления незнания — это труд, из него рождается всякое техническое исследование. Познание предполагает борьбу за него, отказ и бунт против незнания. Победить свое незнание как таковое — вот, по мнению Веркора, единственное истинное назначение людей, как существ, одаренных способностью мыслить. Он говорит, что эта делящаяся тысячелетиями борьба достаточно величественна, чтобы увлечь всю молодежь мира. Но, продолжает Веркор, тем самым мы должны сказать, что если не останется ничего нам неизвестного, то мысль станет излишней. Конечно, это не исключает необходимости и далее мыслить для ориентировки в меняющихся обстоятельствах жизни. Но это уже не более, чем надобно инженеру, чтобы произвести конкретный

расчет сопротивления материала в некоем данном случае, когда он знает теорию сопротивления материалов как таковую.

Это рассуждение Веркора во многом неудовлетворительно. Оно ни в малой мере не объясняет, как и почему у ископаемых предков человека появилось ощущение незнания, ставшее их отличием от животных. Но Веркор пытался указанным способом по-своему развить выступления на этом симпозиуме некоторых участников-марксистов, формулировавших идею прогресса как спирали восходящего раскрепощения трудящихся. Из его рассуждений следует, что необходимо мыслить точку, пусть бесконечно удаленную в будущее, но означающую окончательное преодоление какого-то из определений, характеризующих исходное положение, начало истории. Попросту говоря, модель Веркора отражает потребность ума в представлении не только о прогрессе, но и о победе прогресса в том или ином определенном направлении (например, полное раскрепощение трудящихся), об исчерпании того, в борьбе с чем состоит суть прогресса. Иначе, действительно, картина была бы не оптимистической, а пессимистической.

Однако в дальнейшем мы не будем экстраполировать в такие абстрактные дали обозримые тенденции современного прогресса. Мы будем брать именно эти последние как противоположный полюс началу истории. И в этом смысле модель Веркора может быть полезной. Но ближайшая задача состоит в рассмотрении обратной, гораздо более распространенной модели: начало истории — синоним не того, что будет затем отрицать история в своем развитии, а того, что составит ее положительный генерализованный отличительный признак.

2. В ПОИСКАХ DIFFERENTIA SPECIFICA ЧЕЛОВЕКА

Для всякой системы субъективного идеализма нет испытания более тяжкого, чем наука о природе, существовавшей до человека и, в особенности, накануне человека. Чьи это «ощущения», чей «опыт»? Если вся дочеловеческая история природы — лишь конструкция разума, то в какой момент и как к этой конструкции разума подключается история конструирующего разума? Следовательно, наука о начале человеческой истории находится в самом гносеологическом пекле. Вся сила материализма проявляется здесь наглядно. Было бытие до духа! Но соответственно и вся изощренность сопротивления материализму, вся многоопытная поповщина, запятанная под покровы естественных наук, помноженная на всю бесхитрость и самоочевидность воззрений обыденного сознания, спрессованы в теориях и исследованиях о начале человека. Не случайно в развитии западной палеоантропологии и палеоархеологии заметное место принадлежало и при-

надлежит специалистам, имеющим по совместительству и духовный сан.

Но и многие материалисты (а не только идеалисты) ищут некий стабильный признак, который отличает человека от животных «с самого начала» и по наши дни; предполагается как само собой разумеющееся, что такой единый признак должен быть. Подразумевается также, что задача науки состоит в том, чтобы определить эту главную отличительную особенность людей. Некогда искали эту *differentia specifica* в анатомии. Однако ни прямохождение, ни строение верхних и нижних конечностей, ни зубная система, ни объем и форма мозговой полости черепа не дали, как теперь признано, искомого сравнительно-анатомического барьера между высшими обезьянами и людьми. Формальным логическим требованиям удовлетворяет другой критерий: называть людьми все те живые существа, которые изготавливают искусственные орудия. Даже среди самых древних находок можно отличить приматов, хотя бы грубо оббивавших гальки, от анатомически сходных, но не обладавших этим свойством. На этом почти все и сошлись. Отсюда с легкостью извлекаются понятия «труд», «производство», «общество», «культура» или другие по желанию.

Но ведь главная теоретическая задача состоит как раз не в том, чтобы найти то или иное отличие человека от животного, а в том, чтобы объяснить его возникновение. Сказать, что оно «постепенно возникло», значит ничего не сказать, а спрятаться от проблемы в эволюционизм, растяжимый до бесконечности. Сказать, что оно возникло «с самого начала», значит отослать к понятию начало. В последнем случае изготовление орудий оказывается лишь симптомом или атрибутом «начала». Но наука повелительно требует ответа на другой вопрос: почему?

Всмотримся поближе в логическую ошибку, которая постоянно допускается. Берется, например, синхроническое наблюдение Маркса над различием строительной деятельности пчелы и архитектора; поворачивается в план диахронический: «с самого начала человек отличался от животного тем...» или «человеческая история началась с того времени, как наши предки стали...». Словом, постоянный атрибут человека и начало истории выводятся друг из друга. Почему, задает вопрос наука, человек научился мыслить, или изготавливать орудия, или трудиться? Без ответа на этот вопрос всегда останется либо индетерминизм (погаенный или обнаженный), либо, по крайней мере, простор для ошибок, для отнесения к «людям» тех ископаемых видов, которые еще не были людьми, для шатких гипотез в определении действительного времени начала истории с амплитудой в миллион или даже более лет.

Подчас этот недиалектический и неисторический способ мышления приписывают Энгельсу. Основание: во-первых, труд, по

Энгельсу, в известном смысле, создал самого человека, во-вторых, во всей последующей истории труд был основой развития и явственно отличал людей от животных. Давно уже отмечалось, что если понимать Энгельса формально-логически, то и получается формально-логическая ошибка: то, что подлежит объяснению, берется как посылка; труд отличает людей от животных потому, что у одного из видов животных появился труд. В действительности у Энгельса вовсе нет такой вульгарной попытки дополнить Дарвина. Мною³ и другими советскими авторами было показано, что у Энгельса речь идет о «труде» в двух принципиально различных смыслах. При таком понимании никакой логической ошибки нет.

У некоего вида ископаемых высших приматов появилось свойство — чисто биологическое, но весьма сложное и редкостное, — которое принято называть животным, инстинктивным трудом. Термин «инстинктивный» тут, конечно, нисколько не исключает соучастия показа, научения; и птицы учат птенцов летать. Указанное свойство послужило важным, в известном смысле, важнейшим фактором ряда последовательных этапов становления человека. Но тот труд имел с человеческим трудом общее не по существу, а по форме, по некоторым механическим, а не психологическим признакам. По существу он ближе к некоторым очень сложным приемам общения со средой, выработавшимся среди животных в виде исключения у тех редких биологических видов, которые сильно отклонились от родственных видов, семейств или отрядов по источнику питания, иначе говоря, по своей экологии. Так возникали среди насекомых, птиц, млекопитающих удивительные экстраваганты, изготовляющие разные приспособления, которые поражают взгляд натуралиста своей искусственностью, хитроумностью, как бы инженерной и архитектурной разумностью. То, что предположил Энгельс (и подтвердили сто лет последующих раскопок) у высших прямоходящих приматов где-то в конце плиоцена или в начале плейстоцена, принципиально не отлично от этих биологически крайних случаев, хотя, очевидно, еще неизмеримо сложнее. Что же общего у них с актами человеческого труда в собственно истории? Да, пожалуй, только тот очень внешний, очень описательный признак, что налицо не только изготовление и использование «орудий» в самом широком смысле, но и «изготовление орудий для изготовления орудий».

По правде сказать, этот признак беден, если не вкладывать в него какой-то особый спиритуалистический смысл. Этот признак на деле так же мало объясняет переход от «труда» ископаемых приматов к труду человека, как не удалось некогда И. П. Павлову объяснить мышление человека как «условные рефлексy

³ См. статью «Материализм и идеализм в вопросах становления человека». — «Вопросы философии», 1955, № 5.

второй степени». И. П. Павлов сначала думал, что каким-то качественно исключительным достоянием человека является свойство вырабатывать условные рефлексы на условные рефлексы. Все выглядело заманчиво просто. Опыты показали иллюзорность этой ясности. Удалось получить и у животных условные рефлексы второй степени. Потом — не без труда — добились и рефлексов третьей степени, а дойдя наконец чуть ли не до седьмой, бросили эти опыты, ибо они выполнили свою отрицательную задачу. Но ведь они послужили и более общим уроком: свойств человека не выведешь из свойств животного путем возведения чего-то в степень. Что из того, если какое-то животное не только «изготавливает орудия», но «изготавливает орудия для изготовления орудий»? Мы не перешагнем, на самом деле, никакой грани, если мысленно будем возводить то же самое в какую угодно степень: изготовление орудий для изготовления орудий для изготовления орудий и т. д.

Весь этот технический подход к проблеме начала человеческой истории на самом деле всегда включает психологические догадки. А представление о какой-то изначальной особенности ума или психики человека так или иначе таит за собой именно то мнение, для опровержения которого Энгельс написал свою работу об очеловечении обезьяны. Он писал, что в обществе, разделенном на приказывающих и трудящихся, накрепко укоренилось мнение, будто все началось с головы. Это мнение, по Энгельсу, заводит вопрос в тупик, в идеализм, в индетерминизм. А вот в научной литературе ссылки на трудовую теорию антропогенеза Энгельса сплошь и рядом делаются именно для того, чтобы прикрыть это самое мнение: в начале было не дело и даже не слово, нет, в начале был ум.

За наидревнейшими каменными орудиями усматривают что-то качественно отличающее человеческий ум от даже самых высших функций нервной системы животных. Например, эти орудия якобы свидетельствуют о способности только человеческого ума вообразить «посредника», т. е. посредствующее звено между субъектом и объектом труда (Г. Ф. Хрустов). Или считают, что при изготовлении каменных орудий сумма отдельных движений, или действий, каждое из которых якобы образует новую связь в головном мозгу, значительно превосходит сумму нервных связей в любом поведенческом акте любого животного (С. А. Семенов), — забывая при этом, скажем, о сложнейшей гнездостроительной работе многих видов птиц. Или же упор делают на то, что изготовление каменного орудия отвлекало ум от удовлетворения непосредственной потребности, тогда как ни одно животное якобы не способно отвлечься от нее в своей деятельности (А. Г. Спиркин), — при этом забывается, скажем, деятельность животных по созданию кормовых запасов нередко в ущерб непосредственному удовлетворению аппетита. Или утверждают, что

уже древнейшие каменные орудия своей шаблонностью свидетельствуют об отличающей человека от животных способности отчетливо представлять себе будущую форму изготавливаемого предмета (В. П. Якимов), — упуская из виду, скажем, шаблонность тех же птичьих гнезд. Не будем перечислять всех примеров такого рода, встречающихся в литературе.

Общим недостатком всей этой серии сравнительно-психологических противопоставлений является прежде всего неудовлетворительное знание всех необходимых элементов зоологии. Иначе говоря, у порога многих дефиниций отличия человека от животных лежит нежелание всерьез знать науку о животных. Имеется в виду, конечно, действительная биологическая наука, а не засоряющие ее со времен самого Дарвина заимствования понятий и терминов из сферы социальной жизни и психики человека. Получается замкнутый круг, если сначала переносить на животных некоторые свойства общественного человека, затем утверждать, что у животных эти свойства стоят на более низком уровне, чем у человека, а затем определять сущность человека по его способности к более высокому уровню. Подлинная биологическая наука ведет войну со всяким антропоморфизмом. Но для изучающих начало человеческой истории открыт и обязателен вход в зоологию на ее современном уровне. Последняя давно перешагнула рамки морфологической систематики видов. Широко развилось познание экологии животных — взаимозависимости вида, популяции, особи с физической и биотической средой. Изучается закономерное, жестко детерминированное место любого животного в биогеоценозе — системе или комплексе множества видов растений и животных. Далее, вот уже лет тридцать как успешно развивается этология — наука о формах поведения и инстинктах как видовых признаках.

Вот на этой обширной платформе и должны были бы предприниматься все попытки вскрыть коренное отличие человека от животных с помощью психологического анализа нижнепалеолитических грубо обитых кремней. Догадки отпадали бы одна за другой. Нашлись бы примеры и использования животными искусственных «посредников» между собой и объектами, и «отвлечение» от прямого мотива деятельности, и изготовление орудий «второй степени», и «стереотип» изделий. Словом, широкое привлечение данных зоологической науки неминуемо должно устранить из научной литературы все наивные усилия подобрать простой сравнительно-психологический ключ к проблеме начала человеческой истории.

Рассмотрим более пристально один из вариантов рассуждения. Говорят, что орудия древнейшего человека отличаются от любого подобия орудий, как и от любых искусственных сооружений, наблюдаемых у животных, одним, действительно решающим признаком, свидетельствующим об особой психической силе чело-

века: все приемы воздействия на среду присущи данному виду животных неизменно, тогда как человеческие орудия изменяются, эволюционируют при неизменности телесной организации, морфологии человека как вида. В доказательство приводится не только смена типов орудий со времени появления вида *Homo sapiens*, т. е. в верхнем палеолите и позже. Нет, указывают на то, что изощренный глаз археолога прекрасно различает этапы развития шелльских орудий, изготовлявшихся гоминидами типа обезьянолюдей (питекантропов). Тем более очевидны разные стадии техники мустьерской эпохи, связываемой с палеоантропами (неандертальцами). Это наблюдение ряду археологов кажется очень важным для проведения грани между человеком и животным (А. П. Окладников, П. И. Борисковский, М. З. Паничкина). Правда, иные антропологи возражают, что ведь до появления *Homo sapiens* и сами гоминиды физически менялись, эволюционировали, причем не медленнее, чем их орудия (Я. Я. Рогинский). Но допустим на минуту, что их морфология оставалась неизменной. Все равно данное обобщение зиждется на игнорировании зоологии.

Вот, к примеру, что говорят современные данные об изменчивости и эволюции гнездования у некоторых морфологически устойчивых видов птиц. Берем (здесь и ниже) иллюстрации из царства пернатых, а не млекопитающих, чтобы подчеркнуть общезоологическую, а не филогенетическую суть вопроса. Стереотип гнездования у птиц не остается нерушимым шаблоном. Иногда отклонения от него носят труднообъяснимый индивидуальный характер. Подчас же резкое отклонение от видового стереотипа принимает устойчивый и нарастающий массовый характер в связи с экологическими изменениями. Птицы обнаруживают экологическую и этологическую пластичность: например, при систематическом разорении мелкими хищными зверями наземных и низко расположенных гнезд черноголовки и зарянки переходят к гнездованию на ветвях больших деревьев. Подсчеты, произведенные орнитологами в некоторых районах наблюдений, например в учлесхозе «Лес на Ворскле», показали, что в течение нескольких сезонов произошло стойкое изменение шаблона гнездования у значительного большинства популяции⁴.

Даже такое свойство, как способность некоторых отрядов птиц (например, воробьиных) к подражанию голосам других птиц или к очень индивидуальным комбинациям традиционных для вида звуков, может привести к образованию стойких локальных напевов.

Так, в начале лета 1953 г. в одном из кварталов упомянутого учлесхоза «Лес на Ворскле» поселился зяблик, заметно

⁴ См. Г. А. Новиков. Изменчивость видового стереотипа гнездования у птиц. — В сб.: Сложные формы поведения. М.—Л., 1965, стр. 144—150.

отличавшийся от других зябликов характером исполнения песни, которую он неизменно заканчивал «рюмющим» позывом; к середине лета этот вариант усвоили почти все зяблики, гнездившиеся на данном участке леса. В течение нескольких лет, благодаря повторным возвращениям части птиц на старые гнездовья, закрепляется тот или иной местный напев. Например, у соловьев, у дроздов существуют стойкие местные особенности пения. Отдельные варианты песни подчас отличаются один от другого даже сильнее, чем песни двух разных видов. Наконец, через образование географических форм вследствие контактов между особями со сходными голосами далее происходит и эволюция голоса у птиц в пределах морфологически устойчивого вида⁵.

Если бы это учитывали археологи, думающие, что они открыли некую духовную потенцию, присущую только и исключительно человеку! Как сказано в связи с гнездованием, в общем его шаблон, или стереотип, сдвигается, однако, в большей или меньшей связи с изменениями экологических условий. Но ведь ископаемые гоминиды жили как раз в условиях очень нестабильной, многократно менявшейся природной среды с перемежающимися похолоданиями и потеплениями, со сменяющимися сухостью и влажностью, со сменяющимися биогеоценозами. Орудия нижнего и среднего палеолита изменялись ни в коем случае не быстрее этих экологических перемен. Есть основания полагать, что даже и с появлением *Homo sapiens* изменения его каменной техники в верхнем палеолите еще не обгоняли по своему темпу на заметную величину изменений природной обстановки позднего плейстоцена.

Значительно позже, чем допускают археологи, в конце плейстоцена, совершается действительный разрыв в темпах развития человеческой материальной культуры и окружающей человека природы.

Может быть, только это и есть в экологическом смысле начало человеческой истории?

Итак, мы говорили о троякой методологической несостоятельности попыток добиться от палеолитических каменных орудий ответа на вопрос об основном отличии человека от животных. Во-первых, ответы плохо обоснованы знанием биологии животных и отпадают при соприкосновении с современной зоологией. Во-вторых, все ответы построены на стремлении видеть в древнейших каменных орудиях своего рода скорлупу, раздавив которую мы найдем понятие «труд», которое в свою очередь скорлупа, скрывающая суть дела — ум, психику человека. В-третьих, все ответы по степени отчетливости находятся в обратной пропорции с ответом на главный вопрос: о причинах выделения человека из

⁵ См. А. С. Мальчевский. К вопросу о голосовой имитации у птиц. — Там же, стр. 139—144.

царства животных. Чем больше акцентируется «коренное отличие» человека от животных, в тем более глубокий туман уходят и механизм и непосредственные причины перехода от одного к другому.

3. ОПРОКИДЫВАНИЕ ИДЕАЛОВ В ПРОШЛОЕ

Задача настоящей статьи — не описание или исследование начала человеческой истории, а попытка «очищения рассудка», как выражались некогда философы, т. е. рассмотрение методологии и философии этой проблемы. Предыдущий раздел содержит критику всякого вообще мышления о «сущности человека» как неизменном качестве. Такое мышление генетически восходит к богословской схеме: некогда бог сотворил человека, затем следует долгая история, вернее, не собственно история, а суэта земного странствия человека, из которого он внешним велением снова вернется в лоно божье, — таким же, каким изошел. Эта схема не принадлежит только средневековью, она находится на вооружении многих современных влиятельных за рубежом ученых. Так, она составляет философскую основу десятитомной католической «*Historia Mundi*». Тезис о неизменной, константной сущности человека, начиная с питекантропа и его шелльских орудий, изложен во вступительной статье основателя этого издания боннского историка и теолога Фрица Керна. Философия истории Керна и его сподвижников сводится к утверждению, что «природа человека» никогда не менялась с того времени, когда он был создан: душа, составляющая природу человека и отличающая его от животного, есть явление качественно неизменное — она проявляется в труде, культуре, нравственности, языке, пользовании огнем и в других «изначальных явлениях человеческого бытия»⁶.

Рассмотрим теперь другой, несколько отличающийся способ мышления о начале истории.

Согласно этому варианту, то, что характеризовало человека вначале и что составляет его истинную природу, было в ходе дальнейшей истории в большей или меньшей мере утрачено и подлежит восстановлению. Такое мышление тесно связано с развитием способности человеческого ума ставить сознательно цель переустройства общества. С тех времен, как люди стали ставить перед собой такого рода общественные цели, они старались осознавать их как борьбу за восстановление утраченного прошлого. Так, еще в древности сложилась устойчивая, владевшая умами легенда о «золотом веке». Хилиазм отвечал надеждам на его

⁶ См. рецензию М. Левина, Б. Поршнева, В. Струве. Против антинаучных теорий возникновения и развития человеческого общества. — «Коммунист», 1955, № 9.

восстановление. В народных христианских ересь эти идеи отождествлялись с установлением «царства божия» на земле. В дальнейшем чем радикальнее было намерение изменить мир, тем отдаленнее бралась точка прошлого, где помещался идеал. Теория естественного права и естественного состояния хронологически исчерпала этот круг возможностей: для обоснования буржуазного идеала переустройства общества была взята идеально отдаленная точка, т. е. апеллировали не к дедам, не к старине, не к раннему христианству, а просто к тому, что было «с самого начала». Рационализм XVII—XVIII вв. неизменно опирался на пример «дикарей», живших в «неиспорченном», «исходном» состоянии.

Нередко схема мышления получала обратный знак: чего-то в начальном состоянии не было, затем оно возникло и, как «злоупотребление» или «человеческое измышление», подлежит упразднению. Но ни севарамбы Верраса, ни обезьяноподобные добрые дикари Руссо, ни злые дикари Гоббса, ни все более облакавшиеся научной плотью представления XIX в. о первобытном (начальном) человеке не были и не могли быть отражением действительного прошлого: слишком много стекалось туда, к этому началу, представлений о желаемом и предвосхищаемом будущем. «Естественное», «изначальное» состояние бесконечно варьировалось у разных авторов как в связи с изменением классовых идеалов, так и в связи с накоплением этнографических и археологических знаний, фактов, все более усложнявших задачу узнавания идеала в первобытности. Поскольку опорой буржуазного общественного мышления в его развитии долго оставалось понятие «естественных свойств человека», присущих ему «с самого начала», постольку именно там, в исследованиях самых начальных эпох человеческой истории, нагромождалась вся основная масса заблуждений буржуазного, да и вообще всякого ненаучного мышления.

Идея первобытного бесклассового коллективизма, «первобытного коммунизма» представляет значительно более сложную и обоснованную картину, противостоящую буржуазным идеям о естественном состоянии, включающем частную собственность, индивидуальную инициативу, религию, войны и т. д. Но и к идее «первобытного коммунизма» слишком часто примешивается кое-что от утраченного рая или не испорченной классовым антагонизмом природы человека. Между тем малейший привкус любования и идеализации неумолимо враждебен научному познанию действительной картины первобытности.

Отсутствие семьи, частной собственности и государства, отсутствие классов и эксплуатации — это негативные понятия, расчищающие дорогу этнологу и археологу к познанию глубочайшего прошлого. Но это именно негативные понятия, полезные лишь в той мере, в какой они препятствуют привнесению в это прошлое иллюзий из настоящего и будущего. Эти определения ничего

не могут сказать утвердительно о том, что было в древнейшем прошлом, если смести с него все эти иллюзии.

Надежный факт — лишь то, что история была прогрессом. Он имел диалектический характер, разворачивался по спирали, развитие человечества шло через отрицания отрицаний, но в конечном счете оно шло вперед. Следовательно, нам нечего идеализировать в первобытности: человечество отходило от нее все дальше и дальше. В частности, первобытный человек был еще более несвободен, чем раб: он был скован по рукам и по ногам невидимыми цепями, более крепкими, чем железо, и был всегда под невидимой плетью, более жесткой, чем плеть надсмотрщика. Это был парализующий яд родоплеменных установлений, традиций, обычаев, наследуемых представлений. Рабство было в этом смысле шагом вперед, ибо рабовладельцы хоть отчасти побаивались рабов, тогда как человек первобытного общества даже не догадывался, что он носит какое-то ярмо. Человек современного социалистического общества не ищет своего идеала в отдаленнейшем прошлом — подлинное освобождение человеческая личность обретает только в социалистической революции и в борьбе за коммунистическое завтра.

И один и другой способы мышления о наидревнейшем историческом времени, описанные выше, сводятся к сознательным или бессознательным поискам чего-то неизменного в истории. Обыденное сознание подсказывает подчас и ученому этот подтекст: найти в истории нечто привычное, свойственное мне и моим ближним, или то, что я нахожу в себе и в них похвальным: я разумен, я тружусь, я подавляю в себе некоторые вожеления — вот вам и начало истории!

4. ПОНЯТИЕ ПРОТИВОПОЛОЖНОГО НАМ ПОЛЮСА ИСТОРИИ

Теперь испробуем другой, указанный вначале путь рассуждения, который мы назвали бы внутренним определением истории.

Если история есть развитие, если развитие есть превращение противоположностей, то из животного возникло нечто противоположное тому, что развилось в ходе истории. Речь идет о том, чтобы реконструировать начало истории методом контраста с современностью и ее тенденциями.

Подлинный историзм не в апперцепции, не в узнавании в иной исторической оболочке той же самой сути, а, наоборот, — в обнаружении по существу противоположного содержания даже в том, что кажется сходным с явлениями нынешней или недавней истории. Историзм, проведенный последовательно, это и есть неуклонное противопоставление друг другу разных моментов и уровней исторического движения. При этом недостаточно спорадически вспоминать, что явления, хотя бы внешне весьма сходные, но происходившие в разные исторические времена, тем самым уже не

сходны, ибо сущность их уже другая. Это — историзм эмпирический, интуитивный. Сознательный, научный историзм должен не только утверждать, что какое-либо историческое явление сравнительно с более ранним есть «то же да не то же», т. е. не только констатировать отличие по существу, но утверждать, что это отличие всегда тяготеет к такому отличию, которое называется противоположностью.

Разумеется, в категорической форме это можно утверждать только при сопоставлении больших промежутков времени. Отсюда следует, что подлинный историзм должен всегда видеть целый процесс исторического развития человечества и, сравнивая любые две точки, соотносить их с этим целым процессом. Историк может сказать, что за истекшее столетие (или за любой другой отрезок времени) произошло ничтожно малое, близкое к нулю изменение этого явления, но все же и это крошечное изменение может соответствовать генеральной линии и представлять частицу большого движения — развития в собственную противоположность. Это не исключает того, что история развивается по большей части зигзагами, знает повороты и возвращения вспять, — но все это накладывается на единый закономерный процесс постепенного превращения того, что было в наиболее удаленной от нас части истории, в собственную противоположность.

Только такой взгляд дает мировой истории подлинное единство. Тот, кто изучает лишь ту или иную точку исторического прошлого или какой-либо ограниченный период времени, — не историк, он — знаток старины, и не больше; историк только тот, кто, хотя бы и рассматривая в данный момент под исследовательской лупой частицу истории, всегда мыслит обо всем этом процессе.

Так историзм открывает новые возможности реконструкции далекого прошлого по принципу глубокой противоположности настоящему или близкому к нашим дням. Думается, что именно этот дух мышления руководил усилиями Н. Я. Марра проникнуть взором в поистине океанские глубины человеческой древности. Лингвисты, критиковавшие методы и гипотезы Н. Я. Марра в 1950 г. и позже, говорили, в сущности, на другом языке: они решительно не понимали, что у Марра речь шла о масштабах и дистанциях совершенно иных, чем у лингвистики в собственном смысле слова, охватывающей процессы в общем не длительнее, чем в сотни лет. Так точно классическая механика макромира пыталась бы опорочить не согласующуюся с ней физику мегамира или микромира.

Требуется могучее отвлеченное мышление, чтобы реконструировать указанным методом контраста начало человеческой истории. Отметим три трудности, может быть основные, на этом пути.

Прежде всего — проблема этнографических параллелей. Археологические вещественные остатки древнейших эпох жизнедеятель-

ности человека были бы гораздо более немymi, не будь этнография, подсказывающей те или иные аналогии с ныне живущими, стоящими на низкой ступени развития народами. Не будь этнографических сведений, и наши апперцепции в отношении ископаемых предметов материальной культуры каменного века возникали бы еще проще, но и опровергались бы легче. Скажем, чисто умозрительное построение, что нижнепалеолитические каменные рубила были полифункциональны или даже являлись «универсальным орудием», выглядело бы обнаженным абсурдом, если бы не приводились примеры из практики тасманийцев, австралийцев, бушменов и других племен, свидетельствующие, что «подобия» (весьма отдаленные) тех каменных топоров используются кое-где в наше время для многих разнообразных функций (в том числе для обработки дерева, корчевания пней, влезания на гладкие стволы и т. д.). Наглядность образов, которые подбрасывает этнография, истребляет в археологии всякую склонность к абстракции.

Между тем этнографические аналогии могут быть и бывают иллюзорны. Нет на земле племени или народа, на самом деле и безоговорочно принадлежащего к древнейшей первобытности. Весь род человеческий произошел в одно и то же время, все живущие племена и народы имеют одинаковый возраст, у каждого человека в общем столько же поколений предков, как и у любого другого. Не было и нет также полной изоляции, чтобы, в то время как одни народы двигались своими историческими дорогами, другие пребывали в полном историческом анабиозе. Ошибочно даже само представление, будто в первобытной древности существовали вот такие же, как и сейчас, относительно обособленные племена на ограниченных территориях, в известной мере безразличные к соседям, к человечеству как целому. Иными словами, даже самые дикие племена — не обломок доистории, а побочный плод и продукт истории. Стоит изучить их языки, чтобы убедиться в том, какой невероятно сложный и долгий путь лежит за плечами этих, повторим, столь же древних, как и мы, людей.

Сказанное не отвергает использования этнографических знаний о народах мира в целях реконструкции детства человечества. Но надо иметь критерий для признания тех или иных черт «перезитками» и для расположения таковых черт в ряду менее или более древних.

Известна традиционная классификация комплекса исторических наук, т. е. наук, изучающих человеческое прошлое: археология изучает его в основном по вещественным остаткам, этнография — по пережиткам, история в узком смысле — по письменным источникам; есть еще более специальные исторические дисциплины, изучающие прошлое по некоторым более частным его следам, например топонимика — по сохраняющимся от прошлого географическим названиям и т. д. Данные этнографического познания прошлого наименее точно датированы, и поэтому тут

легче всего ошибиться в выделении того, что является наиболее древним, а что представляет собой лишь случайную конвергенцию с археологическими памятниками. Но верно и неоспоримо, что в культуре сохраняются в сложном сплетении с более поздними элементами пережитки древних и древнейших черт человеческого общественного бытия и сознания. Они есть и в культуре самых высокоцивилизованных наций. Тончайшие методы современной науки способны вскрывать глубокие эволюционные слои в психике, языке, мышлении современного человека. У так называемых отсталых народов кое-какие пласты этих пережитков выходят на поверхность, представляют обнаженные россыпи.

Без изучения всей этой «палеонтологии», как выражался Н. Я. Марр, в этнографии и лингвистике, в психологии и логике, конечно, невозможно с помощью одних археологических остатков каменного века осуществить подвиг мысли, нужный, чтобы вообразить или отвлеченно охарактеризовать искомое «наоборот» современности, которое есть начало человеческой истории.

Вторая большая трудность на пути реконструкции начала истории методом контраста — это ассортимент терминов и понятий.

Для того чтобы мыслить начало человеческой истории как противоположность современности, надо либо создать для древнейшего прошлого набор специальных слов и значений, которые исключали бы применение там привычных нам понятий из недавней и текущей истории, либо же примириться с тем, что всякое общее понятие будет употребляться в исторической науке в двух противоположных смыслах для древнейшей поры и для современности, как и во всех промежуточных значениях. Оба варианта крайне неудобны. Но, по-видимому, это неудобство перекидается с логическими трудностями многих областей современной науки. Уже нельзя обойтись без терминов «античастицы», «антивещество» и даже «антимир». Смысл упомянутой теории Н. Я. Марра как раз и можно было бы выразить словами: то, что лежит в начале развития языка, это «антиязык». Выше высказан аналогичный тезис в отношении понятия «труд» у порога истории и сейчас. То же можно сказать и о самом понятии «человек». Можно было бы ко всем понятиям, связанным с историей человека, вместо частицы «анти» прибавлять прилагательные *fossilis* и *recens* — «ископаемый» и «современный», подразумевая, что они, как противоположные математические знаки, изменяют содержание на обратное. Впрочем, все равно диалектика здесь доводится до такой крайности, что означает нарушение закона тождества.

Отвлеченная философия, конечно, предпочла бы этот второй вариант. Если семантика вскрывает историческое изменение смыслового значения любых слов, то тут, наоборот, вскрывается изменение смыслового значения слов в зависимости от того,

к какому концу истории оно применено. Какое огромное поле для диалектики!

Но практически создание новой терминологии применительно к началу человеческой истории предпочтительнее, чем нарушение на каждом шагу формально-логического закона тождества. Впрочем, и этот новый арсенал научного языка — только отсрочка беды, только сужение того хронологического интервала, где «ископаемый», «доисторический» инструментарий должен как-то уступить место противоположному — «современному», «историческому». Поэтому предпочтительность создания новой терминологии обосновывается не теоретически, а эвристически: через эти новые слова и понятия возможно впустить несколько больше естественнонаучного воздуха. Например, для ранней поры предпочтительнее физиологический термин «вторая сигнальная система», который для более высоких исторических этажей вытесняется словами «язык», «устная и письменная речь». Специальный инструментарий, или репертуар, терминов также помог бы если не вытеснить, то хоть потеснить из «доистории» слишком привычные и потому не ясные слова; замена слов легче, чем абстрагирование от смысла привычных слов.

Третья трудность носит уже не столько философский, сколько биологический характер.

Конкретными исследованиями выявлено, что проблема начала человеческой истории решается лишь при посылке, что человек произошел не непосредственно от обезьяны, а от промежуточного между ними звена. Называть ли это звено «прямоходящими высшими приматами», «обезьянолюдьми», «гоминоидами», «формирующимися людьми», — суть дела в том, что это не обезьяны и не люди, а нечто третье. Только при таком представлении проблема решается.

Принято думать иначе: «формирующиеся люди» — это как бы смесь свойств обезьяны и человека в тех или иных пропорциях, некие дробы между двумя целыми числами. Ничего третьего. Становление человека — это нарастание человеческого в обезьяннем. От зачатков, зародышей до полного доминирования общественно-человеческого над животнo-зоологическим. Эта схема — самообман. Искомое новое не выводится и не объясняется причинно, оно только сначала сводится в уме до бесконечно малой величины, приписывается в таком виде некой обезьяне, а затем выводится из этого мысленно допущенного семени.

Переход от обезьяны к человеку нельзя мыслить как период, сводящийся к борьбе двух начал. Переходный период должно мыслить как время, когда налично нечто отсутствующее как у обезьяны, так и у человека. Конечно, в мире обезьян найдутся частичные признаки этого промежуточного явления, а в мире людей — его трансформированные следы. Главное: увидеть в совокупной картине жизни непосредственных предков человека не

только то, что тут имеется общего с обезьяной или человеком, но и то, что обособляет их от жизни и обезьяны, и человека. Человек же рождается в обособлении преимущественно от этого третьего, а вовсе не от «обезьяньего». Такое обособление лежит у истоков истории, наполняет ее долгую первую часть, кое в чем тянется и дальше сквозь историю.

5. БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ НАЧАЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ИСТОРИИ

Антропологи уже вполне удовлетворительно выяснили анато-морфологическую эволюцию человека. С их точки зрения, достаточно установить с помощью сопоставления скелетов, что неантроп развился из палеоантропа, последний из археоантропа (питекантропа) и т. д. Для них даже удобно, если это эволюционное древо рисуется не ветвистым, а прямым, как корабельная мачта: ведь им надо знать только, кто из кого произошел; предка можно почитать исчезнувшим с того момента, как появился потомок.

Однако, поскольку эта работа в основных чертах выполнена, главной проблемой антропогенеза уже является не отличие неантропа от предковой формы, а его жизненные отношения с ней. Человек не мог не находиться в тех или иных отношениях с видом, от которого он постепенно стал отличаться и отдаляться. Это были отношения экологические, биогеографические, отношения конкуренции, или симбиоза, или паразитизма, или какого-либо еще типа. Ведь различия углубляются лишь в процессе дивергенции разновидностей, поначалу же они незначительны. Наука об антропогенезе должна наконец стать наукой о конкретных биологических отношениях человека и той предшествовавшей формы, от которой он ответвился. Научным нонсенсом является взгляд, что все особи предкового вида превратились в людей. Еще бессмысленнее думать, что они перестали рождаться на свет с тех пор, как некоторые путем мутации стали людьми. Не лучше и идея, что немногие, ставшие людьми, в короткий срок лишили кормовой базы всех оставшихся и те быстро перемерли: на земле до сих пор остается довольно пищевых ресурсов для множества видов животных.

Все эти несуразицы только подчеркивают неоправданность упорного избегания темы о реальных взаимоотношениях двух разновидностей, вероятно, лишь в ходе этих взаимоотношений ставших подвидами, а затем и разными видами, продолжая и на этом таксономическом уровне находиться в биологических отношениях друг с другом.

Сказанное остается справедливым, какой бы этаж филогении ни был определен как качественный переход от животного к че-

ловеку. Как известно, существуют разные мнения: большинство ищет этот рубеж во все больших глубинах эволюции — на уровне презинджантропа или еще глубже; другие, в частности автор этих строк, сближают переход от животного к человеку с переходом от палеоантропа к неолантропу. Конечно, это разногласие колоссально меняет датировку и конкретное истолкование начала человеческой истории. Но и не рассматривая здесь это разногласие, можно утверждать, что в любом случае справедливо требование перенести, наконец, главное внимание с вопроса о коренном отличии человека от его предка на вопрос о реальных отношениях человека с этим предком.

Далее, настоятельной методологической необходимостью становится расчленение понятия «труд» на ряд конкретных и определенных представлений. Когда писал Энгельс, это еще было невозможно. Великим новшеством было само привлечение понятия труд к антропологической проблематике, к теории Дарвина. Но если анатомическая сторона дела за сто лет в огромной степени конкретизировалась, понятие о труде осталось таким же отвлеченным, как в начале научного пути. Хуже того, оно приобрело тот смысловой оттенок, какой имеет в политической экономии «абстрактный труд» как «труд вообще». Такое обобщение имеет объективное основание только в экономике высокоразвитых обществ. Никакого «труда вообще» в предыстории или в начале истории не могло быть и не было. Были лишь виды конкретного труда. Прежде чем объять их общим понятием, надо знать их по отдельности, во всей их определенности.

Слово «труд» в сочинениях по антропогенезу звучит все более мистично: никак не ухватишь, какую именно физическую деятельность имеют в виду в каждом данном случае. Но видов «труда» было много и не было «труда вообще». Удовлетворительно расшифрован к настоящему времени лишь один вид деятельности: изготовление орудий из камня. Отсюда иногда складывается иллюзия, будто бы все без исключения особи первобытного стада или орды изготовляли каменные орудия, причем делали это более или менее перманентно, так что изготовление каменных орудий начинает выглядеть как видовой признак. Увидев живого питекантропа, стали бы ждать, что он примется изготовлять орудия нижнепалеолитического типа, и если бы он обманул ожидания и не стал этого делать, его разоблачили бы как фальшивку. Если же он случайно изготовит ручное рубило, будет сочтено, что труд в его всеобщей, универсальной, абстрактной сущности тем самым явлен нашему взору. Логика требует совершенно заумного вывода, что этим рубилом питекантроп мог делать «все». Да, да, без шуток, это было якобы средство не какого-либо специального, а обобщенного труда — «универсальное орудие».

При таком умозрительном подходе никогда не развить идею

Энгельса, как и не выявить подлинную картину деятельности нашего предка в окружающей его живой и мертвой природе — сложной, многообразной, суровой. Наука, как воздуха, ждет выяснения конкретных форм его отношений со средой.

Как уже отмечалось выше, все попытки развить идею Энгельса о роли труда в происхождении человека приводили к констатации тех или иных интеллектуальных или психических особенностей, отличающих человека от животного. По-видимому, действительно, предложение Энгельса идти не от головы, а от руки, должно быть переосмыслено в свете современной науки. Рука хоть и эволюционировала морфологически на пути от обезьяны к человеку⁷, все же не слишком сильно, и уж совсем незначительно — от палеоантропа к неолантропу. Если она стала, по выражению Энгельса, «свободной», то в смысле более функциональном, чем морфологическом. Во времена Энгельса еще не было и в помине науки о физиологии нервной системы вообще, центральной нервной системы в частности. По-видимому, в наши дни не будет нарушением материалистического замысла Энгельса, если акцент будет снова перенесен на «голову», но не в смысле духа, а в смысле мозга как органа, управляющего действиями и руки, и всего тела.

Морфологическая эволюция мозга на пути от обезьяны к неолантропу ныне в главных чертах известна (В. В. Бунак, Ю. Г. Шевченко, В. И. Кочеткова). Но эволюционная физиология высшей нервной деятельности на этом отрезке остается загадкой⁸. И пока она не будет разгадана, проблема начала человеческой истории останется нерешенной.

Прямыми биологическими предками человека были вымершие прямоходящие высшие приматы, а не павианы или шимпанзе, которых можно сейчас наблюдать и изучать. Но за неимением в наличии прямоходящих приматов ученые пытаются идти непосредственно от индивидуальной орудийной деятельности антропоидов или от стадной жизни собакоголовых обезьян к возникновению человеческой жизнедеятельности.

Но ведь и индивидуальная особь, и стадо могут оказаться совершенно неудачными исходными моделями.

Когда идут от индивидуальной особи, то наперед предполагают, что искомая особенность высшей нервной деятельности человека, проявляющаяся в труде, есть свойство каждой отдельной особи человеческого рода. Наблюдали, например, параллельное развитие одного детеныша шимпанзе и одного человеческого ребенка (Н. Н. Ладыгина-Котс). Но на деле детеныш шимпанзе

⁷ См. Е. И. Данилова. Эволюция руки в связи с вопросами антропогенеза. Киев, 1965.

⁸ См. «Философские вопросы физиологии высшей нервной деятельности и психологии». М., 1963, стр. 587—593.

был действительно один перед лицом среды, т. е. был связан со своим биологическим видом только аппаратом наследственности, а человеческий ребенок через общение с людьми и через их слова был с самого раннего возраста частицей человечества. Когда ставятся наблюдения и опыты над операционной или орудийной деятельностью шимпанзе, тут рассматривается особь наедине с предметом. Это так называемая праксеологическая точка зрения (Ж. Пиаже). Суть ее как сравнительно-психологического мнения: все индивиды данного вида, взятые каждый по отдельности, по своему эволюционному паспорту совершают такие-то действия, имеют такие-то способности образования навыков, решения практических задач, такие-то реакции на среду (в том числе на себе подобных). Но может ли она быть распространена также и на человеческий уровень эволюции; т. е., проанализировав древнее каменное орудие, можем ли мы обнаружить специфику человеческого мышления как мышления индивида наедине с предметом? Именно со стоящими на этой позиции советскими психологами солидаризуется Ж. Пиаже, считающий возможным «вывести» мышление ребенка из его индивидуальных прирожденных сенсо-моторных механизмов⁹. В действительности же из ситуации «особь — предметная среда» специфику человека не вывести: требуется найти специфические отношения и взаимодействия между особями.

Столь же безнадежна попытка Ю. И. Семенова положить в основу антропогенеза и социогенеза наблюдения над стадами-семьями гамадрилов в неволе¹⁰. Мало того, что собакоголовые — весьма далекая от человека ветвь приматов и что к тому же в неволе их стадные отношения глубоко деформированы. Вызывает возражения и тут мысль о переходе к человеку по прямой линии: путем укрепления или трансформации семейно-стадной структуры. Общество — не продолжение стада. В данном случае представляются более содержательными как раз наблюдения над группами шимпанзе, но сделанные на воле. Тут есть маленький намек на принципиально новые взаимоотношения индивида со своим видом. А именно Джейн Гудалл заметила, что шимпанзе кочуют обычно группами из пяти-шести особей; иногда в местах, обильных плодами, сбиваются в более обширные группы, достигающие 25—30 особей; когда же вновь расходятся в разные стороны малыми группами, то состав индивидов в любой из них оказывается уже не тем, каким был до временного скопления. Выходит, на всей территории обитания вида происходит медленная диффузия особей; малые группы, сливаясь временно в большие, постоянно тасуются. Но то, что у шимпанзе еле выражено,

⁹ Ж. Пиаже. Роль действия в формировании мышления. — «Вопросы психологии», 1965, № 6.

¹⁰ Ю. И. Семенов. Как возникло человечество. М., 1966.

ибо количественный диапазон от малой группы до большой незначителен, могло иметь у наших биологических предков, судя по некоторым археологическим свидетельствам, огромный размах: не было постоянных стад, а были то большие или меньшие скопления, то распадение их, может быть, даже на простые единицы, которые позже скоплялись где-нибудь и перемешивались с совсем другими особями. Вид выступал тем самым не только как наследственное единство, но и как реально тасующееся единство.

Пока это явление не будет всесторонне исследовано, говорить о биологических предпосылках социогенеза преждевременно.

Как раз при указанном типе внутривидового общения должны были сформироваться и специфические средства межиндивидуальной сигнализации. Отсюда ведет начало, может быть, самая трудная проблема — генезис второй сигнальной системы. Энгельс допускал возможность, что речь возникла задолго до общества. Конечно, это не может быть отнесено к членораздельной, синтаксически оформленной и передающей смысловую информацию речи. Такая речь немыслима до возникновения общества. На современном уровне языкознания и психологии речи гипотеза Энгельса может быть полезна как диалектическая заповедь изучать предысторию такой речи, т. е. нечто, лежащее между животными криками и человеческой членораздельной речью.

Когда Энгельс говорит, что на определенной ступени развития трудовой деятельности у неких высших обезьян возникла потребность что-то сказать друг другу, было бы смешным упрощением представлять себе это таким образом, что они стали говорить друг другу что-то о предмете труда или процессе труда. Нет, их отношения усложнились, понадобилось, например, сказать друг другу что-нибудь вроде генерализованного «нельзя», «фу». Тут нет еще одной из важнейших особенностей человеческой речи: реципрокности (обратимости). Отсюда еще очень и очень далеко до разговора. Между тем некоторые археологи считают, что само изготовление наидревнейших каменных орудий требует в качестве предпосылки способность рассказать друг другу словами, как это делается. Однако, даже если исключить участие унаследованного инстинкта (который заставляет, скажем, птиц изготавливать весьма сложные стереотипные гнезда), остается неучтенной роль показа и подражания: более многоопытный обивал камень, те, что помоложе, всматривались, а позже спонтанно повторяли сложную систему действий.

Можно предполагать, что необычайный тип межвидовых и внутривидовых контактов и отношений наращивал друг на друга разные генетические компоненты того, что позже станет речью. Сюда принадлежат эхолокационный механизм, интердективный ме-

ханизм¹¹. Все это относится еще к той предыстории речи, когда последняя, согласно глубокой концепции Л. С. Выготского, еще развивалась отдельно от предметного мышления, которое тоже имело свою собственную отдельную предысторию. Упомянутые механизмы характеризуют речь уже как средство общения, но не как средство сообщения чего-либо. Сделанные до сих пор попытки научного объяснения происхождения речи нельзя считать удавшимися. Привлечены ценные данные из ряда областей современной науки (В. В. Бунак, М. С. Войно, А. А. Леонтьев), но все-таки нет еще ни цельной теории, ни опоры на весь гигантский массив современных наук, которые могут быть мобилизованы для штурма одной из сложнейших проблем человековедения.

Для освещения проблемы с точки зрения физиологии решающее значение имеют следующие три задачи. Во-первых, необходимо познать механизм каких-то особых, высших, гипертрофированных тормозных возможностей и функций, которые существенно отличают ближайших предков человека, как и его самого, от предыдущего эволюционного ряда млекопитающих. Во-вторых, необходимо изучить и объяснить опять-таки совершенно небывалые в предыдущем ряду силу и размах имитативной функции центральной нервной системы. (Заметим, что и среди птиц обладающие повышенной имитативностью воробьиные в силу выгоды этой функции составляют две трети всех птиц на земле!) У предков человека повышенная имитативность, по-видимому, развивалась по трем направлениям: а) манипуляционная, б) мимическая и пантомимическая (жестикуляционная), в) вокативная. В-третьих, — и это самое трудное — необходимо суметь теоретически объяснить, как «срывные», «невротические» реакции, возникающие у животных при трудных состояниях нервной системы, могли становиться стойкими сигналами внутривидового и межвидового значения; иными словами — как биологически неадекватные, замещающие, побочные реакции, не несущие прямой адаптивной функции, оказались сырьем для нового уровня высшей нервной деятельности, для второй сигнальной системы.

Вот эти еще мало изученные физиологические явления представляют собой как бы один из двух уголков вольтовой дуги — таинства зарождения речи. А другой уголок — это столь же мало изученные элементарные клеточки человеческих умственных операций, в том числе и сочетаний речевых знаков: их называют бинарными структурами, парами, дипластиями. То, что А. Валлону и другим исследователям удалось выделить эту элементарную клеточку всякой духовной деятельности человека, можно по

¹¹ См. Б. Ф. Поршнев. Речеподражание (эхолалия) как ступень формирования второй сигнальной системы. — «Вопросы психологии», 1964, № 5; он же. Генетическая природа сознания (интердентивная функция речи). — В кн.: Проблемы сознания. Материалы симпозиума. М., 1966.

значению сравнить с открытием биологической клетки. Впрочем, дипластия в известном отношении еще сложнее и загадочнее. Это именно то, что возникло «в самом начале» и что глубоко противоположно мыслительной и речевой деятельности современного человека. Познание дипластии может опираться не на узкую базу сравнительной психологии, но лишь на широкий комплекс абстрактнейших и современнейших наук о языке и мышлении: логику, грамматику, структурную лингвистику, семиотику, абстрактную кибернетику. Однако всем им самим по себе совершенно недоступен генетический метод. Разве что у Соссюра или Ельмслева выступает в отвлеченной форме некий приоритет законов языка перед законами мысли. Отсюда еще очень далеко до единой материалистической науки о происхождении речи.

По Л. С. Выготскому, язык, вернее, речевые рефлексy первона- чально выступают только как средство социального общения, без всякой мыслительной функции. Речевые рефлексy, как обратимые рефлексy, при которых «раздражитель может становиться реакцией и наоборот», позволяют понять источник всего своеобразия поведения человека как общественного существа. «Речь и есть, — по словам Выготского, — система рефлексов социального контакта». Но в своем развитии эта система «интериоризуется», она становится глубочайшей сущностью человеческого сознания. Речь, бывшая первоначально только средством общения, позже становится «самым важным орудием нашей мысли». Сознательное, целенаправленное поведение Выготский интерпретировал как «удвоенный опыт». Приведя известное место из Маркса об отличии труда человека от «труда» пчелы, Л. С. Выготский писал: «Это бесспорное положение Маркса не означает ничего другого, кроме обязательного удвоения опыта». И далее пояснял: «Труд повторяет в движениях рук и в изменениях материала то, что прежде проделано в представлении работника как бы с моделями этих же движений и этого же материала. Вот такого удвоения опыта, позволяющего человеку развить формы активного приспособления, у животного нет. Назовем новый вид поведения — удвоенным опытом». Однако это относится уже не к генезису речи-мышления человека, а к готовому плоду развития, продукту превращения начальных ступеней речи в собственную противоположность¹².

Ничего более глубокого после Л. С. Выготского не было предложено. Его идеи по-прежнему представляются генеральной линией марксистской генетической психологии, в частности общей теории развития речи.

¹² См.: Л. С. Выготский. Сознание как проблема психологии поведения. — В сб.: Психология и марксизм. М., 1925; он же. Мышление и речь. — Избранные психологические исследования. М., 1956; А. А. Шейн. Ранние психологические исследования Л. С. Выготского. — «Вопросы психологии», 1965, № 6.

Однако сегодня уже недостаточно опереться на то или иное толкование отдельных высказываний Энгельса, как бы сами по себе они ни были важны, но необходимо выступать во всеоружии завоеваний широкого фронта сопряженных научных дисциплин. Ибо загадка речи — не побочная тема для сегодняшней научно-теоретической мысли в области человековедения, она находится, напротив, в самом центре этой области.

И для темы о начале человеческой истории проблема речи и языка также является в известном смысле ключевой ^{12а}.

6. КОНСТИТУИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ОБЩЕСТВА

Для теории социогенеза очень важно иметь отчетливое определение того, что мы будем называть обществом. Каков минимум обязательных признаков общества в широком смысле слова?

Думается, что таким искомым определением является основной закон исторического материализма — закон отношения общественного бытия и сознания, следовательно, наличие этих двух сторон и известного отношения между ними. Иными словами, неправомерно говорить об обществе там, где нельзя провести различие между базисом и надстройкой. В свою очередь, базис представляет двуединое целое: способ производства является диалектическим единством производительных сил и производственных отношений. Неправомерно говорить об обществе там, где их нельзя различить. В жизнедеятельности животного, даже самого высокоорганизованного, нет различия бытия и сознания, нет базиса и надстройки, как нет в его животнобразном труде ни малейших признаков производительных сил и производственных отношений, следовательно, и вообще производства.

В обществе сознание не абсолютно адекватно бытию. Иначе речь не шла бы и о каком-либо законе их взаимоотношения. Сфера общественного сознания всегда в чем-то противостоит сфере общественного бытия и лишь в конечном счете определяется последним. Это, разумеется, не значит, что обязательно должно быть налицо разделение физического и умственного труда, т. е. существование особого слоя людей, деятельность которых протекает только в сфере надстройки. Различие одного и другого можно представить себе в пределах деятельности того же самого человека, как ее разные моменты, этапы или компоненты. Сказанное выше означает лишь, что те теоретики социогенеза, которые не занимаются генезисом раздвоения базиса и надстройки, тем самым занимаются вовсе не социогенезом, а чем-то другим.

^{12а} См. Б. Ф. Поршнев. Антропогенетические аспекты физиологии высшей нервной деятельности и психологии. — «Вопросы психологии», 1968, № 5.

Пользование орудиями, т. е. овеществленным предшествовавшим трудом, будь то своим или чужим, служит материальной предпосылкой возможности досуга для жизнедеятельности сверх биологической. Но очень сложен вопрос, как эта возможность превращается в необходимость и действительность. Как известно, обособление непроеизводительных видов человеческой деятельности, в том числе умственной деятельности, от физической было одним из главных путей, по которым на протяжении тысячелетий подготавливался качественный скачок: раскол общества на антагонистические классы. Напомним лишь в связи с этим, что на самых древних ступенях классового образования обособлялись от трудящейся массы, как получатели даров, жертв и даней, именно те из общинников, кто владел колдовством и грамотой: складывалось жречество, чиновничество. Внутри общества возникал односторонний ток материальных благ — от тех, кто их добывал, к тем, кто их только потреблял.

Другая, не менее капитальная сторона проблематики социогенеза: общество никогда не существовало в единственном числе, всегда были множественность обществ и определенные отношения между ними, прежде всего — взаимное отличие, взаимное различие. Археолог вправе говорить об истории общества лишь с того времени, когда он может констатировать как-то территориально обособляющиеся друг от друга «культуры»¹³.

Правда, при этом легко впасть в ошибку. Наблюдаемые особенности, скажем, в изготовлении каменных орудий могут быть следствием всего лишь местных природных особенностей, как-то: наличных пород камня, пород употребляемых в пищу животных, природных условий добывания и хранения пищи, локальных телесных особенностей самих людей. Наконец, мы видели на примере птиц, что локальные различия жизнедеятельности возникают и у животных на экологической и этологической основе.

Как же уловить эту разницу между природными и социально-культурными отличиями? Мы видели, что птицы могут подражать особому напеву, возникшему у какой-либо особи, позднее по одинаковому напеву они тяготеют друг к другу, и в конце концов закрепляется стойкий локальный напев. Этнические культурные особенности формируются не так, не путем одного лишь внутреннего сцепления известного числа особей. В социальной жизни людей не меньшую роль играет обратная сторона: не притяжение к «своим», а обособление от «чужих». Различные особенности культуры, в том числе материальной, могут служить средством различения «чужих» и «своих». Вот это внешнее отношение, ничего общего не имеющее с изолированностью, с неведением друг о друге кочующих орд, и составляет вторую неотъемлемую

¹³ См. Б. Ф. Поршнев. Социальная психология и история. М., 1966.

черту самого общего определения общества и общественной истории.

Поэтому представляется очень важным научный спор между двумя советскими специалистами по палеолиту о том, с какой именно археологической эпохи можно уверенно констатировать одновременное существование разных культур на разных, смежных территориях. С. Н. Замятин обосновал теорию, что весь нижний и средний палеолит еще не знал этих локальных культурных различий; они возникают лишь в верхнем палеолите, да и то сначала лишь в виде двух, позже трех огромных культурно-географических массивов. В недавнее время с существенно иной, даже противоположной концепцией выступил А. А. Формозов. Он усматривает признаки локально-этнических культур уже в орудиях нижнего палеолита. Удалось ли А. А. Формозову опрокинуть построение своего маститого предшественника и учителя? Здесь не место разбирать по существу этот весьма квалифицированный профессиональный диспут. Но общий итог состоит в том, что в нем столкнулись два разных способа мышления о начале человеческой истории — естественнонаучный у С. Н. Замятина и чисто гуманитарный у А. А. Формозова. Последний обнаруживает этнические культурные отличия там, где натуралист нашел бы достаточные объяснения чисто природного характера. Поэтому думается, что величественный замысел покойного С. Н. Замятина, если и нуждается в частичных коррективах в связи с новыми данными, в своей основе останется опорой для дальнейших исследований проблемы начала человеческой истории.

7. НАКАНУНЕ НОВЫХ ОТКРЫТИЙ

Все сказанное выше в этой статье преследовало единственную цель: показать читателю, что проблема начала человеческой истории гораздо сложнее и неприступнее, чем обычно кажется. Непосредственный прогресс науки не достигается с помощью методологических раздумий. Но без них исследователь может оказаться дальнзорким или близоруким и не сумеет согласовать свои движения с действительными расстояниями. Не только дилетантам, но и специалистам проблема начала человеческой истории кажется лежащей почти под носом. Но протянутая рука хватается пустоту. Не только разгадки, но и загадки еще скрыты в предрасветном тумане. Чтобы сделать это ощутимым, я поставил выше так много вопросов и предложил так мало решений.

Но сама возможность продвинуть сегодня вопросы дальше, чем вчера, связана и с намечающимися новыми решениями и открытиями. О них все же необходимо кратко сказать в конце статьи. Мы близимся в науках о человеке к такому сдвигу, который можно сравнить с революцией в физике, развернувшейся

в первой половине XX в. Роль, аналогичную «атомному ядру», здесь сыграет «начало человеческой истории». Но сегодня это еще загадка.

Впрочем, существо загадки определилось более трехсот лет назад. Картезианство можно назвать «портом приписки» всей современной науки. Не по трусости, а по великой смелости ума Декарт разделил науку на «физику» и «метафизику», а говоря по-нашему — на естественные и гуманитарные науки. Всё, кроме человека, поддавалось (хотя бы в прозреваемой перспективе) материалистическому, строго детерминистскому толкованию, — всё, даже сложное поведение животных, которых Декарт в конечном счете считал возможным рассматривать как автоматы. Но человек оставался вне этого ряда. Вот за эту картезианскую головоломку и брались новые и новые ученые. В частности, материализм просветителей XVIII в. был прежде всего антикартезианством. Но какую цену платили эти материалисты, объявлявшие, что у животных чувства, разум и язык вполне подобны человеческим! Дарвинизм родился как могучая попытка решить ту же картезианскую проблему на неизмеримо более высоком уровне естествознания. Тайна перехода от животного к человеку в эволюционном ряду хотя отчасти и рассеялась, однако по существу вместе с тем еще более сгустилась. А взмах мысли русской физиологической школы от Сеченова до Павлова разве не был новой попыткой решения той же картезианской проблемы, — и снова с блистательным прогрессом знания, и снова с горьким разочарованием по самой сути! Примеров этих одновременно и успешных и захлебнувшихся атак можно привести еще немало. К их числу относится, несомненно, и современное увлечение «абстрактной» кибернетикой, пытающейся сомкнуть ряд при помощи таких понятий, как «информация» и «обратная связь», увы, опять-таки ценой распространения некоторой доли индетерминизма и антропоморфизма на толкование высшей нервной деятельности животных. Картезианская цитадель, подкопанная и обстрелянная, все еще стоит. Видимо, близок час ее сокрушительного взрыва.

Потому и требуется посмотреть на вопрос о границе между человеком и животным «из философского далека», что все распространенные в частных науках определения и критерии такой границы оказываются скользкими. Отличать ли человека от животного посредством категорий «труд» и «орудие труда», «язык» и «интеллект», «производство» и «общество», «этика» и «эстетика», — все эти категории растяжимы и могут быть применены к животным в несколько ином осмыслении.

Жестких отличий остается в конце концов очень немного, и они стоят словно где-то в стороне от столбовой дороги развития как гуманитарных наук, так и естествознания. А именно: в первых, люди — единственный вид, внутри которого системати-

чески практикуется взаимное умерщвление. Казалось бы, это — привесок к основным отличиям человека от животных. Но это не покажется привеском, если вспомнить, что рабство возникло как смягчение (первоначально — отсрочка) умерщвления пленника, а все последующие формы эксплуатации были ступенями смягчения рабства. Точно так же древнейшей формой жертвоприношений были человеческие, а все последующие виды жертв, подношений, даров были смягчениями и суррогатами человеческих жертв. Во-вторых, столь же странно на первый взгляд звучит утверждение, что люди — единственный вид, способный к абсурду, а логика и синтаксис — его «дезабсурдизация».

Зоопсихологи исследовали проблему «ошибки» и «заблуждения» у животных: животное может быть обмануто экспериментатором или природной средой, но его реакция сама по себе вполне рациональна. Человек же, согласно известной шутке, может быть определен не как *a tool-making animal*, а как *a foolery-making animal*. Обычно считается, что абсурд — это невыполнение правил логики; но ведь справедлива и инверсия, т. е. определение логики как невыполнения правил абсурда. На первый взгляд такое преобразование чисто формально, но на деле оно продуктивно, так как переносит вопрос о природе абсурда из плоскости логики в плоскость психологии и физиологии. Физиолог подставит сюда понятие стойкого ультрапарадоксального состояния центральной нервной системы. Психолог добавит: стойкость обусловлена действием такого сверхраздражителя, как человеческий фактор. Генетическая логика продолжит: формально такое явление может быть определено как дипластия. Дипластия и абсурд — тождественны. Все развитие человеческого мышления в ходе истории, как и в индивидуальной жизни, есть постепенное одоление начальной абсурдности. Вот в чем была ошибка в упомянутом рассуждении Веркора: начало — не обнаружение людьми своего незнания, а появление такового в активной форме заблуждения, абсурда.

Эти примеры подают надежду, что, когда удастся найти вполне однозначные, ничуть не двусмысленные и не скользящие рубежи между людьми и животными, именно они-то, наконец, и соединят обе рассеченные Декартом половины.

В предыдущих разделах я отвлекался от конкретного представления о надвигающейся научной революции в приматологии и антропологии. Вопросы методологические я рассматривал по мере возможности вне связи со своими специальными исследованиями. Но теперь необходимо сказать о них несколько слов. Более развернутое резюме читатель может найти в моей статье на эту тему в журнале «Вопросы философии» (1966, № 3).

Главные выводы можно свести к следующему. Фактический материал науки об антропогенезе, накопленный за сто лет после Геккеля и Фохта, заставляет вернуться к их представлению о том, что в филогении между обезьяной и человеком стоит не-

кое зоологическое недостающее звено: животные, не являющиеся ни обезьянами, ни людьми. Возрождение этой коренной идеи дарвинизма приводит к тому, что археоантропы (обезьянолюди, питекантропы) и палеоантропы (неандертальцы) изымаются из семейства гоминид (людей) и вместе с австралопитеками включаются в особое, отличающееся от симиид (обезьян) и гоминид (людей) семейство: прямоходящих высших приматов (троглодитид). От всех четвероруких обезьян они отличаются двуногостью. От людей — полным отсутствием членораздельной реципрокной речи и соответствующих образований в коре головного мозга. Экологически эти прямоходящие высшие приматы отличаются и от обезьян, и от людей совершенно специфическим и профилирующим добавком к растительной пище: трупоедением. Они ни в малой мере не были охотниками. Неприспособленность их анатомии (зубов и ногтей) к освоению туш крупных травоядных вызвала биологическую адаптацию в виде использования и изготовления для этой цели режущих, колющих и скребущих камней. Последние являются не более чем биологической предпосылкой для возникновения человеческих орудий труда на последующем уровне филогении. В процессе расщепления и обивания камней отлетали раскаленные крупницы и, при соприкосновении с растительным настилом в логове, подчас порождали тление, — однако и это было не более чем далекой биологической предпосылкой будущей утилизации огня человеком. Головной мозг прямоходящих высших приматов неуклонно разрастался в эволюции от австралопитеков до неандертальцев, очевидно, в связи с необычайно сложными адаптивными задачами: принципиально новыми требованиями сосуществования с разнообразными видами животных, в том числе с хищными, и принципиально новыми формами контактов и отношений с себеподобными — спорадическими скоплениями и распадами скоплений. Для высшей нервной деятельности этих прямоходящих приматов, вероятно, характерно развития повышенной имитативности, повышенной тормозимости, некоторых специфических подкорковых реакций и, шире, неадекватных, или замещающих, рефлексов.

Если принять, что все это действительно так, начало человеческой истории круто переносится во времени сравнительно с принятой сейчас датировкой. Неоантроп, т. е. «человек разумный», появляется всего 35—40 тысяч лет тому назад, а его исторический марш, обгоняющий темпы изменения окружающей природы, т. е. обретающий относительное самодвижение (при неизменности телесной организации), начинается и того много позже. Следовательно, при изложенных представлениях исторический процесс радикально укорачивается. Эти недолгие тысячи лет человеческой истории по сравнению с масштабами биологической эволюции можно приравнять к цепной реакции взрыва. История — взрыв. В ходе ее сменилось всего несколько

сот поколений. Толчком к взрыву, очевидно, послужила бурная дивергенция двух видов — палеоантропов и неоантропов, стремительно раздвигавшихся на таксономическую дистанцию подвидов, видов, родов, семейств, наконец, на дистанцию двух различных форм движения материи. Именно о природе этой дивергенции мы сейчас знаем меньше всего. Она и есть «атомное ядро», тайну которого надлежит открыть. Ясно лишь, что, будучи процессом биологическим, она в то же время имела нечто, отличающее ее от всякой другой дивергенции в живой природе. В частности, похоже, что здесь не было поначалу выраженного размежевания ареалов. Может быть, напротив, в пределах общего ареала происходило крутое размежевание экологических ниш. В таком случае между обоими дивергирующими видами должны были сложиться крайне сложные и напряженные отношения. Допустимо представление о борьбе за доминирование, принимавшей разные формы на протяжении каменного века.

Ныне перед наукой забрезжила надежда на возможность форсировать познание многого в этих тайнах, актуальных, но захороненных в древних толщах земли. Вторая половина надвигающейся революции в приматологии и антропологии состоит в пересмотре вопроса о времени исчезновения реликтовых прямоходящих высших приматов. Замечено, что многие верхнепалеолитические статуэтки и изображения людей носят неандерталоидные черты. Неолитические слои несут попутно и грубые орудия, характерные для прямоходящих высших приматов, а изредка — выраженные неандертальские костяки. Последние подчас обнаруживаются в слоях энеолита, бронзы и позже. Оказалось также, что богатейшие описательные сведения о существах вроде палеоантропов, вероятно именно об их реликтах, можно извлечь из фольклора и мифов чуть не всех народов мира. Но мало того, эта нить признаков контакта людей с живыми человекозверями тянется и до наших дней. Сбор ориентировочной информации в некоторых географических областях, в том числе в нашей стране, и ее научный анализ продвинуты уже довольно далеко¹⁴. Успех полевых исследований, изучение живых реликтов прямоходящих высших приматов на воле или в неволе сразу распахнули бы занавес перед многими из перечисленных выше фундаментальных проблем.

Однако не следует обольщаться насчет легкости задачи. Ведь если бы дело было просто — оно давно было бы сделано. Пока что предварительные исследования больше всего прояснили именно трудности задачи. Тот, кто захочет достигнуть цели, должен будет потратить годы упорного и четко нацеленного труда.

Такова перспектива новых открытий, новых исследований.

¹⁴ См. Б. Ф. Поршнев. Современное состояние вопроса о реликтовых гоминоидах. М., 1963; он же. Борьба за троглодитов. — «Простор», 1968, №№ 4, 5, 6, 7; он же. Проблема реликтовых палеоантропов. — «Советская этнография», 1969, № 2.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДОКАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ ФОРМАЦИЙ¹

М. А. Виткин

Изложению нашей темы следует предпослать рассмотрение эволюции взглядов основоположников марксизма на сущность всемирно-исторического процесса, характер его эпох, принципы периодизации. Это представляется необходимым, так как способствует выработке правильного подхода к ряду актуальных проблем исторического знания наших дней. В целом в данной статье мы рассмотрим три вопроса, и сама статья соответственно распадается на три части. В первой из них рассматриваются некоторые черты философско-исторической концепции основоположников марксизма в их развитии, начиная с 50-х и до 80—90-х годов XIX в. Вторая часть посвящена оживленно дискутируемой в настоящее время проблеме общественного строя стран Древнего Востока. Наконец, в третьей речь идет об одном из исторических вариантов античной формации.

Согласно взглядам Маркса и Энгельса, ни в буржуазном обществе, ни когда-либо прежде изолированный индивид, одиноко противостоящий природе, не был субъектом исторического процесса. Буржуазное общество создает лишь видимость обособленности индивида, являясь на деле обществом наиболее развитых социальных связей — вещных связей². Что же касается добуржуазной истории, то для понимания взглядов на нее Маркса в 50—70-х годах XIX в. необходимо принять во внимание сле-

¹ Некоторые стороны затронутых в данной статье вопросов более подробно рассмотрены автором в его статьях «Первичная общественная формация в трудах К. Маркса» («Вопросы философии», 1967, № 5), «Проблема перехода от первичной формации ко вторичной» (сб. «Проблемы истории докапиталистических обществ», кн. 1. М., 1968).

² См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 46, ч. I, стр. 101.

дующее положение: «По мере того как мы углубляемся в историю, тем в большей степени индивид, а следовательно, и производящий индивид, выступает несамостоятельным, принадлежащим к более обширному целому: сначала еще в совершенно естественной форме в семье и в семье, развившейся в род; затем в возникающем из столкновения и слияния родов обществе в его различных формах»³.

Таким образом, история производящих индивидов, по Марксу, не знает Робинзонов, а выступает сначала как история семьи, рода и т. п., а затем уже и общества. Подлинное историческое развитие имеет место в обществе и благодаря обществу, ибо только в обществе индивид выходит за границы своего природного существования и становится социальным существом. «Общество не состоит из индивидов, а выражает сумму тех связей и отношений, в которых эти индивиды находятся друг к другу. [Рассуждать подобно Прудону] равносильно тому, как если бы кто-нибудь захотел сказать: с точки зрения общества не существует ни рабов, ни граждан; и те и другие — люди. На самом же деле людьми они являются вне общества. Быть рабом и быть гражданином — это общественные определения, отношения человека А к человеку В. Человек А как таковой — не раб. Он — раб в обществе и посредством общества»⁴.

Посмотрим, как в этот период понималась Марксом и Энгельсом дообщественная история. Она сводится к возникновению родов, общин, племен⁵ в результате физического разрастания отдельных семей или более или менее случайного соседства первоначально разобщенных семей. Поскольку в исторической науке вплоть до 70-х годов XIX в. древнейшей формой семьи считалась патриархальная семья (подобная изображенной в библии), предшествующее возникновению общества историческое состояние человечества называлось *патриархализмом*, *патриархальным*. В этой истории действуют индивиды как таковые, т. е. определенные природные существа. Различия между ними, а потому и связь чисто природного происхождения: муж и жена, родители и дети и т. д. Структура общины, рода и т. д. лишь воспроизводит в расширенном виде структуру семьи. Далее изолированного существования общин здесь дело не идет; нарушение изоляции, развитие межобщинных контактов означает начало перехода

³ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XII, ч. I, стр. 174. Во 2-м издании сочинений Маркса и Энгельса (т. 12, стр. 710) термин «*Gemeinwesen*» переведен как «община». Под «*Gemeinwesen*» Маркс понимал самые различные формы общности людей от семьи до общества. Из контекста фразы следует, что здесь речь идет об образовании общества.

⁴ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 46, ч. I, стр. 214. 1953, S. 176.

⁵ В науке первой половины XIX в. эти понятия очень сближаются; см. М. О. Косвен. Проблема доклассового общества в эпоху Маркса и Энгельса. — «Советская этнография», 1933, № 2, стр. 36.

к обществу. В целом — это период естественной истории, пребывающей вне того пункта, где начинается действительное развитие.

Как полагали в 50—70-х годах XIX в. Маркс и Энгельс, действительное историческое развитие начинается с переходом от изолированного существования общин к обществу. Общественные отношения развиваются тогда, когда возникает товарный обмен продуктами общинного труда.

«Различные общины, — писал К. Маркс, — находят различные средства производства и различные жизненные средства среди окружающей их природы. Они различаются поэтому между собой по способу производства, образу жизни и производимым продуктам. Это — те естественно выросшие различия, которые при соприкосновении общин вызывают взаимный обмен продуктами, а следовательно, постепенное превращение этих продуктов в товары. Обмен не создает различия между сферами производства, но устанавливает связь между сферами, уже различными, и превращает их в более или менее зависимые друг от друга отрасли совокупного общественного производства»⁶. На основе слияния общин происходит отделение ремесла от земледелия, возникновение города как промышленного (ремесленного), торгового и политического центра. Так благодаря товарному обмену возникает общество, а с ним и подлинно историческое развитие.

Таким образом, общественному производству, согласно взглядам автора «Капитала», предшествует семейное и общинное производство. Слияние общин в общество вызывается товарным обменом. Без производства нет обмена, но и без обмена нет общественного производства. Экономика, какие бы различные исторические формы она ни принимала, является всегда единством двух существенно различных функций — производства и обмена материальных жизненных благ. Поэтому история общества есть история его экономического становления; последовательные ступени общественной эволюции суть этапы экономической эволюции. «В общих чертах азиатский, античный, феодальный и современный, буржуазный способы производства можно обозначить, как прогрессивные эпохи экономической общественной формации»⁷. Буржуазное общество, т. е. общество абсолютной формы товарного производства, и образует общественно-экономическую формацию по преимуществу.

Что же касается форм, предшествующих капиталистическому производству, то в них «преобладают еще естественные отношения»⁸. К. Маркс характеризует эти отношения как личностные в отличие от вещных связей при буржуазном строе: «Отношения

⁶ К. Маркс. Капитал, т. I. — К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 23, стр. 364.

⁷ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 13, стр. 7.

⁸ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 12, стр. 733.

личной зависимости (вначале совершенно первобытные) — таковы... первые формы общества...»⁹. Вещные связи людей в добуржуазных обществах существуют (иначе они не были бы обществами), но господство, хотя и ослабевающее от эпохи к эпохе, принадлежит естественным связям. «При древне-азиатских, античных и т. д. способах производства превращение продукта в товар, а следовательно, и бытие людей как товаро-производителей играют подчиненную роль, которая, однако, становится тем значительнее, чем далее зашел упадок общинного уклада жизни»¹⁰. Предшествующие капитализму формации в различной степени имеют тенденцию превратиться в «чистое» общественно-экономическое образование, но каждая из этих формаций представляет картину сложного и противоречивого единства личностных и вещных, естественных (первобытных) и общественных (экономических, товарно-денежных) начал, при господстве первых над вторыми.

В докапиталистической истории общества при господстве личностных отношений производственная жизнь людей характеризуется преобладанием архаических форм коллективной собственности на основные средства производства (т. е. исторически исходным единством производителя со средствами производства, опосредованным принадлежностью производящего индивида к той или иной исторической форме общности). «Первоначальной формой этой собственности является... *непосредственная общая собственность (восточная форма, модифицированная у славян; развитая до противоположности, но все же являющаяся еще скрытой, хотя и чреватой противоположностями, основой античной и германской собственности)*»¹¹. Частная собственность из подчиненного отношения в добуржуазных формациях превращается в безраздельно господствующее, как только в результате решающих успехов товарного производства происходит отделение производителя от основных средств производства (земли, главным образом), так что рабочая сила и средства производства выступают лишь формами инобытия вещи, воплотившей в себе общественную связь, т. е. денег.

Изложенное выше понимание истории общества характеризует взгляды Маркса, относящиеся к 50—70-м годам прошлого столетия. Мы видим, что в это время проблема соотношения естественного и общественного во всемирной истории получает в философско-исторической концепции Маркса такое решение:

а) человечество проходит в своем развитии период естественной дообщественной эволюции (патриархальная первобытность);

⁹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 46, ч. I, стр. 100—101.

¹⁰ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 23, стр. 89.

¹¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 46, ч. I, стр. 487.

б) на смену первобытному состоянию приходит действительное историческое развитие, или история общества. История общества выступает как целый ряд последовательных образований (формаций), из которых лишь новейшее характеризуется полным торжеством собственно общественных, вещных отношений над естественными, личностными отношениями.

Как, к примеру, соотносятся личностное (естественное) и социальное начала в азиатской истории?

Для Маркса и Энгельса бесспорным является тот факт, что уже в самую седую древность на Востоке имел место межобщинный товарный обмен. Комментируя мысль Маркса о том, что внутриобщинный обмен — явление в истории довольно позднее и что первоначально обмен возникает там, где приходят в соприкосновение различные общины, Энгельс писал: «Начало же обмена товаров относится ко времени, которое предшествует какой бы то ни было писаной истории и уходит в глубь веков в Египте по меньшей мере за две с половиной, а может быть и за пять тысяч лет, в Вавилонии же за четыре-шесть тысяч лет до нашего летосчисления»¹². Здесь, на Востоке, как всегда и всюду при переходе от варварства к цивилизации, обмен не вызывает различий между патриархальными ассоциациями индивидов (патриархальные семьи, племена, общины и т. п.); обмен — результат естественно возникших различий между ними, он способствует установлению связи между сферами, уже различными. И все-таки обмену не дано сыграть до конца своей общественно созидательной роли, как бы велико ни было его цивилизующее значение. Несмотря на раннее и весьма интенсивное развитие обмена, *не* вещная связь является решающим фактором интеграции азиатских общин.

Действительная и стабильная связь на Востоке опирается не на обмен, предполагающий различия между элементами формирующейся системы, а на наличие одинаковых потребностей у общин, семей и т. п. (например, потребности в орошении земли). Обмен не вызвал слияния общин или семей, а для достижения всеобщего интереса требуется объединение усилий отдельных общин. Целостность народной жизни задается возникающим над общинами «объединяющим единым началом» (Маркс). Это «единое начало» в основных азиатских формах порождается самим миром патриархальных общин и выступает как особая историческая ступень патриархализма. «... Объединяющее единое начало представлено одним главой важнейшей в племени семьи или же объединяющим единым началом является связь отцов семейств между собой»¹³, — писал К. Маркс. Преследуя всеобщий интерес, патриархальная власть, поначалу отечески

¹² К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 25, ч. II, стр. 475.

¹³ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 46, ч. I, стр. 464.

заботливая, постепенно приходит в антагонистические противоречия с особыми интересами общин и постольку из слуги общества превращается в господина над ним. Патриархальная власть «священного единства», противопоставляющего себя обществу, выступает уже как государство, правда, как еще совершенно примитивное государство¹⁴.

Если учесть, далее, что, согласно взглядам Маркса и Энгельса, патриархальные отношения в любой форме являются предпосылкой естественного единства коллектива производителей с землей, т. е. коллективной собственности на землю¹⁵, то государство, как патриархальную власть над общинами, следует рассматривать верховным собственником всей земли, причем собственность государства на землю здесь есть лишь способ, каким реализуется коллективная (общинная) собственность на землю. «Эта форма, в основе которой лежит то же самое основное отношение [т. е. общая собственность на землю], сама может реализовываться самым различным образом. Например, ей нисколько не противоречит то обстоятельство, что, как в большинстве основных *азиатских* форм, *объединяющее единое начало*, стоящее над всеми этими мелкими общинами, выступает как *высший собственник* или *единственный собственник*, в силу чего действительные общины выступают лишь как *наследственные владельцы*»¹⁶. Государственная собственность на землю делает государство обладателем прибавочного продукта в виде ренты-налога.

Стремление государства на Востоке к подавлению различий между общинами и к присвоению прибавочного продукта подрывает основу обмена и вызывает натурализацию хозяйственной жизни. Лишь при древнеазиатских способах производства наблюдается развитие обмена¹⁷; оформившееся же состояние такого общества Маркс помещал иногда вне истории обмена как такового¹⁸.

В итоге мы видим, что история Востока представляется Марксу и Энгельсу в 50—70-х годах XIX в., подобно всей последующей добуржуазной истории, борьбой двух начал — вещного и личного, борьбой, которая в данном случае заканчивается торжеством личностных (государственно-патриархальных) отношений.

С конца 70-х годов XIX в. материалистическое понимание истории получило мощный импульс для своего дальнейшего развития и обогащения благодаря исследованиям Л. Г. Моргана и др. Морган открыл «древнее общество» там, где до него видели

¹⁴ См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 20, стр. 152, 184, 186.

¹⁵ См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 46, ч. I, стр. 462—463.

¹⁶ Там же, стр. 463.

¹⁷ См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 23, стр. 89.

¹⁸ См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 29, стр. 257.

естественное состояние. Он сумел доказать общественный характер первобытной истории, обнаружив сложную родоплеменную систему чисто личных отношений дикарей и варваров. Теперь, после открытий Моргана, Маркс противопоставляет личностное и вещное уже не как естественное и социальное, а как две формы социального. Представление о социальном как процессе зарождения вещных связей и их неуклонного развития заменяется взглядом, согласно которому эпохе вещных отношений предшествовала эпоха личностных социальных связей. В марте 1881 г. в черновых набросках письма к В. И. Засулич К. Маркс пишет о двух больших социальных формациях земного шара — о «первичной», или «архаической», и «вторичной»¹⁹. Та и другая, в свою очередь, образуют ряд обществ. Так, «вторичная» формация, эквивалентом которой у Энгельса является «цивилизация», охватывает античность, феодализм и капитализм. Цивилизация, по Энгельсу, — это эпоха товарного производства, принимающего различные исторические формы²⁰.

Архаическая формация является эпохой господства личностных связей. Прежнее отождествление личностных и естественных связей становится невозможным. Уже в своей первой исторической форме в качестве родовых личностные отношения выступают как животные связи предков человека, модифицированные в социальные.

Но если родовые связи не являются естественными, то тем более таковыми не могут быть азиатские формы личностных отношений, пришедшие на смену родовым связям. Система сельских общин типа древнеазиатской представляет собой общество, которое находится на последнем этапе первичной формации и характеризуется каким-то особым типом личностных связей (не естественных и не родо-племенных), — так следует, по-нашему мнению, интерпретировать проблему азиатского способа производства, как она встала перед Марксом после ознакомления с открытиями Моргана.

В работах Маркса и Энгельса мы не находим развернутой характеристики личностных отношений Востока. Тем не менее имеются очень важные замечания классиков марксизма-ленинизма, позволяющие судить об их принципиальном подходе к вопросу о природе восточного деспотизма. В марте 1881 г. в упомянутом уже наброске письма к Засулич Маркс записал по поводу «одной характерной черты» земледельческой общины: «Это — ее изолированность, отсутствие связи между жизнью одной общины и жизнью других, этот *локализованный микрокосм*, который не повсюду встречается как имманентная характерная черта этого типа, но который повсюду, где он встречается, воздвиг над общи-

¹⁹ См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 19, стр. 400—421.

²⁰ См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 21, стр. 173—178.

нами более или менее централизованный деспотизм»²¹. Здесь обращает на себя внимание выдвигание на первый план «локальных», «территориальных» характеристик для объяснения деспотии.

Настоятельная потребность в раскрытии сущности азиатского общества и соответствующих стадийных состояний общества в других частях света состоит, по-видимому, в том, чтобы уяснить себе доминирующее влияние локальных связей на строй общества. Следует посмотреть, не дает ли такой подход к рассмотрению системы сельских общин более или менее удовлетворительного объяснения характерных черт этого общественного состояния.

Вообразим себе, что базу рассматриваемого общества составляет позднейший тип сельской общины — земледельческая община, блестящий теоретический анализ которой дан Марксом в черновых набросках письма к Засулич. Тогда оправдание нашего выбора будет состоять в правомерности вообще логического метода научного рассмотрения. Характерной чертой такой общины является, как мы видели выше, ее изолированность. Несмотря на дуализм в структуре общины, частная собственность не разложила еще общественной собственности на пахотную землю, а сочетание земледельческого и ремесленного труда превратило ее в самодовлеющее хозяйственное целое, «локализованный микрокосм».

Каждая община поэтому приобретает свои средства к жизни более в обмене с природой, чем в сношениях с другими общинами. Способ производства каждой из общин не содержит в себе необходимости межобщинных связей, а, наоборот, обособляет одну общину от другой, вызывает взаимную отчужденность одинаковых интересов. Общественная связь как межобщинная не дана господствующим в них способом производства, она еще невозможна как экономическая связь взаимозависимых хозяйств в цивилизованном обществе, основанном на разделении труда и обмене. «Таким образом, — писал в 1882 г. Энгельс в работе «Франкский период», — народ растворился в союзе мелких сельских общин, между которыми не существовало никакой — или почти никакой — экономической связи, так как каждая марка удовлетворяла свои потребности собственным производством, а отдельные соседние марки производили к тому же почти в точности те же самые продукты. Обмен между ними был поэтому почти невозможен»²². В. И. Ленин охарактеризовал азиатский деспотизм как «государственный строй», при котором «в экономике... преобладают совершенно патриархальные, докапиталистические черты и ничтожное развитие товарного хозяйства и классовой дифференциации»²³.

²¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 19, стр. 405.

²² Там же, стр. 496.

²³ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 266—267.

В то время как в решении внутренних вопросов своей жизни каждая община поистине всесильна, перед лицом внешнего мира обнаруживается полная беспомощность этого архаического союза. Внешний мир выступает в качестве враждебной, полной злокозненных умыслов силы, причем в весьма различных формах — то в виде воинственной коалиции соседних общин, то в виде войска кочевников-завоевателей или пиратского флота, то в виде грозной природной стихии, например реки и т. д. Именно эта угроза быть раздавленными внешним миром делает жизненной необходимостью общение аграрных общинных миров.

Какая-то форма общения, следовательно, должна быть найдена. Ясно в то же время, что в ее основе не могут лежать ни родственные, ни экономические связи. Единственное, из чего может исходить способ общения изолированных общин, так это из факта их пространственной близости, одинаковой географической локализации, элементарного, территориального соседства. Этот способ общения может реализоваться лишь путем возникновения такой особой силы, которую каждая из общин имеет над собой и через отношение к которой общины обретают отношение друг к другу. «Вследствие такого состава народа только из мелких общин, экономические интересы которых были, правда, одинаковые, но именно поэтому и не общие, условием дальнейшего существования нации становится государственная власть, возникающая не из их среды...»²⁴. Отсутствие непосредственной связи компенсируется возникновением «объединяющего единого начала».

Но это «единое начало» по необходимости превращается в деспотическую власть. Изолированность и ничтожность самого по себе каждого элемента общественного здания, враждебная отчужденность их одинаковых интересов, одинаковый уровень социальных отношений по всей стране превращают общественную власть во всесильное, во все поры общества проникающее верховное начало, которое вторгается в духовный мир, хозяйственную жизнь и имущественные отношения подданных. Собственность общины на землю из естественной формы обеспечения производителя средствами существования превращается лишь в официальный предлог для фискальных требований. Собственность общины на землю в принципе совместима с правом ее отчуждения за мзду; при всей нераспространенности такой практики каждый отдельный случай не должен противоречить налоговой политике правительства. Акты «купли-продажи» земли при индивидуальном хозяйственном использовании ее в земледельческой общине могут вызвать у наблюдателя представление о «частной собственности». Общественный фонд земель сосредоточивается в руках власть предержащих. Его хозяйственное использование

²⁴ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 19, стр. 496.

осуществляется, например, с помощью переселения целых общин или привлечения к работе избыточного населения общин, реже военнопленных. Формы использования таких производителей обнаруживают большое разнообразие исторического и местного характера. С высоты европейского опыта разнообразные формы эксплуатации на Востоке могут быть истолкованы то как «рабство», то как «феодализм» или даже «капитализм». В целом государство противостоит общинам и все более их эксплуатирует²⁵.

Государственная власть древневосточного общества построена иерархически. Большой (пропорционально размерам страны) объем одинаковых дел, социальная стереотипность любой произвольно выкроенной части страны вызывают существование особых и одинаковых функций, по отношению к которым всеобщее возможно лишь как нечто над ним стоящее и потому стремящееся принять форму пирамиды, на вершине которой стоял бы один человек — деспотическая личность. Власти деспота приписывается сакральный характер. В рассматриваемом нами обществе, реальная общественная связь которого воплощена в деспоте, происходит превращение его персоны в чувственно-сверхчувственную личность как единственную общественную личность, в личность-общество, а самого общества — в способ существования деспотической личности. Отсюда и сакрализация власти.

Земледельческий труд, вызывающий взаимное разобщение производителей, с одной стороны, и всемогущий правящий слой, монополизирующий в своих руках общественные функции, с другой — такова, как видим, структура восточных обществ аграрной бюрократии.

Однако в реальной истории народов такие состояния, которые бы полностью соответствовали приведенному выше описанию «азиатского способа производства», наверное, нельзя найти. Не говоря уже о географических модификациях, нужно учитывать, что сельские общины образуют ряд последовательных форм развития. В одних аграрных общинах еще живучи узы родства, для других более обычного характерно производство для обмена. Это, в свою очередь, порождает различные стадии развития общества в целом, а также гибридные состояния его. Пестрота форм, далее, вытекает из разнообразия способов объединения общин (результат «войны всех против всех», порабощение кочевниками, уния городов-государств и т. д.).

Необходимо подчеркнуть, что местная связь не довольствуется господством на последнем этапе архаической формации. Дело в том, что двумя основными типами хозяйства, над которыми смыкаются ее узы, являются архаическая аграрная община и «цивилизованная» крестьянская парцелла, возникающая из разложе-

²⁵ См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 19, стр. 496.

ния общин²⁶. Даже цивилизованная страна с крестьянским населением может дать «вспышку» местной связи. Чтобы это могло произойти, требуется определенная историческая среда, изучение которой, надо полагать, составляет важную задачу исторической науки.

Поэтому важно учитывать роль местных связей при изучении истории всех докапиталистических общественных формаций (не только древневосточной). Об этом свидетельствует, например, социальный опыт афинского народа. Попытка преодолеть восточное состояние, предпринятая афинянами, принадлежит к числу важнейших страниц античной истории.

Афиняне населяли отсталую периферию микенского мира, общественный строй государства которого многими чертами напоминал древневосточные порядки. Особая историческая среда позволила афинянам стать в авангарде всемирно-исторического процесса. К условиям этой среды относятся: крушение под ударами завоевателей-дорий в конце II тысячелетия до н. э. микенских царств, чиновничий аппарат которых препятствовал развитию частной инициативы подданных; исключительное разнообразие географических условий, труда и быта населения, благоприятствовавшее умножению потребностей и способностей людей, средств и способов труда; нарастающее давление населения на производительные силы, порождаемое, во-первых, естественным приростом населения в условиях низкого плодородия почвы и, во-вторых, большим притоком в Аттику беженцев из других областей Греции, подвергшихся, в отличие от Аттики, дорийскому завоеванию и разорению.

Сочетание этих и некоторых других оригинальных обстоятельств толкнуло многих пришлых людей, а также избыточное земледельческое население страны к занятию ремеслом. Город Афины с начала I тысячелетия до н. э. превращается в значительный в эллинском мире центр ремесленного производства²⁷. Ремесло отделяется от земледелия, что вызвало к жизни развитие торговли как внутренней, так и внешней. Причем в стране с преобладанием сельского населения, но расположенной на благоприятном для развития судоходства берегу Эгейского моря особенно успешно развивалась внешняя торговля. Формируется купечество. В Аттике в начале I тысячелетия до н. э. сложилось в своей первоначальной исторической форме товарное производство — простое товарное производство, в первую очередь, города.

²⁶ Их «главное, внутреннее сходство состоит в существовании замкнутого натурального хозяйства, которое повсюду порождает деспотическую исполнительную власть» (Н. Б. Тер-Акопян. Развитие взглядов К. Маркса и Ф. Энгельса на азиатский способ производства и земледельческую общину. — «Народы Азии и Африки», 1965, № 2, стр. 81).

²⁷ Развитие атического ремесла прослеживается по данным систематических раскопок афинского Керамика (см. Kerameikos. Ergebnisse des Ausgrabungen, Bd. I—IV, 1939—1959).

Развитие товарного обмена сделало крушение коллективной собственности на землю лишь вопросом времени. В настоящий момент фактические сведения о ходе этого процесса по-прежнему крайне скудны.

Туман неопределенности над историей Атики несколько рассеивается к концу VII в. до н. э., когда перед нами выступает страна с уже одержавшей решающие успехи частной собственностью на землю и с далеко зашедшей на этой основе имущественной дифференциацией. Связывающаяся с рынком земельная аристократия становится одновременно денежной аристократией. Ввиду того, однако, что хозяйственной основой жизни народа продолжает оставаться земледелие, наблюдается и встречный процесс: богатеющее на торговле купечество по мере торжества частной собственности на землю получает возможность превратиться в земельного собственника. Решающий признак, по которому в этом обществе выделяется аристократия, — богатство, а двумя его основными формами выступают деньги и земля.

В качестве синтетического выразителя успехов товарного производства аристократическое сочетание земельного и денежного богатств грозной силой нависло над крестьянской парцеллой, последним осколком когда-то всемогущих архаических форм единства производителя со средствами производства. Растущее малоземелье и безденежье крестьянских хозяйств при политическом засилье аристократии (архонтат) приближали полную экспроприацию крестьянства.

Крестьянской реакцией на успехи товарного производства выступила раннеаттическая тирания. Реальная угроза экспроприации сделала возможной гражданскую войну крестьянства против аристократии. Именно на этом фоне брожения среди крестьян и замелькали фигуры афинских претендентов в тираны. Дело в том, что политическое влияние парцелльного крестьянства на общественный строй весьма однозначно. «Парцельные крестьяне, — писал К. Маркс, — составляют громадную массу, члены которой живут в одинаковых условиях, не вступая, однако, в разнообразные отношения друг к другу. Их способ производства изолирует их друг от друга, вместо того чтобы вызывать взаимные сношения между ними. . . Их поле производства, парцелла, не допускает никакого разделения труда при ее обработке, никакого применения науки, а следовательно и никакого разнообразия развития, никакого различия талантов, никакого богатства общественных отношений. Каждая отдельная крестьянская семья почти что довлеет сама себе, производит непосредственно большую часть того, что она потребляет, приобретая таким образом свои средства к жизни более в обмене с природой, чем в сношениях с обществом. . . между парцельными крестьянами существует лишь местная связь . . . тождество их интересов не создает между ними никакой общности, никакой национальной связи, никакой политической

организации... Они поэтому неспособны защищать свои классовые интересы от своего собственного имени... Они не могут представлять себя, их должны представлять другие. Их представитель должен вместе с тем являться их господином, авторитетом, стоящим над ними, неограниченной правительственной властью, защищающей их от других классов и ниспосылающей им свыше дождь и солнечный свет. Политическое влияние парцельного крестьянства в конечном счете выражается, стало быть, в том, что исполнительная власть подчиняет себе общество»²⁸.

Могут сказать, что рассуждения Маркса относятся к французской жизни XIX в., а поэтому не имеют никакого отношения к Греции VII в. до н. э. Но это не так. Анализ Маркса показывает, что крестьянская парцелла в своих основных чертах (отсутствие разделения труда; изолированное противостояние природе; местная связь между хозяйствами; натуральность производства; тоталитаристский политический идеал) остается, как правило, неизменной в самых разнообразных исторических условиях. Раз возникнув, она продолжает сохранять девственный облик вплоть до своей гибели. Она может быть только такой или никакой. Возникает парцелла уже на последнем этапе архаической формации. Характеризуя дуализм земледельческой общины, Маркс писал: «Собственность на землю общая, но каждый крестьянин, подобно мелкому западному крестьянину, обрабатывает свое поле своими собственными силами»²⁹. В дальнейшем парцелла проходит через всю историю цивилизации, включая античность, и оказывает свое влияние, иногда решающее, на общественный строй. Вот почему нет ничего принципиально невозможного в том, чтобы подойти к рассмотрению раннеаттической тирании как к оригинальной исторической форме проявления господствующего влияния местных связей на строй общества, как к цивилизованной деспотии.

Древние авторы, включая и Аристотеля, не увидели социальных корней тирании. «Такая тирания, — писал Аристотель, — возникает всегда против желания подданных: никто из свободных людей не согласится добровольно подчиняться такого рода власти»³⁰. Представления Аристотеля с теми или иными оговорками придерживаются и некоторые современные исследователи. Но еще в прошлом веке В. Бауер писал о разобщенности крестьян, их подавленности тяжелым и однообразным трудом, об отсутствии у них досуга и желания проникнуть в сущность своего политического положения как о социальном фоне активности древнегреческих тиранов³¹.

²⁸ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 8, стр. 207—208.

²⁹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 19, стр. 414.

³⁰ Аристотель. Политика. М., 1911, стр. 177.

³¹ В. Бауер. Эпоха древней тирании в Греции. СПб., 1863, стр. 14, 22, 72, 85.

Итак, с конца II тысячелетия до н. э. народ Аттики стал на неизведанный исторический путь развития. Формируется оригинальная форма товарного производства и частная собственность на средства производства. К началу VI в. до н. э. выяснилось, что движение по этому пути завело в тупик. Нависла реальная угроза тирании. История, казалось, сыграла шутку над народом: позволила уйти от одной разновидности деспотии, чтобы подвести к другой. Но афиняне нашли выход и из этого кризиса, избрав демократический путь развития страны.

Необходимость демократизации осознала часть афинской аристократии, которая начала долгую, проходившую с переменным успехом, осложняемую внутрипартийными распрями борьбу с тиранами или претендентами в тираны за влияние на народ.

Афинская демократия была вызвана потребностью нейтрализации тирании. А это значит, что ее коренной проблемой был крестьянский вопрос. Смысл афинской демократии — в вовлечении народа, следовательно в первую очередь крестьянства, в самостоятельную политическую жизнь, в формировании такого гражданина, интересы которого представлял бы он сам, а не другие. Но это значит, что демократия хочет иметь дело с такими индивидами, которые представляют исключение в обществе, базирующемся на parcelльном крестьянстве. Торжество афинской демократии — это формирование такого общества, в котором доминирующей формой материального общения становится политика, находящаяся в антагонистическом противоречии с господствующим способом производства материальных благ.

Последовательно проведенный принцип афинской демократии возможен лишь как отрицание господствующего способа производства. Паразитизм такого общества будет прямо пропорционален его демократичности: кто-то должен взять на себя бремя производства материальных благ, чтобы другие занимались политикой.

Первым попытался установить тиранию в Аттике Килон (конец VII в. до н. э.). Его постигла неудача. Но Килонова смута показала аристократии, что общегреческое восхождение тиранов к власти захватывает и Аттику.

Борьба демократии и тирании (а не демократии и аристократии) составляет главный стержень социальной истории Аттики с конца VII по V в. до н. э. Тиранические поползновения (Килон, Писистрат, Писистратиды) чередуются с демократическими реформами (Солон, Клисфен, Перикл и др.). Развитие борьбы приводит к превращению противоречий между аристократами и народом, между различными фракциями аристократии во второстепенные по сравнению с главным противоречием между тираном и подданными.

Кульминацией тирании в Аттике было правление Писистрата. Расцвет демократии относится к эпохе греко-персидских войн. Рассмотрим оба эти явления несколько подробнее.

Тирания Писистрата и его сыновей заняла без малого половину VI в. до н. э. Еще при жизни Солона, патриарха афинской демократии, Писистрат захватил власть, став единственным и всемогущим повелителем афинского народа. В истории его возвышения и правления преобладают черты, которые являются чрезвычайно показательными. В борьбе Писистрата за власть, состоявшейся из нескольких туров, обращают на себя внимание незаурядное военное дарование и авторитет военного героя у претендента в самодержцы, опора на народное собрание, использование склонности крестьянина верить в «богоизбранность» царей.

Характерно, что последний момент вызвал недоумение у Геродота, пережившего расцвет афинской демократии. Как известно, при одном из возвращений к власти Писистрат прибыл на Акрополь в сопровождении некоей Фии, ряженной под богиню Афину. Маскарад должен был внушить подданным мысль, что возвращение Писистрата в Афины хочет сама богиня-покровительница. Геродот, сообщая, что «тотчас же по селам распространилась молва, будто Афина возвращает Писистрата; да и в городе население готово было верить»³², комментирует, однако, событие следующим образом. Сторонники Писистрата «затевают дело, далеко превосходящее, на мой взгляд, своей наивностью все остальное: уже с давних пор греческое племя обособилось от варварского как более сообразительное и более свободное от первобытной наивности, а они тут затевают такую хитрость с афинянами, считавшимися за первых по разуму среди греков»³³.

Мы уже отмечали, что античные авторы не разглядели социальной опоры тирании; однако им мы обязаны указанием на то, что главной опорой Писистрата была Диакрия, область с преимущественно крестьянским населением. И как бы ни различались современные взгляды на этот счет, полагаем, прав П. Олива, когда пишет: «Аграрный вопрос был особенно важен для Аттики. Поэтому было бы трудно рассматривать как случайность, что на своем пути к единовластию Писистрат опирался на диакриев»³⁴.

Писистрат удовлетворил потребности афинских крестьян в земле, если не за счет конфискации земель у своих политических противников, то, во всяком случае, с помощью клерухий и т. д. Свою основную задачу он видел в том, чтобы покрепче приковать крестьянина к земле, сделать его придатком земли, лишенным общественной инициативы. Судебные дела теперь не отрывали крестьянина надолго от дел, так как был введен институт разъездных судей, творивших суд на месте. Бедных Писистрат снабжал даже ссудами на сельские работы, чтобы они могли кор-

³² Геродот, I, 60. — См. Аристотель. Афинская полития. М., 1937, стр. 175.

³³ Там же.

³⁴ P. Oliva. Zur Problematik der frühen griechischen Tyrannis. — *Zeitschrift für Geschichtswissenschaft*, 1959, Heft 4, S. 874.

миться, занимаясь земледелием. «Это он делал по двум соображениям: с одной стороны, для того чтобы они не находились в городе, но были рассеяны по всей стране, с другой — для того, чтобы, пользуясь средним достатком и занятые своими личными делами, они не имели ни желаний, ни досуга заниматься общественными»³⁵. Свой гражданский долг подданные афинского тирана исполняли тем, что исправно платили налог — десятую часть дохода.

Часть налогового сбора шла на содержание постоянной армии, состоявшей из наемников. Всеобщее вооружение народа было ликвидировано, у граждан хитростью отобрано оружие; при этом народу было сказано, что «по поводу случившегося не надо ни удивляться, ни беспокоиться, но следует возвратиться по домам и заниматься своими делами, а о всех общественных делах позаботится он сам»³⁶, т. е. Писистрат. Он и в самом деле хорошо заботился об интересах страны, и его правление ознаменовано крупными военными победами и укреплением позиций греческой торговли на морях.

Писистрат не тронул ни одного органа власти из возникших до него, включая и демократические. Они просто перестали играть свою роль, когда над ними стала фигура тирана, опирающегося на армию и безмолвие подданных.

Создание публичной власти, оторванной от народа, ее содержание за счет налогов с подданных и т. д. — это позволяет нам считать, что правление Писистрата является решающим этапом формирования государственности в истории Атики классического времени. Как замечает К. М. Колобова, «в тирании Писистрата государство впервые отчетливо показывает свое лицо, как бы заявляя: «это — я»»³⁷.

Но преобладание особенного государственного интереса над всеобщим, свойственное подобной форме общества, не получило при Писистрате той циничной формы, какую оно обычно склонно принимать. Этому мешала молодость тирании и политическая проницательность ее основателя. Писистрат не стал на путь уничтожения аристократии, экспроприации у нее земли и купеческого капитала, чем занимались тираны в других греческих государствах. В отличие от других тиранов, он не препятствовал богатым иметь рабов. Писистрат хотел и умел ладить со всеми, в том числе и с лояльной частью аристократии. В отличие от восточного деспота, оппозиция власти которому могла исходить лишь из среды бюрократии, «цивилизованный» тиран должен считаться с далеко зашедшей социальной дифференциацией его подданных.

³⁵ Аристотель. Афинская полития. М., 1937, стр. 25.

³⁶ Там же, стр. 24.

³⁷ К. М. Колобова. Революция Солона. — «Ученые записки ЛГУ», 1939, № 39. Серия исторических наук, вып. 4, стр. 70; ср. также стр. 68, 69.

Политический такт и чувство меры не отличали правление Писистратидов. Отмеченное репрессиями, конфискациями имущества, неудачами во внешней политике, правление Писистратидов вызвало новую волну антитиранического движения в среде аристократии и ремесленников. Тирания пала.

Решающим этапом в становлении афинской демократии был период от греко-персидских войн до сокрушительных поражений афинян в войне со спартамцами (условно первые три четверти V в. до н. э.).

Массовое привлечение народа в армию и флот в ходе греко-персидских войн, всеобщий подъем патриотизма, пусть лишь как идеализированного чувства собственности, выдающаяся роль Афин в общегреческой победе над Персией, роль, к которой Афины исторически были более подготовлены, чем многие другие государства, — вот тот фон, на котором афинская демократия обрела себе адекватную форму. В ходе войны оформился союз греческих государств во главе с Афинами — Афинский морской союз (архэ). Афинская архэ была основана на началах своеобразного разделения труда: союзники платили налог в общую казну, а на эти средства снаряжался флот Афин, ударная военная сила греков в борьбе с персами. После победоносного окончания войны Афинский морской союз не был распущен, но был сохранен вопреки воле союзников, общая казна еще в ходе войны была переведена в Афины и поступила в бесконтрольное распоряжение афинян, уплата союзниками налога не только не прекратилась, но значительно возросла. Недовольных ждала кара, — благо, лучшие военные силы были у афинян. Выше мы отмечали, что афинская демократия могла оформиться лишь в качестве паразитического общественного образования. Незавершенность начинаний, предпринятых в свое время Солоном и Клисфеном, объясняется отсутствием жертвы, за счет которой жило бы общество. И вот, наконец, жертва найдена — бывшие союзники по войне.

Описывая перерождение Афинской архэ, Аристотель сообщает: «Так как после этого государство стало уже чувствовать свою силу и были накоплены большие средства, Аристид советовал добиваться гегемонии³⁸, а гражданам переселиться из деревень и жить в городе. Пропитание, говорил он, будет у всех — у одних, если будут участвовать в походах, у других, если будут нести гарнизонную службу, у третьих, если будут исполнять общественные обязанности... Афиняне послушались этого совета... большинству народа афиняне обеспечили возможность легко зарабатывать пропитание тем способом, как предложил Аристид. Дело происходило так, что на деньги от взносов и пошлин содержалось более двадцати тысяч человек»³⁹. Здесь вы-

³⁸ Внутри морского союза. — М. В.

³⁹ Аристотель. Афинская полиция, стр. 35—36.

дается самая святая тайна афинской демократии, а именно: ее предпосылкой является раскрестьянивание крестьян при паразитическом существовании народа за счет союзников. Первоначальный размер подати, установленный Аристидом, равнялся 460 талантам. При Перикле, который советовал афинскому народу «держаться крепко в своих руках союзников» и доказывал, что они «представляют для афинян главный источник доходов»⁴⁰, союзнический налог вырос до 600 талантов (в ходе Пелопоннесской войны эта сумма достигла 1300 талантов). В Афинах вводится все более щедрая плата за отправление подавляющего большинства общественных должностей. Маленькая Аттика целиком уходит в политику, а в это время в составе Афинской архэ насчитывается около 200 государств с населением приблизительно в 10—15 миллионов человек. Эксплуатация союзников — вот тот базис, на котором могла распрости и расцвела афинская демократия, освободив многих граждан от отупляющего сельского труда, вырвав их из подавляющей всякую общественную инициативу разобщенности, привлекая их к активному, сплошь и рядом — к решающему участию в государственных делах.

Вполне очевидно, что вместе с поражениями Афин в Пелопоннесской войне и распадом Афинского морского союза началась агония афинской демократии. Демократия становится все более невозможной, но также и тирания (в ходе военных действий Пелопоннесской войны перестало фактически существовать когда-то многочисленное аттическое крестьянство)⁴¹.

Но здесь нас интересует не процесс падения демократии, а она сама в пору своего расцвета. Гегемония в обществе определенной формы политического общения привела к ограничению сферы производства материальных благ в такой степени, в какой последняя не противоречила функционированию данной формы политической жизни (т. е. сохранила по существу лишь товарное производство, главным образом города). Очевидно, что такое общество не может существовать без развитой внешней торговли, но лишь в качестве «самого сподручного средства для достижения того самодовления, ради которого люди, очевидно, и объединились в одну гражданскую общину»⁴². Поэтому когда Аристотель не делает различия между обществом и государством, понимая под последним наиболее широкую из возможных форм общения людей, когда он определяет человека как политическое существо, то в этом следовало бы видеть не глубокие

⁴⁰ Фукидид. II, 13. — См. Аристотель. Афинская полития, стр. 211. Рабство было одним из второстепенных источников дохода. Частное рабство так и не получило большого развития.

⁴¹ Поздняя греческая тирания по своему характеру и значению принципиально отличается от ранней.

⁴² Аристотель. Политика, стр. 288.

теоретические положения, а реалистическую констатацию эмпирических характеристик той действительности, настоящие и будущие судьбы которой так волновали мыслителя. К пониманию общества и человека подходят, следовательно, с заранее ограниченной меркой.

Однако человек есть не просто общественное («политическое» — по Аристотелю) животное, но животное, которое трудится. Если же удовлетвориться заранее установленным, следовательно, ограниченным «политическим» масштабом, то можно провозгласить современность разрешением коренных проблем человеческой истории. Поэтому Перикл у Фукидида говорит: «Короче говоря, наше государство все вообще является школой Греции, и каждый человек в отдельности, мне кажется, может у нас проявлять себя полноценной и самостоятельной личностью в самых разнообразных положениях с наибольшей ловкостью и изяществом»⁴³. Будь так — потомкам, действительно, оставалось бы лишь удивляться «полноценности» личности афинянина. Но на самом-то деле афинянин весьма и весьма одиозен и не только в своей социальной практике, но и в том миропонимании и мироощущении, которые из нее вырастают. Господствующая форма материального общения создается индивидами, оторванными от сферы производства, следовательно, лишенными тех особенностей, которые накладываются принадлежностью к той или иной исторически сложившейся сфере разделения труда, к профессии и т. д. Если когда-нибудь и существовал абстрактный «человек вообще», то, в первую очередь, в Аттике V в. до н. э., причем не в качестве дара природы, а как порождение истории!

В заключение несколько общих замечаний, вытекающих из сравнительных наблюдений над древневосточной и античной (афинской) историей.

1. Понятие «рабовладельческие отношения» недостаточно характеризует определяющие черты общества древнего мира как древневосточных, так и античных, в частности греческих. Представление о том, что рабы составляли в древности большую часть трудящейся массы, спорно⁴⁴. Представление о преобладании среди трудящихся древнего мира рабов препятствует проникновению в тайны как общинно-податного Востока, так и антиитиранической демократии Афин, представляющей одну из наиболее развитых античных общественных форм.

⁴³ Фукидид, II, 41. — См. Аристотель. Афинская полиция, стр. 216.

⁴⁴ Критика представления о численном преобладании рабского труда в государствах Древнего Востока растет с каждым днем, что показала дискуссия об азиатском способе производства. В вопросе о численности античных рабов мнения исследователей резко расходятся (см., например, Я. А. Ленцман. Рабство в микенской и гомеровской Греции. М., 1963, ч. I, гл. 1).

2. Древневосточные общества суть архаические, античные — цивилизованные. Несмотря на то что господствующей формой материального общения и там и здесь выступает политика, мы имеем дело с принципиально различными типами политического общения, а следовательно, и обществ. И азиатское, и античное (афинское) общества основываются не только на демонстративном признании противоречия между социальной и реально-трудовой сущностью человеческих индивидов, но и на возведении в свой основной принцип какой-то одной из сторон этого противоречия. Поэтому они выступают как общества-антиподы: то, что утверждается в одном из них, отрицается в другом, и наоборот. В таком же отношении находятся друг к другу древневосточный крестьянин и афинский гражданин. Первый — весь в трудовой деятельности, но «обесчеловечен» в политическом отношении, второй с головой уходит в политику как в сферу своей самостоятельности, но объявляет труд занятием, достойным презрения.

3. Для перехода от первичной формации ко вторичной требуется особая историческая среда, способствующая развитию общественного разделения труда, обмена, а вместе с ними и частной собственности. Как правило, такие условия возникали прежде всего в Европе, и европейские народы — в древнее и новое время — первыми переходили Рубикон вторичной формации. Такова, по нашему мнению, точка зрения К. Маркса. «... «Земледельческая община», — писал он, — повсюду представляет собой *новый тип* архаической общественной формации ... в историческом движении Западной Европы, древней и современной, период земледельческой общины является переходным периодом от общей собственности к частной собственности, от первичной формации к формации вторичной»⁴⁵.

Непреодолимость трудностей, перед которыми оказалась афинская демократия в эпоху Пелопоннесской войны и в последующий период, означала невозможность дальнейшего продвижения Аттики по пути цивилизации, а следовательно, и конечную неудачу первой исторической попытки выйти за пределы первичной формации. Капитализм как последовательно цивилизованная форма общества представляется вообще результатом отнюдь не первых попыток народов Западной Европы встать на путь цивилизации. «Удачным» (или «удачной») попыткам предшествовали «неудачные», например античные. Последствием «неудачи» могла быть архаизация — «варваризация», «ориентализация» и т. п. — общественных порядков Западной Европы.

⁴⁵ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 19, стр. 404.

ОБЩЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ КАК ПРЕДМЕТ ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Е. Г. Плимак

ПРОСТО ЛИ ИСТОРИКУ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ БЫТЬ МАТЕРИАЛИСТОМ-ДИАЛЕКТИКОМ?

До появления исторического материализма сознание рассматривалось историками как сфера творчества «свободного» человеческого духа; вопрос о постоянном соотношении мысли с действительностью, идеалов с реальной общественной практикой если и ставился, то в извращенной форме; критерии выделения объективного содержания в субъективном отражении, критерии верности и объективной ценности той или иной теории, по сути дела, отсутствовали. Великое царство мысли представляло перед специалистом в виде множества мелких и крупных государств, где правили вполне суверенные владыки — создатели различных теорий, направлений и школ. Описание размеров и богатств всей этой многоликой империи поглотило (и поглощает ныне) силы тысяч и тысяч «придворных летописцев» без сколько-нибудь существенных результатов для науки.

Необходимость внести порядок в этот хаос была осознана уже в начале XIX в. («Феноменология духа» Гегеля). Следуя за Гегелем, буржуазная наука перешла к систематизации духовной культуры, к описанию ее эволюции. Так были созданы десятки построений, рассматривавших самостоятельное развитие «идеи свободы», «идеи национализма», «идеи государства», «идеи абсолюта» и т. д.

Но противоречия не были разрешены. За основу систематизации снова бралась то одна, то другая идея, процесс развития представлял в виде сплошной филиации идей, первопричиной развития оказывалось влияние одного мыслителя на другого. В конечном счете буржуазная наука дала множество «систематизирующих»

курсов, каждый из которых заменял одну произвольную конструкцию другой, не менее произвольной.

Чтобы создать марксистскую концепцию эволюции сознания человечества хотя бы в главных ее чертах, предстояло критически оценить, заново систематизировать громадный накопленный материал. Представить объем подготовительных, «инженерных» работ, которые произвели историки-марксисты, для того чтобы сокрушить цитадель идеализма, поможет один пример. В изданном не так давно Фундаментальной библиотекой общественных наук имени В. П. Волгина библиографическом указателе литературы по истории зарубежной домарксистской философии, вышедшей только в СССР и только на русском языке, насчитывается более трех тысяч названий¹. А если прибавить к ним исследования по истории марксистской философии, русской философии, работы по истории экономической, юридической, эстетической мысли, труды литературоведов, причем марксистские работы, изданные не только у нас, но и за рубежом, то эта цифра возрастет во много раз. И все-таки наличие множества работ, скажем, по истории общественной мысли, в том числе ряда обобщающих трудов, вряд ли дает основания утверждать, что историки-марксисты близки к созданию цельной, обобщающей картины развития общественного сознания, что ими уже достаточно глубоко познан диалектический характер его движения во всех многосложных соотношениях с общественным бытием.

Для марксиста является аксиомой, что изучение истории общественной мысли должно опираться на материалистическую теорию отражения. Требования «выведения» мысли из действительности, повторного соотнесения ее с действительностью, вычленения объективного содержания в субъективном образе являются азами нашей методологии. Но все дело в чрезвычайной сложности соблюдения этих, казалось бы, элементарных требований.

Отражение общественной жизни в голове идеолога обычно принимает самые разнообразные, многокрасочные формы. Классические умозрительные конструкции и теоретические построения, существовавшие в истории мысли, были порой столь сложны, что на детальное изучение плана внутренней застройки или всех переходов какой-нибудь системы, созданной могучим гением Гегеля или Фурье, Чернышевского или Маркса, историку может не хватить целой жизни. Возникает проблема: следует ли вообще воспроизводить хотя бы главные системы в их внутренней логике, не лучше ли заниматься только выявлением и очищением, так сказать, их рациональных зерен? Но не превратится ли в последнем случае вся история общественной мысли

¹ История зарубежной домарксистской философии. Библиография литературы, вышедшей в СССР на русском языке за 1917—1962 годы. М., 1963.

в подгонку всех мыслителей под один эталон? Не станет ли при такой «примерке» крайне бедным реальный процесс развития мысли, не потеряем ли мы за «рациональными зернами» весь ее живой цвет, ее ажурные конструкции, ее удивительные перемены, — а главное, определенные закономерности внутренней логики развития идей? А ведь без этого нет вообще истории мысли как истории мысли, т. е. как особого специфического объекта познания.

Трудности увеличиваются, когда от отдельных мыслителей приходится переходить к тем или иным направлениям теоретической мысли, теоретическим представлениям тех или иных эпох. В реальной истории общества действовали и оставили заметный след тысячи и тысячи теоретиков, выдвигавших те или иные идеалы, отстаивавших те или иные лозунги. Даже простое ознакомление с их трудами требует огромного труда. И трудности удесят�ряются, когда от общественного сознания отдельных эпох мы переходим к сознанию человечества в целом — необъятный океан мыслительного материала грозит бесследно поглотить любой многообещающий замысел.

Существующее в исторической науке разделение труда и предметность в работе историков должны, казалось бы, радикально облегчать задачу. Авторам систематизирующих пособий действительно совсем не требуется каждый раз заново осваивать громадный мыслительный материал — главные фигуры и направления, плохо ли, хорошо ли, но уже исследованы, описаны до них. Но именно здесь — при попытках использовать для обобщения уже наличную марксистскую литературу — выявляется весьма существенное обстоятельство. Огромное большинство пособий, описывая те или иные идеи, объясняя их появление, «выводя» их, так сказать, из действительности, не занимаются специально дальнейшим соотносением этих идей с действительностью.

Два-три самых простейших примера. В учебнике «История политических учений» (М., 1960) много раз повторено, что буржуазные идеологи выдвинули принцип разделения властей, что он нашел отражение в ряде буржуазных конституций. Но в том же самом учебнике трудно найти сколько-нибудь детальный разбор того, как это «разделение» воплощалось в практике буржуазных государств и как эта практика на каждом этапе видоизменяла построения идеологов. Идея описывается сама по себе, общественная практика — сама по себе, где-то в других книгах, очевидно, в общих курсах гражданской истории, которые специально не занимаются ни историей «учений», ни соотносением их с «бытием».

Во многих работах о философии Просвещения XVIII в. сказано, что энциклопедисты разделяли теорию «просвещенного абсолютизма». Но из тех же работ куда труднее уяснить, как эта теория воплощалась на практике, в деятельности таких «просве-

ценных монархов», как Фридрих II, Екатерина II, Иосиф II, и как эта практика разрушала монархические иллюзии энциклопедистов. Мысль описывают одни книги, политическую историю — другие.

Короче говоря, пересказать взгляды десятка мыслителей оказывается проще, чем проверить воплощение хотя бы одной идеи в жизнь, — ведь в последнем случае историк мысли должен знать объективную реальность, порождающую те или иные идеи, не в меньшей степени, чем сами идеи, и проследить параллельно ход обоих процессов на больших отрезках времени.

Трудности подобного соотнесения идей с действительностью заставляют авторов систематизирующих пособий по истории общественной мысли идти проторенным путем — пересказывать системы и идеи в простой хронологической или географическо-хронологической последовательности, воспроизводя объективную реальность в виде некоего «исторического фона», которому отводится иногда отдельный параграф, иногда два-три вступительных абзаца и о котором совершенно забывают, переходя к описанию систем и идей.

Порой в итоге такого отвлечения мысли от действительности из поля зрения историка исчезают события громадной важности, крупнейшие сдвиги, можно сказать, целые перевороты в общественном сознании человечества. В марксистской литературе почти совершенно не изучено, к примеру, влияние Американской войны за независимость (1775—1783 гг.) на европейскую мысль, а ведь именно это событие привело к коренной радикализации общественного сознания Франции как раз накануне решающей схватки французской демократии с абсолютизмом. В советской литературе мы почти не находим содержательных исследований по этому вопросу — мы совершенно недостаточно используем ценные фактические данные, уже добытые буржуазной историографией². Не выявлен и не прослежен ими, если брать ту же эпоху, обратного рода процесс: глубочайший кризис буржуазного европейского радикализма, начавшийся уже в годину якобинской диктатуры, когда от правительства Робеспьера отшатнулись многие убежденные республиканцы-революционеры, среди них Жак Ру, Леклерк, Демулен, Дантон, Т. Пейн, Кондорсе, на какое-то время Грахк Бабеф. В нашей литературе нет даже понятий «кризис буржуазного Просвещения XVIII века», «трагедия буржуазного радикализма XVIII века», а без осмысления всей глубины и масштабов этой трагедии мы не можем понять до конца

² См.: D. Mornet. *Les origines intellectuelles de la Révolution française (1715—1787)*. Paris, 1933; B. Fay. *L'esprit révolutionnaire en France et aux États-Unis à la fin du XVIII^e siècle*. Paris, 1924; H. Wolpe. *Raynal et sa machine de guerre. «L'Histoire des deux Indes» et ses perfectionnements*. Stanford (California), 1957.

ни идейных распрей в якобинской Франции 1793—1794 гг., ни духовной драмы Радищева последних лет его жизни, ни противоречий революционной программы декабристов, ни источников идей великих утопистов Сен-Симона, Фурье, Оуэна о мирном разрешении социальных противоречий, ни причин их решительного отказа от применения средств политического насилия.

О чем прежде всего может идти речь, если говорить серьезно о создании если не марксистской «феноменологии духа», то хотя бы такого существенного ее раздела, как история общественно-политической мысли? На наш взгляд, живая общественная практика человечества должна присутствовать в таком труде не в виде вступительных или вводных глав, не в качестве так называемого исторического фона, а как реальная объективная основа движения человеческой мысли. Только в самой действительности могут быть найдены те «узлы», вокруг которых можно «уложить», сгруппировать весь мыслительный материал. Историки мысли еще очень мало учитывают при поиске таких «узлов» значение революционных эпох, когда общественное сознание не только пассивно отражало объективную реальность или следовало за ней, но через действия масс, через практику политических партий активно вторгалось в жизнь, воздействовало на ход общественных процессов. Критическая и одновременно в той или иной мере утопическая предреволюционная мысль, мысль, становящаяся революционным действием, «переваривание» уроков революции — эти повторяющиеся в общественной практике круги образуют в истории общественной мысли то диалектическое *«соединение познания и практики»*, тот переход «от субъективной идеи... к объективной истине *через* „практику“ (и технику)», о которых говорил В. И. Ленин в «Философских тетрадах»³.

Важно отметить, что картина развития революционной теории и практики, взятая в широкой исторической перспективе (вне узких хронологических и национальных рамок), обнаруживает явления куда более крупного масштаба, чем отдельные колебания, зигзаги в эволюции того или иного мыслителя, того или иного направления. Можно, по всей видимости, говорить об определенных «перерывах постепенности» — полосах гибели и разложения целых направлений революционной мысли, которые с закономерностью приходят на смену периодам их подъема и расцвета, образуя границы довольно четко очерченных циклов, причем чаще всего очередной катастрофический надлом следует за эпохой революций, социальных и политических потрясений, т. е. за периодами громадного расширения революционной практики, что, казалось бы, само по себе должно было стимулиро-

³ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 29, стр. 198, 183.

вать, а не тормозить развитие теории, оплодотворять теорию, а не умертвлять ее. Так и происходит — но не сразу, а в результате своеобразного «отрицания отрицания», в результате противоречивого, даже попятного, на первый взгляд, движения.

Дело в том, что любая общественная теория, а тем более теория, еще не ставшая в полном смысле этого слова наукой, как было, скажем, с Просвещением XVIII в., односторонне, узко, неполно отражает все многообразие явлений общественной жизни. Это отставание общественного сознания от общественного бытия выявляется резче всего в эпоху революций, ибо наступает пора претворения идеалов и лозунгов в жизнь, ибо сразу же, скачком, в громадном объеме расширяются масштабы и формы человеческой практики. И если раньше на выявление пробелов той или иной теории нужны были долгие десятилетия, то теперь ее неполноценность или неполнота обнаруживается за немногие месяцы, а то и недели, причем процесс этот идет болезненно, катастрофично, в крайних формах, порождая и случаи ренегатства, и нигилистическое отношение к предшествующим учениям, и духовные драмы типа радищевской и герценовской, и застойные явления, и быстрые скачки вперед, причем в обстановке гражданской войны споры и расколы в стане революционеров зачастую кончаются трагическим исходом, когда арбитром «дискуссий» становится революционный трибунал. Говоря о «перерывах постепенности», разложении или гибели целых направлений общественной мысли, нельзя понимать дело упрощенно. Данная теория, разумеется, не умирает в буквальном смысле этого слова. Еще живут ее приверженцы, продолжают влиять на ход событий общественной жизни ее лозунги и идеалы. Но в мировом масштабе они перестают играть ведущую роль, уступают место — хотя и не сразу — иным теориям, теориям высшего порядка, начинают эволюционировать сами под их влиянием и воздействием. Так было, в частности, с Просвещением, после того как просветительское «государство разума» воплотилось сначала в якобинском терроризме и затем в наполеоновской деспотии, когда «разумный строй» оказался строем крайних антагонизмов, неслыханного угнетения, непрекращающихся схваток пролетариев и буржуа. Идеи разума, прогресса, равенства, свободы и т. п. продолжали воодушевлять политических борцов и на протяжении XIX в., эти лозунги пережили своих творцов, свою эпоху. Но неоспоримо, что роль передовой освободительной теории в мировом масштабе, с самого начала XIX в. и почти на полстолетия, переходит к различным формам утопического социализма, делающего акцент на тех сторонах общественного процесса, которые до того оставались в тени, конкретнее — на необходимости изменения социальной структуры общества.

В свою очередь, для многочисленных систем и разновидностей утопического социализма, пришедших в Западной Европе XIX в.

на смену буржуазному Просвещению, роковым событием оказалась революция 1848—1849 гг. В. И. Ленин отмечал, что бесчисленные разновидности этого учения «были окончательно убиты июньскими днями»⁴, убиты, опять-таки, не в буквальном смысле (ибо и теории, и их создатели продолжали здравствовать и после поражения революции), а в качестве передовой революционной теории. Эта роль с середины XIX в. прочно переходит к марксизму.

Разумеется, «перерывы постепенности», качественные скачки в развитии теоретической мысли предполагают сохранение моментов преемственности, они немыслимы без них. Любопытный факт. Основатели новых социальных систем порой предельно резко отмежевываются от своих предшественников, как это было, например, с Сен-Симоном и Фурье, которые готовы не только объявить сплошным заблуждением идейное наследие XVIII в., но и перечеркнуть начисто все развитие человеческой мысли за предыдущие тысячелетия! Но любая новая теория, даже в том случае, когда ее создатели субъективно полностью разрывают с предшественниками, радикально отмежевываются от них, оказывается генетически неразрывно связана с ними хотя бы уже потому, что представляет собой попытку дать решение тех проблем и тех задач, которые были выдвинуты, сформулированы, но не решены предшествующей теоретической мыслью.

Можно установить, в общем и целом, что подъемы и резкие спады, а порой и катастрофические надломы в развитии революционной теории соответствуют в широких исторических масштабах подъемам и спадам революционной практики. Но механизм этой связи далеко не так прост, чтобы его можно было представлять себе в виде двух или нескольких параллельных линий. Иногда кризис революционной мысли начинается еще на восходящей линии революционного развития (отход от политического радикализма у Рейналя произошел в 1791 г., у Демулена в 1793 г., у Кондорсе в 1793—1794 гг. и т. д.); с другой стороны, далеко не всякое поражение революции кончается кризисом революционной мысли (марксизм, скажем, быстро окреп в европейском масштабе после поражения Парижской Коммуны в 1871 г.).

Догматическое мышление, представляя путь развития общественного сознания в виде простой восходящей линии, стремится обойти подобные спады и кризисы, уходит от их анализа. Всего каких-нибудь 15—20 лет назад, когда в нашу историю русской общественной мысли входили только такие мыслители и революционеры, как Герцен, Белинский, Добролюбов, Чернышевский, было прекращено изучение фигур, представлявших в определенном смысле «нисходящую», во всяком случае, весьма противо-

⁴ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 21, стр. 256.

речивую линию народнической идеологии и практики (Лавров, Бакунин, Ткачев). Достаточно сказать, что тогда не было ни одной серьезной работы о «расколе в нигилистах» 60-х годов или событиях, связанных с Нечаевским процессом; не вышло ни одной серьезной работы о Чаадаеве или о последекабристском кризисе революционной мысли. Если брать историю западной освободительной мысли XVIII в., то и здесь шло деление мыслителей прошлого на фигуры, подлежащие анализу (Марат, Бабеф, Робеспьер, Сен-Жюст), и фигуры, анализу не подлежащие (Дантон, Демулен, Кондорсе, жирондисты вообще), и здесь изучалась восходящая ветвь французского Просвещения XVIII в. и почти совершенно не изучалась его нисходящая ветвь. Говорить об этом не столь отдаленном прошлом приходится хотя бы потому, что его традиции и поныне сковывают исследователя, сужая горизонт его мысли, его кругозор.

Между тем если рассматривать развитие общественной мысли диалектически, в виде развертывающейся спирали, с «перерывами постепенности», с возвратами и отходами назад, с уходами мысли на боковые и тупиковые пути, с узловыми точками на этой спирали развития — катастрофическими надломами и кризисами, то «выпавшие» сюжеты являются весьма поучительными и содержательными и с теоретико-познавательной и с практической точек зрения, их анализ и позволяет определить, «от какого наследства отказываются» и «какое наследство развивают» новые школы и направления.

СООТНОШЕНИЕ МОМЕНТОВ АБСОЛЮТНОГО И ОТНОСИТЕЛЬНОГО ЗНАНИЯ В НАУЧНОЙ ТЕОРИИ

В каждый данный момент развития общества его теоретическое сознание есть примерное, приблизительное, относительное и неполное отражение общественного бытия — либо отдельных моментов бесконечной эволюции общества, либо отдельных сторон гигантского многообразия явлений.

В общем и целом прогресс общественного познания состоит во все большем сближении отражения с объектом, бесконечном уточнении отражения, все большей его «объективизации», причем в классовом антагонистическом обществе, где господствующие классы пытаются превратить общественную науку в средство апологии отживающих общественных порядков, этот процесс «приспособления», «подгонки» сознания к бытию идет с колоссальными издержками мыслительного материала, главная магистраль познания с трудом прокладывается среди массы изгибов, изломов, отходов назад и тупиков. Несомненно, что переломным моментом, самой значительной вехой в прокладке такого пути было возникновение марксизма — диалектико-материалистического воззрения на мир, научной пролетарской теории развития

общества. Но ее появление, естественно, не отменило, а только видоизменило диалектический ход процесса познания.

Прежде всего, наличие элементов относительного, неточного знания в научной теории связано с историческими условиями ее возникновения. Если правильно положение о том, что новое общество, рождающееся на базе старого и отрицающее его, несет на себе его родимые пятна, то, в известном смысле, это относится и к новой теории. Она не может сразу избавиться от всех прежних представлений, в один момент заменить неточное знание точным.

Основные посылки метода исторического материализма были сформулированы Марксом и Энгельсом еще в 40-х годах. Новый метод требовал брать за отправной пункт при изучении эволюции общества — а Маркс и Энгельс изучали детально одно только буржуазное общество — способ производства материальных благ, отношения людей в процессе производства и, уже опираясь на этот фундамент, рассматривать всю сложнейшую диалектическую взаимосвязь между экономическим базисом и политической надстройкой, все сложнейшие процессы общественного развития в их взаимной связи.

Но для того чтобы представить себе более или менее полную картину этой эволюции, хотя бы в главных странах и хотя бы в главных чертах, требовалось — помимо метода — наличие достаточного количества фактических сведений. В сущности же Марксу в период работы над «Капиталом» пришлось довольствоваться одними только материалами по экономической истории Англии и почти не затрагивать истории других стран. «По сравнению с английской, социальная статистика Германии и остальных континентальных стран Западной Европы, — писал он, — находится в жалком состоянии»⁵. Этих материалов было достаточно, чтобы выявить в абстрактном виде общие тенденции развития капитализма в классической стране этого способа производства, создать модель, которая помогала бы понять процессы, происходившие как в отдельных странах, так и в недрах системы капитализма в целом.

Однако наличие такой идеальной модели было вовсе не равнозначно наличию детального знания обо всех процессах, происходящих в странах с достаточно высоким уровнем развития капитализма, а тем более в странах, втягиваемых в русло капиталистического развития.

Изучение Марксом и Энгельсом экономической и политической эволюции России показывает, как сами создатели научной теории учились осторожности в прогнозировании происходящих там событий, в формулировке общих выводов и заключений.

⁵ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 23, стр. 9.

Выявление международного характера экономической экспансии капитала позволило Энгельсу еще в 1848 г. сделать достаточно категорический вывод о предстоящем обуржуазивании России: «Даже в совершенно варварских странах буржуазия делает успехи. В России развитие промышленности идет гигантскими шагами и даже бояр все более и более превращает в буржуа. Крепостное право подвергается в России и Польше ограничениям, что означает ослабление дворянства в интересах буржуа и создание класса свободных крестьян, в котором буржуазия всюду нуждается»⁶. Затем подобного рода заявления надолго исчезают и из работ Маркса и Энгельса, и из их личной переписки. Дело в том, что сама действительность европейской жизни конца 40-х — начала 50-х годов не дает никаких сколько-нибудь ощутимых подтверждений сделанному прогнозу.

Сам по себе метод Маркса, заставляющий учитывать уровень экономического развития страны, степень развития социальных антагонизмов, диалектическую связь внутренних и внешних факторов и т. п., не мог дать определенных положительных результатов, если у Маркса не было точных данных об этих процессах, если он ничего не знал в 40—50-х годах о степени быстроты разложения крепостнических отношений в России, о характере и масштабах крестьянского движения, о зарождении внутри страны революционной идеологии, формах политической борьбы. Обязательным и всеопределяющим для Маркса и Энгельса в эти годы остается факт неизменной реакционной роли России в делах Европы, факт громадного тормозящего воздействия политики ее правящих классов на развитие европейских социальных и политических процессов. Экономические и политические тенденции, вызревающие в то же самое время в самом русском обществе, остаются еще недоступными постороннему наблюдателю. Опираясь на такие источники, как антирусские памфлеты периода Северной войны или эпохи наполеоновских войн, на издания типа: Karamzin. «Histoire de l'Empire de Russie»; P. de Ségur. «Histoire de Russie et de Pierre-le-Grand»; Dobrovský. «Slawin»; Heffter. «Der Weltkrieg der Deutschen und Slaven seit dem Ende des fünften Jahrhunderts» и т. п., — нельзя было предвидеть (даже при наличии правильного метода) и резкого изменения в сколь-нибудь ближайшем будущем роли России в системе европейских государств. Когда новые данные стали доступны Марксу и Энгельсу⁷, они значительно видоизменили, углубили свои оценки по «русскому вопросу», причем сделали это опять-таки не сразу, не без колебаний, не безапелляционно, именно потому,

⁶ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 4, стр. 468.

⁷ Напомним, что начиная с 60-х годов Маркс и Энгельс приступают к систематическому изучению социальных и политических процессов, происходящих в России, опираясь на оригинальную русскую литературу.

что они не меняли одну умозрительную схему на другую, а изучали сложнейший реальный процесс.

Даже в 1877 г. в знаменитом письме в редакцию «Отечественных записок» Маркс еще воздерживается от каких-либо окончательных заключений по поводу того, сколь бесповоротно Россия вступила на капиталистический путь. Одновременно он формулирует одно из важнейших положений своего метода, существенно дополняющее и вместе с тем сужающее известную мысль «Капитала» о том, что «страна, промышленно более развитая, показывает менее развитой стране лишь картину ее собственного будущего»⁸. Маркс пишет: «...События поразительно аналогичные, но происходящие в различной исторической обстановке, привели к совершенно разным результатам. Изучая каждую из этих эволюций в отдельности и затем сопоставляя их, легко найти ключ к пониманию этого явления; но никогда нельзя достичь этого понимания, пользуясь универсальной отмычкой в виде какой-нибудь общей историко-философской теории, наивысшая добродетель которой состоит в ее надысторичности»⁹.

При оценке научного содержания работ Маркса и Энгельса следует учесть и то обстоятельство, что вожди пролетариата не были чисто академическими учеными, историками, предающимися спокойным многолетним изысканиям, что они были политиками, втянутыми в водоворот борьбы, публицистами, которым обстоятельства зачастую не позволяли ждать окончательных результатов, которых эти обстоятельства заставляли действовать порой на основании предположений и интуиции. Эти моменты относительности выводов и оценок особенно заметны, скажем, в публицистике эпохи Крымской войны — той поры, когда Марксу приходилось в условиях растущей консолидации европейских революционных сил бросать свои даже не до конца выверенные аргументы на чашу весов политической борьбы. Ф. Меринг — лучший из биографов Маркса — прекрасно сказал о памфлетах эпохи Крымской войны: «Хотя Маркс и поднял ежедневный газетный труд на значительную высоту, он все же не мог поднять его выше его сущности. Даже величайшему гению не дано делать новые открытия или рождать новые мысли два раза в неделю — как раз к отходу парохода по вторникам и пятницам. В таких условиях почти всегда неизбежна, как сказал однажды Энгельс, «скоропалительность — приходится полагаться на память». Кроме того, газетная работа всегда зависит от текущих новостей и связанных с ними меняющихся настроений и непременно должна с этим считаться, чтобы не стать скучной и сухой»¹⁰.

⁸ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 23, стр. 9.

⁹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 19, стр. 121.

¹⁰ Ф. Меринг. Карл Маркс. История его жизни. М., 1957, стр. 263.

Безусловно, многие публицистические работы периода Крымской войны, например «Разоблачения секретной дипломатии XVIII века», мы не можем и не должны ставить в один ряд не только с «Капиталом» Маркса — итогом многолетнего осмысления целого Монблана фактов, но и с такими работами, как «Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г.» или «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», написанными по свежим следам политических событий, на очень небольшой дистанции от них, но во всеоружии фактов и материалов. Несомненно, русская публицистика Маркса и в отношении оценки отдельных фактов, акций, лиц, и в отношении многих общих выводов нуждается в обстоятельном анализе. Видимо, наброски, получившие наименование «Разоблачений», приобрели бы совершенно иной характер, имея возможность их автор поработать над секретными дипломатическими материалами и над источниками по внутренней истории России не два-три месяца, а несколько лет. Но рассматривая все наследие Маркса или Энгельса по русскому вопросу в его совокупности, исследователь не может не признать: Маркс-публицист, Энгельс-публицист уступают место Марксу-ученому, Энгельсу-ученому. Они становятся все более сдержанными в своих суждениях — по мере того как идет овладение новым Монбланом фактов, касающихся теперь уже внутреннего развития России. Вместе с тем нельзя не признать и другого. Даже в газетных статьях и публикациях, обладая крайне узкой фактической базой, Маркс высказал немало поразительно глубоких истин, поднявших его именно благодаря его методу на неизмеримую высоту по сравнению с общим уровнем публицистики XIX в.

Таким образом, открытие научного метода анализа общественных явлений вовсе не означало автоматического овладения полной картиной знаний об этих процессах, точно так же, как открытие общих законов развития капитализма вовсе не означало, что автоматически становились ясными все формы их проявления, степень развития различных тенденций и контртенденций в тех или иных странах и, тем более, во всей системе в целом, все результаты их сложнейшего переплетения и взаимодействия. Ленин, подчеркивая громадную сложность и быстротечность капиталистического «общественного бытия», не случайно предупреждал: «Сумму всех этих изменений во всех их разветвлениях не могли бы охватить в капиталистическом мировом хозяйстве и 70 Марксов. Самое большее, что открыты *законы* этих изменений, показана в главном и в основном *объективная* логика этих изменений и их исторического развития...»¹¹.

¹¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 18, стр. 345.

Именно поэтому создание марксизма означало не финал, а начало исследования конкретных общественных процессов, именно поэтому перед марксистами всех стран, действовавшими после Маркса, по сути дела впервые встала задача: пользуясь его приемами, изучать заново как всю прошлую историю, так и действительность сегодняшнего дня. Было бы опасным заблуждением думать, что колы скоро Маркс и Энгельс выработали системы научных категорий, в которых отражена если не вся картина развития общества, то хотя бы главные тенденции развития капитализма, то дальнейшее движение научной теории будет плавным процессом, простым обогащением уже накопленного, без резких потрясений, без всяких отлетов мысли от бытия.

Поскольку у идеалистического понимания общественных явлений есть и классовые и гносеологические корни, постольку существует постоянная опасность формализации научной теории, превращения научных абстракций, выведенных Марксом из конкретного анализа конкретной эпохи, в простые логические определения, которые затем «с успехом» выводятся друг из друга или не менее «успешно» подгоняются к бесконечно развивающейся действительности. Мы знаем из истории не столь уже далекого прошлого поучительные примеры «развития» ревизионистского способа мышления, когда люди вроде Каутского и его учеников, знавшие каждую запятую в трудах Маркса, сначала превращали научные понятия в пустые определения, затем открывали их «неприменимость» к XX в., чтобы в конце концов отказаться и от своей псевдомарксистской фразеологии. Можно сослаться и на более поздние примеры карикатурной борьбы за марксизм, которую с таким шумом вели разного рода догматики, превратившие научную теорию в свод неких вечных истин, используемых на потребу далеко не бескорыстной политике.

Дорога к истине в любой науке, а тем более в науке общественной, никогда не будет похожа на ровную магистраль, а сама истина — на хранилище готовых формул. Познание истины достигалось и достигается в трудном восхождении (иногда «карабканьи») с низших ступеней знания на все более высокие, со срывами и отлетами, с падениями и «ушибами», с частыми потерями уже добытого материала и его добыванием вновь. Это познание движется, как и само общественное бытие, «крайностями», в сложнейшем и причудливом «раздвоении единого», когда каждая из спорящих сторон абсолютизирует одну сторону многостороннего процесса и когда проходит не одно десятилетие, пока высший синтез не объединит разъединенное вновь, но только для того, чтобы жизнь снова заставила человечество утратить обретенное единство.

КАК НАМ БЫТЬ С «ДОНАУЧНЫМИ» ОБЩЕСТВЕННЫМИ ТЕОРИЯМИ

Рассмотрев процесс рождения научной теории общественного развития, вернемся к «донаучным», которым она наследует. Скажем прямо: «освоению» громадного идейного наследия прошлого, его включению в наш теоретический арсенал в большой степени мешает абсолютизация граней между научной и «донаучной» мыслью.

Обращаясь все к тем же работам по освободительной мысли XVIII в., можно без особых усилий назвать добрый десяток трафаретов-приговоров, кочующих из одного труда в другой: просветители, будучи идеалистами в философии, ошибочно считали разум двигателем общественного прогресса; просветители питали иллюзорные надежды построить «царство разума» на земле; просветители, в силу своей буржуазной ограниченности, боялись народа и уповали на монархов; просветители, исходя из абстрактного гуманизма, не понимали законов классовых борьбы, они обращались равным образом и к порабощенным и к угнетателям; просветители преувеличивали роль человеческих страстей и т. д. и т. п.

Возможно, нам скажут: все это — аксиомы, которые должны служить отправными пунктами для любого научного исследования данного сюжета. Но то, что выдается за аксиомы, чаще всего представляет собой неточно переданные мысли классиков марксизма, которые приобретают в некоторых исследованиях однобокий, а то и совершенно извращенный смысл.

Попробуем подтвердить сказанное. Всем известно: «Анти-Дюринг» Энгельса содержит критику просветительских иллюзий о «разумности» исторического процесса. Следуя как будто Энгельсу, некоторые исследователи всю бичуют просветительские «грехи», попытки «донаучных» мыслителей сделать разум «основой общественного развития», их желание превратить знание в «движущую силу исторического развития», их стремление к «преобразованию прежде всего сознания людей»¹². Но спросим

¹² Несколько типичных «обобщений»: «Будучи идеалистами во взглядах на общественную жизнь, Аничков, Фонвизин, Козельский, Десницкий, Каверзнев, Батулин и другие, называя человека общественным животным, главное отличие человека от животного видели не в общественно-производственной деятельности, а в степени развития разума»; Герцен, несмотря на гениальные материалистические догадки, «в конечном счете ... считал, что основой общественного развития, его источником является прежде всего преобразование сознания людей, распространение в народных массах просвещения»; «Писарев во всей своей историко-социологической концепции не переставал быть идеалистом. Он неоднократно говорит о том, что мысль, знание, разум, умственные силы являются движущей силой исторического развития». Заимствовано нами из работ: Избранные произведения русских мыслителей второй половины XVIII века, т. I. М., 1952, стр. 64; Очерки по истории

у критикующих, разве были ошибочными все эти стремления и желания? Ведь если созданные в результате буржуазных революций общественные и политические учреждения оказались «злой», вызывающей горькое разочарование карикатурой на блестящие обещания просветителей, то отнюдь не потому, что ложным было самое стремление к «разумному» переустройству общественных отношений. Утопической была не задача, не мечта о «царстве разума», не стремление просвещать людей, утопическим было решение задачи — неспособность мыслителей проникнуть за поверхность общественных явлений в глубину, отмежевать факторы существенные от несущественных, а тем самым хотя бы в общих чертах предвидеть результаты разумных действий и отдельных личностей и, тем более, громадных масс людей, которые к тому же оставались «непросвещенными» не только в далекий XVIII век, но и в куда более близкие нам времена.

Соответственно критика Энгельсом ложных просветительских формул вовсе не ставила целью устранить вмешательство разума в человеческую историю, а всего-навсего заставить человеческие головы заниматься творчеством и пропагандой идей реалистических, а не утопических (коль скоро для выработки их созрела почва). И если в прошлом общественное сознание из-за своей незрелости, ограниченности, оторванности от стихийных движений больших масс людей, действительно, не могло стать решающим фактором исторического развития, то это еще вовсе не означает, что оно не будет играть такой решающей роли в будущем, в грядущей истории человечества. Энгельсу принадлежит и та мысль, что, в определенном, разумеется, строго ограниченном смысле, разумность исторического движения может и должна стать предпосылкой дальнейшего прогресса на земле. *«Взгляд, согласно которому будто бы идеями и представлениями людей созданы условия их жизни, а не наоборот, — писал Энгельс, — опровергается всей предшествующей историей, в которой до сих пор результаты всегда оказывались иными, чем те, каких желали, а в дальнейшем ходе в большинстве случаев даже противоположными тому, чего желали. Этот взгляд лишь в более или менее отдаленном будущем может стать соответствующим действительности, поскольку люди будут заранее знать необходимость изменения общественного строя (sit venia verbo), вызванную изменением отношений, и пожелают этого изменения, прежде чем оно будет навязано им помимо их сознания и воли»*¹³.

Мы цитируем один из черновых набросков к «Анти-Дюрингу». Но если вдуматься, весь «Анти-Дюринг» есть развернутое обосно-

философской и общественно-политической мысли народов СССР, т. I. М., 1955, стр. 449; Из истории русской философии. Сб. статей. М., 1951, стр. 460.

¹³ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 20, стр. 639.

вание изложенной мысли — недаром раздел «Социализм» кончается пророчеством о наступлении новой исторической эпохи, когда чуждые человеку общественные силы поступят под контроль его головы: «И только с этого момента люди начнут вполне сознательно сами творить свою историю, только тогда приводимые ими в движение общественные причины будут иметь в преобладающей и все возрастающей мере и те следствия, которых они желают. Это есть скачок человечества из царства необходимости в царство свободы»¹⁴.

Таким образом, между «царством разума» просветителей и «царством свободы» марксистов оказывается не только разрыв, но и самая непосредственная преемственная связь: лозунг пролетарских революционеров есть не что иное, как обогащение, развитие на новой основе лозунга революционеров буржуазной эпохи. Начав с критики идеалистического тезиса о «царстве разума», Энгельс кончает материалистическим тезисом о царстве разума, разума, более или менее адекватно познающего условия и последствия своих собственных действий.

Остановимся подробнее на различиях методологической основы просветительских теорий и научной теории классовой борьбы. Всем известен тезис Маркса: «Подлинный прогресс в современной историографии был достигнут только тогда, когда историки с поверхности политических форм спустились в недра социальной жизни»¹⁵. Следуя будто бы этому указанию, историк мысли часто отбрасывает как несущественный, второстепенный весь тот огромный фактический материал, все те наблюдения и выводы, которые накопили мыслители прошлого относительно роли «страстей» (властолюбия, жадности и т. п.) в истории. Он считает никчемными наблюдения Вольтера или Гольбаха, Монтескье или Руссо, Дидро или Радищева над личными качествами того или иного государя, их длиннейшие рассуждения о воспитании «молодого принца», о роковой роли «ненасытной алчбы власти» или «корыстолюбия» и т. п., ибо помнит указание Энгельса: «... Надо иметь в виду не столько побуждения отдельных лиц, хотя бы и самых выдающихся, сколько те побуждения, которые приводят в движение большие массы людей, целые народы, а в каждом данном народе, в свою очередь, целые классы»¹⁶.

Все это так. Но принцип: историей движут массы, массы движимы в свою очередь глубинными экономическими сдвигами, сдвиги эти определяются развитием производительных сил, — прекрасно выявляя коренные причины громадных исторических сдвигов, скажем, перехода от одной формации к другой, и будучи

¹⁴ Там же, стр. 295.

¹⁵ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 12, стр. 434.

¹⁶ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 21, стр. 307—308.

совершенно необходимым, этот принцип однако же представляется недостаточным при выявлении непосредственных причин конкретных политических событий в ту или иную эпоху. Прежде всего, политическая роль масс бывает весьма различной: громадной в переломные эпохи революций, ничтожной в эпохи мирного эволюционирования того или другого способа производства. Вспомним хотя бы, что говорил Ленин о начале XIX в. в России: «Тогда, сто с лишним лет тому назад, историю творили горстки дворян и кучки буржуазных интеллигентов при сонных и спящих массах рабочих и крестьян. Тогда история могла ползти в силу этого только с ужасающей медленностью»¹⁷.

Далее, если вдуматься, качества отдельной личности, помноженные на огромную мощь государственного аппарата, — а XVII—XVIII века были веками расцвета абсолютизма в Европе, — дают нам величину отнюдь не индивидуальную, величину в полном смысле слова общественно-значимую, вполне сопоставимую по масштабам исторического действия с величинами массового, статистического значения. Говоря о «реформах Петра I», «завоеваниях Наполеона», «государственном социализме Бисмарка», мы не просто отдаем дань традициям старой историографии. Дело сложнее: личность сыграла в ходе этих событий столь существенную роль, она настолько «срослась» с данным рядом важнейших событий, что «обезличить» их практически уже невозможно.

Именно поэтому, если сравнивать выводы великих просветителей XVIII в. о роли «злых страстей» в истории с длинными перечнями количества мануфактур, вывоза и ввоза товаров и т. п. данными, призванными в некоторых наших работах объяснить подоплеку тех или иных политических событий, то трудно еще сказать, кто ближе стоит к познанию подлинных движущих сил истории, — эти авторы или мыслители XVIII в. Сами создатели теории исторического материализма подчеркивали: «... С тех пор как возникла противоположность классов, рычагами исторического развития сделались дурные страсти людей: жадность и властолюбие. Непрерывным доказательством этого служит, например, история феодализма и буржуазии». Энгельсу и в голову не приходит упрекать Фейербаха за то, что он исследует роль зла в истории. Упрек состоит в том, что Фейербах игнорирует «историческую роль морального зла»¹⁸.

Обратимся, далее, к тем «поверхностным» историческим аналогиям, которыми полны труды мыслителей XVIII в. Можно ли считать сплошным заблуждением стремление Руссо или Монтескье изучать закономерности функционирования политических форм нового времени на примерах классических образцов Древней Греции или Древнего Рима? Являлось ли хотя бы в малейшей

¹⁷ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 81.

¹⁸ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 21, стр. 296.

степени оправданным сопоставление революционных диктатур XVII—XVIII вв. с цезарианскими режимами, Кромвеля или Робеспьера — с Суллой и Цезарем (подобные сопоставления мы находим у Ру, Демулена, Радищева)? В наше время, когда налицо результаты не одной только Английской революции, не только непосредственные результаты правления якобинцев, а глубинные следствия целого ряда буржуазных революций, — легко установить, что перед нами явления качественно различного порядка¹⁹. Результатом гражданской войны в Риме было утверждение на несколько веков военной диктатуры цезарей, сумевшей оттянуть, но не предотвратить гибель огромной рабовладельческой империи; непосредственным результатом гражданских войн XVII—XVIII вв. в Англии и во Франции было установление военнодеспотического режима, затем реставрация монархии, но эти политические формы оказались всего-навсего внешним нароском на теле растущего и крепнущего буржуазного организма. Подчеркивая поверхностность подобных параллелей, мы могли бы сослаться и на авторитет Маркса, которому еще в середине XIX в. приходилось бороться с попытками академической науки решать сложные проблемы тогдашних буржуазных революций с помощью фраз о так называемом цезаризме²⁰.

И все же назвать параллели мыслителей XVIII в. просто «ошибкой» мы бы не решились. Это именно тот случай, когда «слабость» мыслителей XVIII в., не учитывавших в полной мере воздействия экономической сферы и борьбы противоположных социальных интересов, оказывалась их относительной «силой», когда концентрация внимания на политической форме происходящих переворотов позволяла схватывать некоторые реальные черты повторяемости, присущие, казалось бы, совершенно различным эпохам.

Теоретическое мышление XVIII в., использовавшее выработанные еще античными мыслителями понятия «аристократия», «демократия», «деспотия», «олигархия», несомненно, отразило огромную относительную самостоятельность политических форм, схватило черты известной, вполне реальной повторяемости в их развитии: эти формы обладают известной (относительной) самостоятельностью, собственными законами своего внутреннего развития, они в тех или иных вариациях могут переживать «свою» формацию, «свои» «базисы», могут появляться, возрождаться вновь. И Маркс, который критиковал параллели беспочвенные, сам проводил параллели обоснованные, когда ему приходилось сравнивать явления политической жизни, скажем, древнего рабовладель-

¹⁹ Подход к этому был и у некоторых историков XVIII в., например у Вольтера: «Плодом гражданских войн в Риме было установление рабства, плодом английских мятежей — свобода» (см. К. Н. Державин, Вольтер. М., 1946, стр. 36).

²⁰ См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 16, стр. 375—376.

ческого Рима и современного ему капиталистического Запада. «В Англии в настоящее время повторяется то, — писал он, — что в чудовищных размерах можно было видеть в Древнем Риме. Народ, порабащивающий другой народ, кует свои собственные цепи»²¹. Он же сравнивал юрисдикцию периода якобинского террора и эпохи римских цезарей, сопоставлял «террористические законы», «какие изобрела крайняя государственная необходимость при Робеспьере и испорченность государства при римских императорах»²².

Как видно, известный рациональный момент был в «ненаучных» параллелях мыслителей XVIII в., но, чтобы эти параллели стали вполне научными, им недоставало критерия, которым обладали Маркс и Энгельс. Наличие качественно иной методологической основы позволило марксистской мысли не только зафиксировать в понятии государства как аппарата классового насилия то общее, что было присуще различным политическим формам антагонистического общества (и что было в общем и целом выявлено мыслителями до Маркса), но и нащупать — на путях социальной революции пролетариата — выход из того тупика, в котором оказалась теоретическая мысль. «Опыт трех тысячелетий, — писал Энгельс, — не сделал людей умнее, напротив, он сбил их с толку, запутал, довел до безумия, и результат этого безумия — политическое состояние современной Европы. Чистая монархия возбуждает ужас, наводит на мысль о восточном и римском деспотизме. Чистая аристократия внушает не меньший ужас, — недаром существовали римские патриции и средневековый феодализм, венецианские и генуэзские нобили. Демократия — страшнее и той и другой; Марий и Сулла, Кромвель и Робеспьер, окровавленные головы двух монархов, проскрипционные списки и диктатура говорят достаточно громко об „ужасах“ демократии. К тому же общеизвестно, что ни одна из этих форм долго не могла удержаться. Так что же оставалось делать? Вместо того чтобы идти прямо вперед, вместо того чтобы из несовершенства или, скорее, бесчеловечности всех государственных форм вывести заключение, что само государство является причиной всех этих бесчеловечностей и само бесчеловечно, вместо этого успокоились на той мысли, что безнравственность присуща только *формам* государства...»²³. И далее: «Простая демократия... есть, следовательно, только переход, последнее чисто политическое средство, которое еще следует испытать и из которого тотчас же должен развиваться новый элемент, принцип, выходящий за пределы существующей политики.

Этот принцип есть принцип социализма»²⁴.

²¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 16, стр. 407.

²² К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 1, стр. 14.

²³ Там же, стр. 620—621.

²⁴ Там же, стр. 642.

Таким образом, марксизм — это решение, на новой основе, в новых условиях, тех самых проблем, которые поставили мыслители прошлого, но не смогли решить ввиду ограниченности тогдашних исторических условий. Только с этих позиций становится ясным, почему Энгельс, говоря о научной системе социализма, писал, что «по своей теоретической форме он выступает сначала только как дальнейшее и как бы более последовательное развитие принципов, выдвинутых великими французскими просветителями XVIII века»²⁵; только с этих позиций мы поймем, почему Ленин считал поучительным в особенности опыт блужданий и шатаний, ошибок и разочарований революционной мысли прошлого.

А о том, насколько сами создатели теории марксизма были далеки от презрения к своим предшественникам, говорят хотя бы следующие строки из «Анти-Дюринга»: «... Мы, по всей вероятности, находимся еще почти в самом начале человеческой истории, и поколения, которым придется поправлять нас, будут, надо полагать, гораздо многочисленнее тех поколений, познания которых мы имеем возможность поправлять теперь, относясь к ним сплошь и рядом свысока»²⁶.

Следовательно, без выявления, анализа того, что же «научно» в «донаучных» воззрениях на развитие общества, не может быть подлинно марксистской науки об истории общественной мысли. А это возвращает нас к проблеме критериев такого анализа.

О ДВУХ ВИДАХ КЛАССОВОЙ ОГРАНИЧЕННОСТИ

Марксистский анализ истории общественной мысли не может не опираться на принцип партийности. Мы говорим, что в обществе, расколотом на враждующие, антагонистические классы, не может быть нейтральных, «надклассовых» общественных теорий. Независимо от воли и замыслов их создателей они неминуемо становятся орудием классовой идеологической борьбы. Требования отличать субъективные помыслы теоретика от объективного значения его теорий, отличать его представления о самом себе и своей роли от той роли, которую он играл в действительности, на первый взгляд представляется не столь сложным. Но только на первый взгляд. . .

Сложность проблемы в том, что понятие «классовая ограниченность» не является однозначным. Для историка общественной мысли крайне важна способность, умение отличать теории и учения, сознательно продиктованные корыстными классовыми интересами, от теорий и учений, классово ограниченных, но не свя-

²⁵ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 20, стр. 16.

²⁶ Там же, стр. 87.

занных с корыстными интересами реакционных классов, учения заведомо ложные — от заблуждений, продиктованных неспособностью теоретика проникнуть в суть явлений из-за неразвитости этих общественных явлений самих по себе.

Маркс в «Теориях прибавочной стоимости» настойчиво противопоставлял в этом плане двух представителей политико-экономической мысли прошлого — Рикардо и Мальтуса. Теория трудовой стоимости Рикардо, защита им принципа свободной конкуренции соответствовали в общем и целом интересам крепнущей промышленной буржуазии Англии. Но Рикардо отстаивал свободное развитие промышленного капитализма вовсе не потому, что он желал увековечить господство буржуазии в целом или какого-либо ее слоя в особенности. Он совершенно искренне видел в капиталистическом строе наилучшее средство обеспечения счастья всех индивидов, максимального роста производительных сил общества. И для подобного воззрения были в ту пору свои основания. Маркс подчеркивал: «Рикардо рассматривает капиталистический способ производства как самый выгодный для производства вообще, как самый выгодный для создания богатства, и Рикардо вполне прав для своей эпохи»²⁷.

Эта субъективная установка Рикардо гарантировала полную научную беспристрастность анализа, и если он не вскрыл преходящий характер капиталистических отношений, то только потому, что сам антагонизм интересов труда и капитала существовал в еще неразвитых формах. Там, где Рикардо фиксировал противоречие интересов капитализма интересам развития производства вообще, он выявлял его безбоязненно, покидая в ряде случаев классовую буржуазную точку зрения, отказываясь от нее. «Там, где буржуазия вступает в противоречие с этим развитием, — писал Маркс, — Рикардо столь же *беспощадно* выступает против буржуазии, как в других случаях — против пролетариата и аристократии»²⁸.

Мальтус в своих апологетических построениях с самого начала ставил перед собой иную цель: обосновать необходимость существования непроизводительных классов общества и прежде всего землевладельческой аристократии. При такой субъективной установке он — в противоположность Рикардо — делал из наличного теоретического материала «только такие выводы, которые *«приятны»* (полезны) аристократии против буржуазии и им обоим — *против* пролетариата. Он поэтому хочет не *производства ради производства*, а лишь производства в той мере, в какой оно поддерживает или укрепляет *существующий* строй и служит выгоде господствующих классов»²⁹.

²⁷ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 26, ч. II, стр. 123.

²⁸ Там же, стр. 124.

²⁹ Там же.

Классовая ограниченность и Рикардо и Мальтуса для Маркса была несомненной, но это не мешало ему видеть не просто различные, но и прямо противоположные черты этой ограниченности. Главной чертой Рикардо, подчеркивал Маркс, была научная добросовестность, главной чертой Мальтуса — глубокая низость мысли. Называя Рикардо истинным мужем науки, Маркс писал: «Но человека, стремящегося *приспособить* науку к такой точке зрения, которая почерпнута не из самой науки (как бы последняя ни ошибалась), а *извне*, к такой точке зрения, которая продиктована *чуждыми* науке, *внешними* для нее интересами, — такого человека я называю «*низким*»... «поп» Мальтус не жертвует особым интересом во имя производства, а *из* всех сил *старается* требования производства принести в жертву особым интересам господствующих классов или классовых групп в существующем обществе. И ради этой цели он *фальсифицирует* свои выводы в области науки. В этом его низость *в отношении науки*, его грех против науки, не говоря уже о его бесстыдном плагиаторстве, практикуемом им в качестве ремесла. Выводы Мальтуса по научным вопросам сфабрикованы «с *оглядкой*» на господствующие классы вообще и на реакционные элементы этих господствующих классов в особенности; а это значит: Мальтус *фальсифицирует* науку в угоду интересам этих классов»³².

Подчеркивая «стоический» характер рассуждений Рикардо в противовес плагиаторским, исполненным расчета выводам Мальтуса, Маркс имел в виду не одну только моральную сторону дела. Моральная сторона в громадной степени определяла содержательность исследований.

Связь этического момента с теоретико-познавательным, таким образом, крайне важна: содержательность той или иной классовой идеологии оказывается связанной с относительным бескорыстием идеологов данного класса, само это бескорыстие — с той ролью, которую данный класс играет в данный исторический момент своего развития.

В области истории экономической мысли содержание «классовоограниченных» и вместе с тем ценнейших в научном отношении теорий было в полной мере снято трудами Маркса. Напомним, что выводы теории трудовой стоимости того же Рикардо стали достоянием марксистской политико-экономической науки. Но этого нельзя сказать о других областях социального знания.

Вернемся в связи с этим еще раз к Просвещению XVIII в. Редко в каком пособии по истории мысли XVIII в. не встретишь слов Ленина по поводу просветительства: «... У нас зачастую крайне неправильно, узко, антиисторично понимают это слово, связывая с ним (*без различия исторических эпох*) своекорыстную

³⁰ Там же, стр. 125.

защиту интересов меньшинства»³¹. Но от формального, общего признания этой мысли до ее последовательного применения в конкретном анализе — дистанция немалого размера. Нередко в своем отношении к «допролетарским» мыслителям историк руководствуется иным, твердо соблюдаемым неписанным правилом: чем жестче, категоричнее осуждение данного мыслителя (данного направления) домарксовской мысли, тем весомее, так сказать, «партийнее» критика.

Вот один из обвинительных приговоров, вынесенных мыслителям XVIII в.: «Деятели „французского просвещения“, историческая роль которых заключалась в сокрушительной критике устоев феодального общества и государства, являлись идеологами поднимающейся буржуазии. Это наложило печать либеральной ограниченности на их политическую доктрину. Они пуще огня боялись революционного народа, третировали его как темную и невежественную массу, как „быдло“, „чернь“, „толпу“, „скот“, которому, по выражению Вольтера, нужны „лишь погонщик и корм“. Выступление угнетенных народных масс в качестве активной силы должно было, по их мнению, привести к гибели цивилизации и культуры. Поэтому большинство французских просветителей выступало пропагандистами „просвещенного абсолютизма“ и все упования возлагало на „мудрого монарха“, который, повинувшись велениям разума, проведет необходимые реформы. Их мировоззрение было пропитано буржуазным индивидуализмом»³².

Мы цитируем в данном случае редакционную статью одного из наших журналов конца 40-х годов, где «разоблачительный» подход представлен в обнаженной форме. Но отголоски этих суждений часто слышны и в изданиях 60-х годов. Вот как передано в одном из них отношение Вольтера к народу и революции: «О массах он говорил свысока, обнаруживая полное неверие в силы и способности народа. Активность масс пугала Вольтера: „Когда чернь примется рассуждать, все погребло“. Вольтер не хотел революционного переворота и все свои надежды возлагал на реформы сверху»³³.

На первый взгляд — перед нами пример воинствующей партийности, той самой, которая, по Ленину, тождественна строжайшей объективности. Но соблюдено ли тождество в данном примере?

Прежде всего обратимся к фактам. Тот же «буржуа» Вольтер мечтал о временах, когда народ станет просвещенным. «Для меня было бы радостью, если бы мой каменщик, мой плотник, мой кузнец, которые помогли мне построить дом, если бы мой сосед

³¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 2, стр. 520.

³² «Советское государство и право», 1949, № 9, стр. 1—2.

³³ История политических учений. М., 1960, стр. 274.

крестьянин и мой друг промышленник поднялись бы выше своей профессии и познали бы общественный интерес лучше, нежели самый дерзкий чауш (судебный пристав) в Турции. Ни один труженик, ни один работник не должен бояться при демократии притеснения и пренебрежения... Быть свободным, иметь только равных — это истинная жизнь, естественная жизнь людей»³⁴. Что касается упований «буржуа» и «либерала» Вольтера на одних только «мудрых» монархов, то вот его же мысль о цене свободы, добытой Англией: «За учреждение свободы в Англии, несомненно, пришлось немало заплатить; идола деспотической власти смогли потопить только в море крови; но англичане не считают, что они слишком дорого заплатили за хорошие законы»³⁵. Добавим, что к концу жизни мыслитель с юношеским задором встречает первые предвестия обновляющей революционной грозы и в своей собственной стране. «Всё, как я вижу, — писал он в 1764 г., — сеет семена революции, которая неизбежно придет и свидетелем которой я не испытаю удовольствия быть. Французы всегда запаздывают, но в конце концов все же приходят к цели. Свет понемногу настолько распространился, что воссияет при первом же случае, и тогда произойдет изрядная кутерьма. Молодые люди поистине счастливы; они увидят прекрасные вещи»³⁶.

А вот и свидетельство того, третировал ли «буржуа» Вольтер народ как «чернь», «толпу», «скот»: «Нет, сударь, не все потеряно, когда народу дают возможность убедиться в том, что он имеет разум. Все потеряно, наоборот, когда с ним обращаются, как со стадом быков, ибо тогда, рано или поздно, они забодают вас своими рогами. Думаете ли вы, что народ читал и рассуждал в эпоху войны Красной и Белой розы в Англии, в дни гибели Карла I на эшафоте, в страшные времена армяняков и бургундцев или в ужасные дни Лиги? Народ, невежественный и жестокий, был тогда в руках нескольких фанатических наставников, которые кричали ему: „Убивай всех, во имя бога“»³⁷.

Может быть, историки, без конца осуждающие антидемократизм и антиреволюционность Вольтера, просто не знают источников? Но ведь добрая половина приведенных нами высказываний содержится в книге академика К. Н. Державина «Вольтер», вышедшей в 1946 г. Кстати, К. Н. Державин, приводя отдельные презрительные высказывания Вольтера о народе, замечал: «Подобные мнения, впрочем, высказываются только в частной переписке Вольтера и в очень редких случаях»³⁸.

³⁴ См. Н. Sée. *L'évolution de la pensée politique en France au XVIII^e siècle*. Paris, 1925, p. 122.

³⁵ Там же, стр. 120.

³⁶ См. К. Н. Державин. *Вольтер*, стр. 12.

³⁷ Там же, стр. 277.

³⁸ Там же, стр. 276.

Но примитивные «приговоры» не только упрощают всю сложность отношений просветителей к народу и монархической власти, игнорируют эволюцию их взглядов, выдают отдельные высказывания и суждения за суть их отношения к народу вообще. Главная их опасность в ином — они заслоняют проблемы, стоящие за так называемыми ошибками, а тем самым и суть дела, далеко не такую простую, как это представляется авторам цитированных нами работ.

Если не только «либерал» Вольтер, но и такие безусловные демократы, как Руссо или Дидро (а в XIX в. Сен-Симон и Фурье), боялись вторжения «невежественных масс» на арену истории, то вовсе не потому, что из-за своей буржуазной или иной классовой ограниченности они считали народ «быдлом», «чернью», «скотом». Дело в другом — отрешенной от знаний, невежественной массой делали народ века рабского существования под игом эксплуататоров. Это был реальный исторический факт, с которым ни один мыслитель-реалист XVIII—начала XIX в. не мог не считаться. Верить, что активное вторжение в ход общественной жизни такого народа (а подавляющая его масса была начисто отрезана от света просвещения, от каких-либо «разумных» идей) приведет к благим последствиям, и означало быть политическим утопистом. Такая вера была бы свидетельством не силы, а слабости мыслителя, была бы чисто идеалистической, религиозно-мессианской верой в народ. Мыслителям-реалистам, которые и верили в народ и хотели считаться с историей, оставалось надеяться (как это было, например, в России XVIII в. с Радищевым, а в России XIX в. с Чернышевским), что через одно-два столетия другой, «прозревший» народ совершит или довершит начатую революцию. Другим оставалось по-прежнему питать надежды на просвещение власть имущих, и это — при всей шаткости подобных надежд, при всем недоверии к «просвещенным монархам», точно так же основанном на многовековом опыте истории.

Разумеется, перед нами буржуазная ограниченность просветителей, но не как прирожденное или унаследованное ими от своего класса качество, а как ограниченность тех исторических условий, в которых складывался буржуазный строй. То, что опасения просветителей, их сомнения насчет способности народа самому творить историю были достаточно обоснованными, говорит и история Великой Французской революции, когда неимущие плебейские массы, захватив на одно мгновение власть, «доказали только всю невозможность господства этих масс при тогдашних отношениях»³⁹. О том же говорит, пожалуй, и история всего XIX в. Во всяком случае, неоспоримо, что всю его первую поло-

³⁹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 20, стр. 268—269.

вину самый передовой в то время французский пролетариат, «едва только выделившийся из общей массы неимущих в качестве зародыша нового класса, еще совершенно неспособный к самостоятельному политическому действию, казался лишь угнетенным, страдающим сословием, помощь которому в лучшем случае, при его неспособности помочь самому себе, могла быть оказана извне, сверху»⁴⁰. И не случайно столетие спустя после Вольтера в той же Франции революционер Бланки будет биться по сути над той самой проблемой, которая мучила Вольтера или Гельвеция, — как совершить революцию при почти полном отсутствии поддержки широких народных масс. И Бланки «решит» эту проблему в совершенно традиционном духе, заменив только волю «просвещенного монарха» волей активного «революционного меньшинства».

В нашей литературе — мы переходим к общественной мысли России — принято, например, объяснять неприятие декабристами гражданских войн и революции их «дворянским происхождением», классовой ограниченностью их мировоззрения. Но хотя печать классовой узости действительно лежит на проектах декабристов, выводить только отсюда специфически декабристское понимание средств и целей революционной борьбы было бы крайне примитивным. Отрицательный опыт буржуазных революций Запада, террор эпохи якобинской диктатуры, выродившийся в наполеоновское самовластье, — вот что прежде всего отталкивает декабристов от кровопролитной гражданской войны. Свидетельство Пестеля (да и не только Пестеля) настолько недвусмысленно, что можно удивляться, как проходят мимо него многие историки. «Ужасные происшествия, бывшие во Франции во время революции, — писал Пестель, — заставляли меня искать средство к избежанию подобных, и сие-то произвело во мне впоследствии мысль о временном правлении и о его необходимости и всегдашние мои толки о всевозможном предупреждении всякого междоусобия»⁴¹.

Но если у предшественника дворянских революционеров Радищева эти события вызвали на грани XVIII и XIX вв. безысходный кризис, отказ от революционности вообще («Песнь историческая», «Оснадцатое столетие»), то у декабристов мы видим своеобразные попытки ограничить сферу насильственного переворота, не отказываясь от революционных действий.

Объяснит ли нам что-либо в этом сдвиге анализ «классовой природы» мыслителей? Радищев был дворянином, дворянами были и его последователи. Суть здесь в ином. Радищев — живой сви-

⁴⁰ Там же, стр. 269.

⁴¹ П. И. Пестель. Из показаний. — В кн.: Избранные социально-политические и философские произведения декабристов, т. II. М., 1951, стр. 165.

детель краха якобинской диктатуры, наблюдающий одни только его непосредственные, как казалось, только отрицательные политические последствия. Пестель — наблюдатель, отделенный от эпохи террора почти тремя десятилетиями, которые успели выявить прогрессивность социальных преобразований, совершенных во время «страшной резни», их неискоренимость, а главное — их неприкосновенность. Вот еще одно из его гениальных обобщений: «Возвращение Бурбонского Дома на французский престол и соображения мои впоследствии о сем происшествии могу я назвать эпохою в моих политических мнениях, понятиях и образе мыслей, ибо начал рассуждать, что большая часть коренных постановлений, введенных революцией, были при ресторации монархии сохранены и за благие вещи признаны, между тем как все восставали против революции, и я сам всегда против нее восставал. От сего суждения породилась мысль, что революция, видно, не так дурна, как говорят, и что может даже быть весьма полезна, в каковой мысли я укреплялся тем другим еще суждением, что те государства, в коих не было революции, продолжали быть лишенными подобных преимуществ и учреждений»⁴².

Итак, более узкая историческая практика порождает в конце XVIII в. и в европейском масштабе, и в России глубочайший идейный кризис; практика более широкая заставляет искать выход из него, который декабристы и пытаются нащупать, снова возвращаясь к идее революции, но революции «военной», «ограниченной».

При этом нельзя сказать, чтобы такое решение удовлетворяло всех декабристов. С одной стороны, некоторые из них понимают, что отстранение народа уменьшает шансы на победу — при перевороте нужны «простор», «увлечение»⁴³. С другой — опора только на армию грозит новой узурпацией власти и в случае победы: «пример» Кромвеля и Наполеона декабристы знали не хуже Радищева. Вспомним в связи с этим полемику Борисова 2-го (Борисова П. И.) с Бестужевым-Рюминым в Обществе соединенных славян. «По вашим словам, — возразил Борисов 2-й, — для избежания кровопролития и удержания порядка, народ будет вовсе устранен от участия в перевороте; революция будет совершенно военная, одни военные люди произведут и утвердят ее. Кто же назначит членов Временного правления? Ужели одни военные люди примут в этом участие? По какому праву, с чьего согласия и одобрения будет оно управлять 10 лет целою Россиею? Что составит его силу, и какие ограждения представите в том, что один

⁴² П. И. Пестель. Из показаний. — В кн.: Избранные социально-политические и философские произведения декабристов, т. II, стр. 165.

⁴³ С. Г. Волконский. Из «Записок». — Там же, стр. 277.

из членов вашего правления, избранный воинством и поддерживаемый штыками, не похитит самовластия?»⁴⁴.

Таким образом, простые механические отсылки к классовой ограниченности мыслителей — буржуазной, мелкобуржуазной, дворянской — для мыслителей, чуждых классового своекорыстия, не могут объяснить нам ни их иллюзий, колебаний и блужданий, ни сложности их поисков, ни противоречивости эволюции теоретической мысли вообще, ищущей решения сложнейших проблем общественного бытия. Такие отсылки скорее уводят от реальной проблематики общественного сознания разных эпох, чем подводят к ней.

В своей статье мы коснулись тех специфических трудностей, которые возникают перед историком общественно-политической мысли. Разумеется, историку приходится сталкиваться в ходе анализа и с затруднениями общегносеологического плана. Но это тема особого разговора.

⁴⁴ И. И. Горбачевский. Из «Записок». — В кн.: Избранные социально-политические и философские произведения декабристов, т. III. М., 1951, стр. 36.

К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

А. И. Ракитов

Историческое исследование представляет собой особый вид деятельности, обладающий как чертами, общими для всех видов научного исследования, так и особенностями, отражающими специфику изучаемых объектов.

Поэтому изучение структуры исторического исследования должно выяснить:

- 1) что представляет собой процесс исследования в общем виде;
- 2) в чем заключается специфика объектов исторического исследования и
- 3) каким образом эта специфика учитывается структурой исторического исследования.

ПРОЦЕСС ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЩЕМ ВИДЕ

Остановимся сначала на понятии «исследование» и на его структуре в общем виде, безотносительно к конкретным видам и типам исследования. *Процесс исследования* представляет собой особый способ приобретения новых знаний, наиболее существенный, но не единственный элемент научной деятельности, ибо, помимо него, существуют и иные виды научной деятельности, заключающиеся в хранении и переработке уже имеющихся знаний с целью придания им большей компактности, удобства пользования и т. д. «Новыми» обычно называют два вида знаний. Во-первых, такие, которых до начала данного конкретного исследования вообще не было в системе научных знаний, и, во-вторых, такие, которых не было в данной системе знаний (например, в исторической науке), но имели место в другой (например, в лингвистике,

этнографии и т. д.) и были заимствованы из этой последней. В настоящей статье мы будем рассматривать в качестве новых лишь знания первого вида, так как их приобретение и образует основную цель всякой науки.

Процесс исследования, понимаемый указанным образом, представляет собой особую разновидность познания. В отличие от продуктов обычного познания, дающих, как правило, лишь знания о предметно-ориентировочных связях объектов, включенных в повседневную практику, знание, получаемое в научном исследовании, фиксирует законы, закономерные связи, относящиеся как к объектам обычной деятельности людей, так и к объектам, находящимся вне границ этой деятельности¹. Таким образом, все объекты обычного познания могут стать объектами научного исследования, но не наоборот.

Так как результаты исследования зависят от характера, последовательности применения и степени совершенства приемов и методов, используемых в исследовании, то сам процесс исследования может и должен стать объектом научного изучения. Такое изучение осуществляется особой дисциплиной — *методологией науки*, отвлекающейся от психологических, физиологических, социальных и других аспектов анализа и рассматривающей прежде всего объективную структуру процесса исследования и строение образующих его компонентов. Однако потребность в подобном изучении возникает лишь при определенных условиях. Чтобы выяснить эти условия и одновременно с этим установить общую структуру исследования, обратимся к анализу процесса решения задач, ибо исследование, как будет показано в дальнейшем, представляет собой особый случай решения задач.

В качестве иллюстрации *постановки и решения задач* воспользуемся примером из истории античной механики. Жрецы одного античного храма обратились к скульпторам с просьбой сделать копию популярной статуи Аполлона. Объем копий должен был в три раза превосходить объем оригинала. Взявшись за выполнение заказа, скульпторы, однако, очень скоро убедились, что копия, которую они собираются изготовить, будет превосходить оригинал не в 3, а почти в 30 раз, хотя все приемы создания копии строго соответствовали их представлению об увеличении определенных величин. Таким образом, между реальным результатом решения задачи и первоначально намеченной целью возникло явное несоответствие. Такое несоответствие мы будем называть *конфликтной ситуацией*. Возникновение конфликтной ситуации всегда свидетельствует о неблагополучии в процессе решения задачи и, независимо от того, идет ли речь о не-

¹ Разумеется, грань между обычной и специфически научной деятельностью условна, но для каждого определенного периода ее можно провести достаточно точно.

удачах первоклассника, античного скульптора или современного ученого, приводит к необходимости изучить саму процедуру решения задач с целью выявления и устранения скрытых в ней ошибок и недостатков. Вместе с тем подобное изучение приводит к выявлению структуры, иными словами, состава и последовательности этапов решения задач. Компоненты решения легко обнаружить, рассматривая, в частности, нашу задачу со скульптурами.

Первым компонентом решения любой задачи являются *объекты задачи*. Их можно разделить на две группы: а) исходный объект O_1 , на основании которого формулируется задача, и б) конечный объект O_2 , т. е. результат, полученный в ходе решения задачи. В нашем примере исходный и конечный объекты представлены механическими феноменами (статуя-оригинал и статуя-копия), однако в принципе они могут быть явлениями любой природы, в том числе определенными математическими данными, системами информации и т. д. Задача считается решенной, если конечный объект по своим характеристикам совпадает с целью, зафиксированной в формулировке задачи. Несовпадение между ними образует конфликтную ситуацию.

Формулировка задачи, включающая информацию об исходном объекте, о цели, перечень недостающих данных, некоторые дополнительные сведения об условиях решения задачи, образует второй компонент. Формулировка задачи является одной из наиболее важных предпосылок ее решения. М. Планк как-то даже заметил, что успех решения задачи в значительной мере зависит от правильности ее формулировки. Многие конфликтные ситуации возникают именно вследствие неверной постановки задачи, однако в нашем примере задача сформулирована правильно. В дальнейшем мы всегда будем предполагать это условие выполненным и ограничимся лишь рассмотрением процессов, исключающих ошибки в формулировке задачи.

Третьим компонентом решения задачи являются так называемые *готовые знания*, т. е. знания, фиксированные в языковой форме и выступающие в каждом конкретном процессе решения задачи как механизм переработки и получения новой информации или как совокупность правил, на основании которых предпринимаются те или иные действия с объектами или вспомогательными средствами, необходимыми для получения конечного объекта.

В дальнейшем мы остановимся подробнее на анализе понятия «готовые знания», а теперь перейдем к последнему компоненту решения задачи. Этим компонентом является *система действий*, предпринимаемых на основании третьего компонента для достижения целей, сформулированных в задаче, т. е. для решения задачи.

Можно было бы в качестве особого компонента выделить *систему орудий и инструментов*, при помощи которых осуществ-

ляется эта деятельность, ибо несовершенство этой системы, неправильный подбор ее элементов и т. п. нередко служат источником конфликтных ситуаций, особенно при решении сложных экспериментальных задач в современном естествознании. Однако, поскольку ни в нашем примере со скульптурами, ни в дальнейших рассуждениях, связанных в основном с теоретической, а не предметно-орудийной деятельностью, этот фактор не играет заметной роли, мы не будем его касаться. Разумеется, это несколько огрубляет нашу схему решения задач, но, вместе с тем, подобное упрощение делает ее более доступной и удобной для теоретического анализа.

Определив компоненты решения всякой задачи, выясним прежде всего, что знали и как действовали античные механики? В их распоряжении было подтвержденное многовековой практикой знание об оперировании с линейными параметрами. Они знали, например, что для увеличения некоторой величины a в n раз необходимо умножить a на n . Если, в частности, речь шла об увеличении длин, то это достигалось путем n -кратного откладывания эталона длины в заданном направлении. Такова была процедура действий, соответствовавшая их математическим знаниям. Для того чтобы понять ход их мысли и действий, приведших к конфликтной ситуации, упростим несколько условия задачи и заменим скульптуру-оригинал равным по объему кубом с гранями, длина которых равна a . Тогда первоначальную задачу можно было бы сформулировать как задачу о трехкратном увеличении объема этого исходного куба. Умея увеличивать линейные параметры, античные скульпторы попытались свести задачу увеличения объемов к задаче увеличения длин; поэтому они пришли к выводу, что задача будет решена, если построить новый куб, каждая грань которого будет равна $3a$. Легко подсчитать также, что если объем исходного объекта был равен a^3 , то объем конечного равен $3a \times 3a \times 3a = 27a^3$, т. е. почти в 30 раз больше исходного и в 9 раз больше того, что требовалось по условиям задачи. Мы видим, таким образом, что, действуя в соответствии с готовым знанием, пригодным для решения задач определенного рода, мы приходим к конфликтной ситуации, для устранения которой необходимо располагать готовыми знаниями иного рода и определить новую систему действий, адекватную этим знаниям, но не ведущую к конфликтной ситуации. Чтобы больше не беспокоить тени античных скульпторов, укажем, что подобные знания были приобретены значительно позднее и связаны с овладением относительно сложными алгебраическими операциями.

Примеры, подобные только что рассмотренному, не только помогают выявить структуру и состав компонентов процесса решения задач, но и заставляют задуматься над самой процедурой решения задачи и обнаруживают, что изучение этой процедуры не менее важно, чем изучение объектов самой задачи.

Посмотрим теперь, в каком отношении процесс *исследования* находится к процессу *решения задачи*. Для этого введем два новых понятия: *базисная* и *производная* задачи. Производной мы будем называть задачу, объектом которой является процесс решения какой-либо другой задачи, являющейся базисной по отношению к данной производной. Условимся также считать, что объектами базисной задачи могут быть феномены любой природы, с одним исключением: они не должны быть процессом решения какой-либо задачи или ее отдельными компонентами. В разобранном выше примере базисной является задача со скульптурами, а производной — задача, вызванная потребностью изучить процесс решения базисной. Из сказанного следует, что исходный и конечный объекты производной задачи всегда представляют собой различного рода знания или систему знаний. Теперь можно указать, что процесс решения производной задачи есть не что иное, как процесс исследования, что находится в полном соответствии с пониманием исследования как способа выработки нового знания. Вместе с тем следует подчеркнуть, что решение производной задачи, а следовательно, и процесс решения содержит компоненты, аналогичные по выполняемой функции соответствующим компонентам базисной задачи и отличающиеся от последних лишь тем, что конечный объект производной задачи всегда представляет собой знание, тогда как конечный объект базисной задачи может быть вещественным феноменом (скульптурой, машиной, предметом обихода и т. п.). Это различие позволяет достаточно жестко определить *процесс исследования как процесс решения задач, конечным объектом которых является новое знание*. В частности, производные задачи относятся к тому типу исследований, которые принято называть теоретическими исследованиями. Кроме производных задач, теоретические исследования включают в себя и базисные задачи, порожденные не конфликтными ситуациями, а другими причинами, на которых мы сейчас не будем останавливаться.

Таким образом, решение производных задач всегда представляет собой исследование, тогда как решение базисных в одних случаях может быть исследованием, а в других — не является исследованием.

Заметим теперь, что выделение процесса исследования как особой разновидности процесса решения задач связано с различием двух типов объектов, а именно: объектов-знаний, фиксируемых в языковой, знаковой форме, и внезнаковых объектов, т. е. химических, биологических, социальных и других феноменов. Объекты первого рода мы будем обозначать через O^* , объекты второго — через O с соответствующими числовыми индексами в правом нижнем углу. Если классифицировать теперь всевозможные процессы решения задач лишь на основании указанных различий в характере исходного и конечного объектов, то эта

классификация исчерпывающе определяется следующими комбинациями объектов:

$$O_1 \rightarrow O_2 \quad (1)$$

$$O_1^* \rightarrow O_2 \quad (2)$$

$$O_1 \rightarrow O_2^* \quad (3)$$

$$O_1^* \rightarrow O_2^* \quad (4)$$

Согласно определению, к исследованию относятся лишь процессы (3) и (4) при условии, что конечные объекты (O_2^*) представляют собой новые знания. Процесс (3), как правило, называют эмпирическим, а процесс (4) — теоретическим исследованием. Процесс (2) характерен для задач, посвященных экспериментальной проверке наличного знания, например при верификации и фальсификации, а также для задач, связанных с реализацией, «овеществлением» замысла. (Относительно процесса (2) следует сделать дополнительное объяснение. Дело в том, что по своей структуре он не подходит под строгое определение исследования, поскольку его конечный объект не является знанием. Однако в случае, когда O_1^* является новым знанием и необходимо оценить и проверить эмпирическое значение этого знания, чтобы иметь основание для включения его в некоторую научную систему или элиминации из нее, процесс (2) можно рассматривать как исследование. Такое расширение понятия исследования не только согласуется с общепринятым его употреблением, но и верно по существу, так как процессы верификации и фальсификации, проводимые по схеме (2), позволяют установить статус нового знания, выступающего в данном случае в качестве исходного объекта. С учетом этих соображений мы и будем говорить о процессах типа (2) как об исследованиях.) Процесс (1) указывает на соотношение объектов, характерное для так называемых производственных задач, аналогичных нашей задаче со скульптурами. Производные задачи всегда относятся к исследованию теоретического типа — задачам типа (4), тогда как базисные могут принадлежать к любому из четырех типов, указанных в нашей таблице. В том случае, когда в качестве базисных выступают процессы решения задач (2), (3) и (4), решение производной задачи, как правило, называют метаисследованием. В этом смысле логику и методологию наук нередко называют метанаукой.

Рассматривая процесс исследования как особый тип решения задач, целью и результатом которых является выработка новых знаний, мы, естественно, сталкиваемся с вопросом, в каком отношении находятся эти новые знания к так называемым готовым знаниям, являющимся неперменным компонентом всех процессов решения задач. К обсуждению этого вопроса мы теперь и перейдем.

Разграничение и установление *взаимосвязи между готовым и новым знанием* является одной из наиболее деликатных проблем логики науки. Для большей простоты воспользуемся некоторыми наглядными аналогиями. Допустим, что мы наблюдаем за работой текстильной машины. На входе этой машины имеется нить — пряжа, на выходе, после того как машина совершила определенный цикл манипуляций, — новый продукт, ткань. Между машиной, с одной стороны, и объектами ее деятельности (исходным — пряжей и конечным — тканью), с другой, можно установить ряд четко фиксируемых различий. Прежде всего это различия в их физической природе: машина — металлический агрегат, объекты — нить и ткань. Далее, машина активна, а объекты пассивны, они суть результат деятельности, осуществляемой машиной. Наконец, машина и объект различаются по своим функциям: машина служит для изготовления ткани, ткань служит для изготовления одежды. Дело осложняется, если мы сталкиваемся с двумя объектами, идентичными по своим физическим и функциональным свойствам, из которых один является средством изготовления другого, например, если на месте раскопок обнаруживаются два идентичных каменных зубила, из которых одно может быть орудием для изготовления другого. Какое из них является объектом, а какое инструментом деятельности, установить без дополнительной информации порой невозможно. Но это относительно легко сделать, наблюдая процесс изготовления данного предмета.

Обратимся теперь к вопросу о готовом и новом знании. Дело в том, что систему готового знания, выступающего в качестве компонента в любом процессе решения задач, можно рассматривать как своего рода машину. Термин «машина» употребляется здесь в том смысле, какой придает ему кибернетика². Машина понимается как функционирующая система, работающая по принципу повторяющихся циклов, так что после выполнения определенного круга операций машина возвращается в исходное состояние. При этом на всем протяжении функционирования машина подвергает изменениям свои объекты, но сама, в определенных границах, существенным изменениям не подвергается. В этом смысле в качестве машин можно рассматривать некоторые системы знания, используемые при решении того или иного класса задач. Например, при решении вычислительных задач роль такой машины может выполнять та или иная формула или совокупность формул. Подставив в эти формулы на место переменных исходные числовые значения и выполнив указанные операции, мы получим некоторый результат, удовлетворяющий или не удовлетворяющий условиям задач. После выполнения этих операций и получения результатов первоначальные формулы остаются неиз-

² См., например, У. Р. Эшбш. Введение в кибернетику. М., 1959.

менными и вновь пригодны для решения задач того же класса с другими исходными данными. Эта процедура может повторяться неограниченное число раз, вплоть до возникновения конфликтной ситуации, обнаруживающей изменения в самом характере задачи, в исходных объектах, или неосуществимость по тем или иным причинам операций, указанных в формулах. Формулы, выступающие в роли машины, могут рассматриваться как готовые знания, не подвергающиеся изменению в процессе решения данной задачи. Разумеется, сами они могли бы быть получены как результаты решения каких-то других задач, но это не меняет существа дела.

В тех случаях, когда исходный и конечный объекты задачи являются внезапными, как в нашей задаче со скульптурами, отличить их от готового знания, т. е. знаковой системы, так же легко, как пряжу и ткань от ткацкой машины. Но когда речь идет о задачах, в которых по крайней мере один объект представляет собой знание, фиксированное в знаковой форме, проводить различие между готовым знанием и объектами становится чрезвычайно трудно. Это затруднение усугубляется тем, что новые знания, полученные при решении одной задачи, т. е. являющиеся конечным объектом этой задачи, могут использоваться в другой задаче как готовые знания, т. е. как система, работающая в режиме машины. Это, кстати, всегда имеет место по отношению к конечному объекту производной задачи, который затем, собственно, и создается, чтобы в дальнейшем сыграть роль готового знания для ликвидации конфликтной ситуации, возникающей в базисной задаче.

Сказанное может быть резюмировано следующим образом:

1) «готовые» знания, выступающие в качестве третьего компонента в процессе решения задач, работают в режиме функционирующего механизма;

2) их отличие от объектов типа O^* может быть установлено лишь для каждой данной задачи и носит локальный характер, ибо за границами данной задачи знания, выступающие в качестве ее объектов, сами могут играть роль «готовых» в некотором другом процессе.

Установленные здесь различия позволяют точнее определить область логики и методологии исследования. Анализ и оценка различных определений логики выходят за рамки настоящей статьи. Мы ограничимся лишь замечанием, что цель логики научного исследования, в нашем понимании, заключается в изучении систем готового знания, работающих в режиме функционирующих механизмов и используемых в различных процессах исследования. Цель методологии — изучение определенных систем действий и операций над объектами, осуществляемых в соответствии с информацией, заключенной в готовом знании. Такое понимание не исключает других интерпретаций терминов логика и методология

исследования, но в данной статье мы будем рассматривать все проблемы под углом зрения принятых определений.

Теперь нам предстоит выяснить, каким образом общие характеристики процесса исследования в целом могут быть применены к анализу исторического исследования, каковы особенности компонентов исторического исследования и каковы специфические проблемы логики и методологии исторического исследования, определяющие место этой дисциплины в общей системе логики и методологии наук.

СОСТАВ И СТРУКТУРА ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В предыдущем разделе статьи мы выяснили состав компонентов и структуру процесса исследования в общем виде. Воспользуемся теперь этими представлениями в качестве предварительной схемы для анализа и детализации исторического исследования.

Историческое исследование относительно недавно стало объектом логико-философского анализа. Бурное развитие естественных наук на протяжении двух последних столетий вызвало, с одной стороны, повышенный интерес к логике и методологии естественных дисциплин, а с другой — обнаружило значительное различие между типами исследования, применяемыми в естественных и исторических науках. Различия эти, действительно имеющие место, были в конце XIX в. и первой четверти XX в. абсолютизированы в трудах Риккерта и некоторых других логиков и философов. Согласно их точке зрения, результат естественнонаучных исследований дает новые знания о законах изучаемых объектов, тогда как исторические исследования дают лишь систему описаний индивидуальных событий и состояний. В соответствии с этим первый тип исследования получил название генерализирующего, второй — индивидуализирующего. Такое понимание невольно привело к снижению интереса к изучению самой процедуры исторического исследования. Однако уже в 20-х и особенно 30-х годах обнаружилась тенденция к распространению приемов логического анализа систем знания на области исторического исследования. Благодаря работам Кейнса, Поппера, Гемпеля³ и других эта тенденция начиная с конца 30-х годов и по сей день постоянно усиливается и располагает довольно обширной литературой. Не касаясь общеполитических проблем, связанных с природой исторического знания, укажем лишь на один, весьма продуктивный, с нашей точки зрения, подход к этой проблеме. Он заключается в стремлении преодолеть поверхностный антагонизм между типами исследования, применяемыми в естественных и

³ Относительно взглядов Поппера и Гемпеля на логику исторического исследования см. статью И. С. Кона в данном сборнике.

исторических науках. Такое понимание, не игнорируя специфики этих типов исследования, акцентирует внимание на общих чертах исследовательской процедуры, позволяющих:

1) применить в историческом исследовании точные методы и приемы, аналогичные применяемым в естествознании;

2) определить структуру исторического исследования, ведущего к знанию о законах;

3) указать принципы, регулирующие соотношение эмпирического и теоретического исследования в исторических науках, и распространить на историческую науку общие критерии научности, выработанные современной логикой и методологией наук.

Ниже мы рассмотрим отдельные проблемы, вытекающие из такого подхода к анализу исторического исследования.

Для этого введем два вспомогательных определения:

1. Будем называть *внутренними компонентами структуры исследования* постановку задачи, готовые знания и систему действий, предпринимаемых для осуществления целей, зафиксированных в формулировке исследовательской задачи.

2. Будем называть *внешней, или онтологической, системой исследования* совокупность объектов исследования.

Разделение типов научного исследования на генерализирующий и индивидуализирующий связано с фиксацией принципиальных различий в онтологических системах естественнонаучных и исторических дисциплин. А так как природа внутренних компонентов (и особенно возможность включения в систему научных знаний точных логических и математических знаний) в значительной мере детерминирована онтологическими системами, то различие в последних рассматривалось как непреодолимый барьер для применения точного аппарата в историческом исследовании.

Какие же доводы приводятся в подтверждение того, что объекты исторического и естественнонаучного исследований принципиально различны? Сравним для начала систему исходных объектов физических и исторических исследований. Что представляет собой система исходных объектов классической механики? Это прежде всего так называемые обычные тела, т. е. тела, размеры которых сопоставимы с размером человеческого тела, а скорости движения — несопоставимы со скоростью света. При визуальном или ином наблюдении мы с большей или меньшей отчетливостью фиксируем признаки различных тел, их размеры, окраску, пространственное положение и т. п. Совокупность всех подобных признаков, в принципе бесконечных по числу для каждого тела, образует индивидуальность. Два феномена считаются различными индивидуальностями или индивидами, если они различаются хотя бы одним фиксируемым признаком.

Для большинства обычных тел мы почти всегда располагаем средствами установления их индивидуальности. Однако когда механика формулирует, например, закон движения тела, брошен-

ного под углом к поверхности земли, то она вынуждена пренебречь индивидуальностью и выделяет из принципиально бесконечной совокупности признаков тела лишь несколько существенных или один из них. Такое выделение есть процесс абстракции, а феномен, полученный как его результат, представляет собой идеализированный объект. Все законы механики устанавливаются именно для таких идеализированных объектов, ибо каждый закон выражается формулой, состоящей из конечного числа символов, обозначающих конечное число параметров. Вследствие этого формулирование законов, учитывающих индивидуальность объектов, т. е. совокупность бесконечного множества параметров и характеристик, в принципе невозможно. Отсюда следует, что законы механики описывают не движение реальных физических объектов и измерений, фиксированных в экспериментальной процедуре или наблюдении, а движение идеализированных объектов. Последние являются результатом предельного перехода, предполагающего условное отождествление индивидуальностей путем идентификации конечного числа признаков и элиминации остальных.

Итак, первый вывод, который можно сделать, заключается в признании того, что классическая механика твердого тела формулирует свои законы не для реальных физических индивидов, а для идеализированных объектов, таких, как «механическая точка» и т. п. Если бы вместо идеализированных объектов в качестве исходных брались реальные физические индивиды, то законы классической механики вообще не могли бы быть сформулированы в силу отмеченных выше обстоятельств. Таким образом, генерализирующий, обобщающий или ведущий к открытию законов тип исследований, применяемый в естествознании, предполагает наличие идеализированных объектов, не данных непосредственно, но представляющих собой результат некоторой предварительной процедуры, а именно процедуры абстрагирования. Это замечание сохраняет силу, когда речь идет о других разделах естествознания, например о физике элементарных частиц. Отличие заключается лишь в том, что элементарные частицы не даны нам в непосредственном наблюдении, и мы можем фиксировать лишь более или менее ограниченное число признаков для каждой группы. К таким признакам относятся величина заряда, масса, электромагнитный момент, время существования и т. п. Поскольку число этих признаков ограничено, элементарные частицы выступают с самого начала как своего рода «идеализированные объекты», т. е. как объекты с конечным составом параметров, характеристик и т. п.⁴ Как известно, квантовомеханические за-

⁴ Разумеется, можно предполагать наличие индивидуальных различий у элементарных частиц одного наименования, но так как мы не обладаем никакими средствами экспериментальной регистрации этих различий, то подобные предположения носят характер чисто спекулятивный, натурфилософский в энгельсовском смысле этого слова.

коны формулируются в терминах статистики и вероятности, однако нет сомнений, что они отвечают всем требованиям, предъявляемым к законам науки, а именно — с их помощью можно объяснить и предсказать явления, наблюдаемые в данной предметной области. И здесь, следовательно, так же, как и в классической механике, генерализация, ведущая к знанию о законах, предполагает исходные объекты с конечным составом признаков. И для нас важно именно это, а не то, достигается ли такое ограничение в процессе абстракции или в силу каких-либо других условий.

Если мы теперь зададим вопрос, дает ли практика исследований, сложившаяся в исторической науке, какой-либо повод для резкого противопоставления их исследовательской процедуре, применяемой в естествознании и ведущей к открытию законов, то утвердительный ответ на этот вопрос кажется вполне оправданным. Известно, что многие историки пытались сформулировать законы исторической науки; при этом задача ставилась так, что эти законы должны быть результатом исследования исходных объектов, под которыми понимались так называемые конкретные исторические события. Но одновременно с этим выдвигалось два требования, по существу исключавшие успешное решение сформулированной задачи. Первое из них заключалось в том, что исторически конкретные ситуации рассматривались как исходные, изначальные индивидуальности, т. е. как исторические феномены с принципиально безграничным числом признаков, параметров и отношений. Второе — в том, что от законов исторической науки требовали невозможного, а именно скрупулезного объяснения и предсказания конкретных исторических событий, поступков и поведения отдельных лиц, вплоть до датировки этих событий и т. д. Однако даже законы классической механики, как мы видели, не в состоянии удовлетворять подобным требованиям, хотя законы эти относятся к бесконечно более простым объектам.

Нечего и говорить, что подобные требования совершенно неприемлемы для квантовой механики, законы которой применимы лишь к статистической совокупности индивидов, поведение которых объясняется и предсказывается лишь с определенной вероятностью.

Бесспорно, что всякая абстракция, заключающаяся в элиминации одних и фиксации других свойств и параметров объектов, связана с некоторой потерей информации о природе и поведении реальных индивидов. Но в то же время такая абстракция является необходимой предпосылкой к выработке законов науки. Следует иметь в виду, что выработка научного знания связана с осуществлением исследования на двух различных уровнях: эмпирическом и теоретическом. Понятия «эмпирический и теоретический уровни исследования» необходимо отличать от понятий «эмпирическое и

теоретическое знания»⁵. Характерной чертой эмпирического уровня исследования является то, что он дает знания о свойствах объектов и их предметно-ориентировочных связях, тогда как целью теоретического уровня является выработка знания о законах. Эмпирический уровень исследования необходим для всякой науки, однако изучение объектов исключительно на этом уровне делает для той или иной науки невозможным подняться выше так называемого обычного знания даже в том случае, если в процесс исследования включаются средства, не свойственные, вообще говоря, практике обыденного познания. И именно то обстоятельство, что исторические исследования в подавляющем большинстве не выходят за границы эмпирического уровня, служит основанием для отнесения исторических способов исследования к классу индивидуализирующих. Историческая наука, если она действительно стремится быть наукой не по названию, а по существу, должна отвечать определенным критериям научности⁶. Важнейшим из них, хотя и не единственным, является утверждение, что каждая наука должна иметь свою собственную теорию, представляющую собой систему высказываний, в которых формулируются определенные законы. При помощи этих законов осуществляется объяснение и предсказание в данной предметной области, а также формулирование новых законов.

Историческая наука, следовательно, должна иметь свои собственные законы, образующие ее теорию, отличающиеся от законов других наук и работающие в ее специфически предметной области. Когда мы слышим утверждения историков позитивистского толка, что они при своих исследованиях не обнаруживают никаких законов истории, то (не касаясь здесь идеологической стороны вопроса) мы видим, что эти утверждения, по существу, констатируют перманентную конфликтную ситуацию в системе исторических исследований, порожденную неспособностью существующей исследовательской процедуры выработать знания о законах исторического развития. Беря в качестве исходных объектов различных видов исторического исследования те или иные исторические индивидуальности, историки в качестве конечного объекта, т. е. результата исследования, получали знания о других подобных индивидуальностях, их взаимоотношениях, в лучшем случае частичные объяснения, но не законы своей науки. Причиной этого были упоминавшиеся выше неправомерные требования к исторической науке. Подобные требования, если говорить о гносеологи-

⁵ См. об этом подробнее: А. А. Зиновьев. Два уровня в научном исследовании. — В сб.: «Проблемы научного метода». М., 1964; А. И. Ракитов. О природе эмпирического знания. — В сб.: «Логическая структура научного знания». М., 1965.

⁶ См. А. И. Ракитов. Понятие науки и ее структура как объект общей теории науки. — В сб.: «Проблемы методологии и логики наук», вып. II, («Ученые записки Томского государственного университета», 1965, № 61).

ческой стороне вопроса, и приводят к утверждению, что историческое исследование не способно дать знания законов.

Логико-методологический анализ исторического исследования и сравнение его с исследовательской процедурой в механике и физике показывают, что подобный упрек несостоятелен. Если бы исходные объекты естественнонаучных дисциплин не поднимались выше уровня индивидуальностей, то, как уже говорилось, открытие законов физики и механики было бы тоже невозможно. Мы можем теперь сформулировать наш второй вывод: для того чтобы историческое исследование могло давать знания законов истории, необходимо изменение требований к онтологической системе исторического исследования. В качестве исходных моментов должны выступать не непосредственные исторические индивидуальности, а идеализированные исторические объекты. Из этого следует, что 1) готовые знания исторического исследования должны включать в себя знания о правилах построения идеализированных исторических объектов и 2) система действий должна включать в себя описание операций, гарантирующих адекватную реализацию этих правил и позволяющих осуществить переход от уровня индивидуальностей к уровню идеализированных объектов, выступающих в своей совокупности в качестве исходного объекта процесса исторического исследования.

Одним из наиболее спорных вопросов логики и методологии исторического исследования является вопрос о *природе исходного объекта*. Наиболее распространено в нашей литературе утверждение, что объектом исторического исследования являются те или иные стороны развития обществ, отделенных от нас более или менее значительным промежутком времени. Иначе, исходным объектом являются феномены, не существующие в момент, когда осуществляется сам процесс исследования. До сих пор, говоря об онтологической системе исторического исследования, мы не акцентировали внимания на известной парадоксальности такого понимания, но теперь это необходимо сделать. Разумеется, что сложность вопроса увеличивается благодаря неопределенности термина «*объект исследования*». В современной логике науки существуют различные концепции объекта. Не вдаваясь в подробности и не претендуя на строгость, ограничимся рабочим определением. Объектами, образующими онтологическую систему исследования, являются феномены, с которыми исследователь непосредственно имеет дело в процессе решения исследовательской задачи. Это определение хорошо согласуется с обычной практикой научного исследования и обладает тем достоинством, что не связано с ограничением типов исследования или предметных областей; оно не связано с понятием времени, определением его направления и т. п. Посмотрим теперь, с какими феноменами непосредственно может иметь дело историк при решении тех или иных задач. Здесь есть два варианта: первый, когда в качестве

исходного объекта выступают так называемые *собственные тексты*, второй — когда в качестве таковых выступают *памятники материальной культуры*.

Собственными текстами мы будем называть письменные документы⁷, содержащие ту или иную информацию об определенной эпохе: тексты сводов законов, религиозных гимнов, договоры, литературные произведения, частную переписку, хозяйственные документы и т. п. В подавляющем большинстве случаев именно с такого рода материалами сталкивается историк в процессе исследования. Тексты (книги, статьи), написанные другими авторами, также могут использоваться на всех этапах исследования как с целью восполнения недостающей информации, так и для знакомства с существующими точками зрения, методами анализа, а также для определения того, в какой мере знания, полученные в результате исследования, являются новыми. Но во всех этих случаях важно, что все вовлекаемые в процесс исследования материалы специально создавались как средство хранения или передачи информации. Они, таким образом, являются информационными объектами. Химические или физические свойства этих материалов не представляют специального интереса, и внимание на эту сторону дела обращается лишь тогда, когда она может тем или иным способом содействовать восстановлению утраченной информации. Работа с собственными текстами складывается из двух этапов. Первый — это лингвистический или логический анализ текстов, включая перевод и дешифровку. Второй — собственно изучение информации, т. е. знаний, зафиксированных в тексте. Если текст с самого начала пригоден для прямого исторического исследования, то первый этап может отсутствовать.

Таким образом, собственные тексты выступают перед нами как некоторые системы знаний, содержащие информацию об интересующих нас исторических явлениях и процессах. Следует подчеркнуть, что сами эти явления и процессы, знания о которых фиксированы в текстах, исследователю не только непосредственно не даны, но и не могут быть даны. В этом, между прочим, существенное различие между текстами, фигурирующими в историческом и естественнонаучном исследованиях. Физику также приходится иметь дело с текстами, содержащими знание о том или ином физическом объекте, например с записями экспериментальных данных. Однако физик, в принципе, в состоянии не только изучать тексты, фиксирующие знания о каких-либо физических объектах, но и наблюдать физически воспроизводимые объекты знаний. У историков подобная возможность полностью отсутствует; текст, выступающий как исходный объект

⁷ Так называемые устные предания в принципе не отличаются от собственных текстов, поскольку различие в материале знаков (звук и графический значок), с точки зрения логики, несущественно.

исторического исследования, содержит знания о различных исторических ситуациях, событиях и процессах, которые сами не могут быть объектами прямого наблюдения или восприятия и, следовательно, не могут быть исходными объектами исторического исследования.

Другим источником получения информации об объектах, отделенных от нас более или менее значительными временными интервалами, являются памятники материальной культуры. Остатки древнего поселения, осколки керамики, железные или бронзовые орудия труда, фрагменты утвари, архитектурные сооружения интересуют историка не как определенные физические феномены, а как средства или источники дополнительной информации, позволяющие уточнить датировку, установить факт и степень экономического или культурного влияния одной социальной системы на другую, получить информацию о способе производства и других социальных процессах, событиях и отношениях, имевших место в прошлом. Археология, нумизматика и другие дисциплины, по существу, преследуют двоякую цель: обнаруживать новые памятники материальной культуры и извлекать с их помощью некоторые знания о процессах, результатом, условием или спутниками которых они были. Следовательно, материальные памятники представляют интерес для исторического исследования в основном как источники информации о других объектах, не данных в непосредственном восприятии и не могущих быть воспринятыми. Их, следовательно, можно рассматривать как «несобственные» тексты. Различие между собственными и несобственными текстами состоит в том, что первые специально создавались как средство хранения и передачи информации, тогда как вторые служили для иных целей, но, будучи соответствующим образом препарированы, так сказать, «прочитаны», они могут служить источником дополнительной, а иногда и единственно возможной информации о событиях далекого прошлого.

Итак, исходным объектом исторического исследования во всех возможных случаях являются информационные объекты (собственные и несобственные тексты), представляющие собой системы знаний о явлениях, отсутствующих на всем протяжении исследования. Задача исторического исследования, в какой бы форме она ни ставилась, всегда в конечном счете сводится к тому, чтобы на основании изучения и переработки исходных информационных объектов, фиксирующих некоторые знания о событиях прошлого, получить в качестве конечного объекта (результата) некоторые новые знания, относящиеся к этим событиям, их отдельным чертам или закономерностям. Сами эти события, следовательно, не являются (по определению) элементами онтологической системы процесса исследования. Их можно было бы назвать *реконструктивными объектами* исторического знания, так как в процессе исторического исследования свойства,

связи и отношения, присущие этим событиям, реконструируются в виде некоторого реального процесса.

Обработка исходных информационных объектов включает в себя работу, по меньшей мере, двух родов: во-первых, учет структуры текста, формальную классификацию видов информации, учет ее полноты и метрическую оценку (например, при помощи теории вероятностей и т. п.); во-вторых, анализ социальных, психологических и иных факторов, оказавших то или иное влияние на состав информации. Работа первого рода относится к компетенции логики и методологии исторического исследования, второго — к области общеполитического, социологического и психологического анализа. На сущности этой последней мы в данной статье останавливаться не будем, так как она не может быть изучена средствами логики. Однако даже логико-методологический анализ информационных объектов не может проводиться однозначным образом. Одни и те же тексты (как собственные, так и несобственные) могут рассматриваться как системы знаний, допускающие выделение различных структур⁸, различные способы группировки и различные оценочные критерии. Этим, между прочим, в известной мере объясняется хорошо известный в исторической практике факт, что различные исследователи, работающие на одном и том же информационном материале, приходят нередко к различным результатам. Подобное положение дел не следует, пожалуй, считать аномалией, но, скорее, нормой. Развитие даже таких точных наук, как современная физика, обнаруживает, что поливариантность научных абстракций, построенных на одном и том же исходном материале, всегда сопутствует высокому уровню развития науки, связанному с большим богатством средств и способов анализа. Попытки свести все полученные наукой данные к «единственно правильному» обобщению, результату или решению вопроса, по-видимому, несовместимы с природой современного научного мышления. Но из этого, разумеется, не следует, что все полученные абстракции или сформулированные в виде закономерностей знания об историческом событии одинаково ценны и одинаково широко применимы для объяснения и предсказания изучаемых процессов. Для определения наиболее ценных из них или степени их достоверности необходимо воспользоваться критерием практики или, уже, научным экспериментом, ибо, как известно, эксперимент является в конечном счете хотя и не абсолютным, но наиболее объективным судьей научного знания.

Для того чтобы сделать более эффективным дальнейшее обсуждение вопроса о возможности практической (экспериментальной) проверки знаний, полученных в историческом исследовании, следует хотя бы в самых общих чертах остановиться на проблеме

⁸ Системы подобного рода называются полиструктурными.

законов исторической науки. Конечный объект исследования всегда представляет собой некоторое знание. Но знание это может быть разной природы: знанием об отдельных событиях, о последовательности событий и т. п. Оно может быть также знанием законов. Именно этим последним мы и будем интересоваться прежде всего потому, что знание законов составляет главную цель всякой науки, и, во-вторых, потому, что выработка и проверка законов исторической науки представляет наибольшую трудность и интерес. Под историей, или гражданской историей, понимается процесс развития человеческого общества. Объективные, необходимые устойчивые связи, регулирующие направление и определяющие характер этого развития, и есть *з а к о н ы* *и* *с* *т* *о* *р* *и* *и*. Признание объективного характера этих законов есть неперемненное условие материалистического понимания истории. Законы истории существуют независимо от того, описаны они или нет в какой-либо теории. Они не являются результатом логической и вообще интеллектуальной деятельности.

Иначе обстоит дело с *з а к о н а м и* *и* *с* *т* *о* *р* *и* *ч* *е* *с* *к* *о* *й* *н* *а* *у* *к* *и*. Последние представляют собой элементы научной теории. Между законами исторической науки и законами истории нет простого совпадения, так как: 1) законы науки формулируются в виде конечных предложений какого-либо языка, тогда как законы истории относятся к внеязыковой, внезнаковой области; 2) структура законов науки, т. е. структура языковых образований, не совпадает со структурой законов истории, и это, между прочим, не результат несовершенства теорий, а необходимое условие ее существования; 3) законы истории есть законы развития, тогда как наука относится к функционирующим системам, и законы науки (в том числе и исторической) есть лишь средство выработки знания об историческом процессе и его законах. Указанные здесь различия далеко не полны, однако они достаточны для наших целей. Роль законов исторической науки заключается в том, что они должны служить средством теоретического вывода одних знаний об историческом процессе из других. Если теперь мы обозначим какой-либо закон исторической науки через A , то роль подобного закона должна, по-видимому, заключаться в том, что, подставив в формулу закона некоторую информацию (b) об определенных исторических ситуациях, мы должны на выходе получить информацию, знание (c) о других ситуациях или закономерностях. Мы будем записывать это в виде $A\left(\frac{c}{b}\right)$.

Когда историческую науку и практикуемые ею приемы исследований относят к классу индивидуализирующих, то имеют в виду прежде всего то, что историческое исследование неспособно давать нам знания о законах и, следовательно, не может осуществлять теоретическое объяснение и предвидение изучаемых собы-

тий. Это означает также, что те формы объяснения, которые мы обнаруживаем в работах отдельных историков, не имеют логически контролируемой формы и получаются исключительно благодаря интуиции или личной одаренности историка, но не за счет совершенства исследовательской процедуры. Так как законы науки не есть самоцель, но средство получения информации об объективной действительности, то проверка, оценка и подтверждение объективной значимости этих законов могут быть осуществлены посредством соответствующей проверки полученных с их помощью знаний. Такая проверка выводного знания, служащая для подтверждения истинности и объективности законов, лежащих в основе вывода, получила в современной логике науки название верификации, подтверждения. Не вдаваясь в тонкие различия, существующие между этими процессами, рассмотрим, в какой мере они применимы в историческом исследовании.

Попытаемся теперь представить себе общую *схему конкретного исторического исследования*. Допустим, что историк, изучая документальный материал, замечает, быть может, не очень явную, но определенную регулярность, повторяемость некоторых исторических явлений. Пусть его наблюдения касаются связи таких отдаленных на первый взгляд явлений, как форма земельного владения и боеспособность армии⁹.

Рассматривая относительно узкие исторические отрезки в различных странах древнего мира, например Ассирии и Греции, он замечает, что перераспределение земельных угодий в пользу мелких свободных собственников и увеличение числа последних способствует через более или менее значительный промежуток времени повышению боеспособности армии, состоящей в основном из мелких свободных землевладельцев. Абстрагируясь от целого ряда других факторов, в той или иной степени влияющих на боеспособность армии, он может сформулировать закон A_1 : для всякого общества с частной собственностью на землю увеличение числа свободных землевладельцев, обрабатывающих свои участки, или уменьшение налогов с их участков, или возвращение им ранее экспроприированных наделов повышает боеспособность армии. Разумеется, против подобной формулировки можно выдвинуть ряд возражений, например, что боеспособность армии может зависеть от введения новой техники, применения новой стратегии и тактики и т. д. Однако мы здесь и не отрицаем влияния этих факторов, а лишь абстрагируемся от них; что такая абстракция законна, свидетельствует опыт всей современной науки. Ведь закон стоимости, сформулированный Марксом, также никогда не действует в чистом виде и в реальных экономических ситуациях проявляется лишь

⁹ Следует иметь в виду, что здесь и в дальнейшем речь идет о совершенно гипотетическом исследовании, носящем к тому же сугубо иллюстративный характер, и что пример предельно упрощен, так как его цель — лишь выявление общей структуры исследовательской процедуры.

через систему цен, связанных с влиянием таких факторов, как спрос и предложение.

Можно поэтому, конечно, с известным упрощением, считать, что введение новой техники, стратегии, организация и т. д. представляют собой действенные факторы повышения боеспособности армии, не могущие, однако, оказать на нее определяющего влияния, если бойцы этой армии лишены личных земельных наделов и в силу этого не очень заинтересованы в защите своей земли от врага. Такой закон, конечно, действует не сразу и не в каждом отдельном случае (отдельном сражении или войне), а как известная статистическая тенденция, что вполне совпадает с энгельсовским пониманием действия исторических закономерностей.

В качестве подтверждения выдвинутого им закона A_1 наш историк мог бы сослаться на историю императорского Рима. По мере того как свободные римские крестьяне разорялись, лишались собственных наделов, превращались частью в люмпен-пролетариев, частью — в полузависимых колонов, римская армия превращалась в армию наемников, ее боеспособность постоянно падала. Это отнюдь не означает, что римская армия не одерживала побед, но говорит о тенденции к понижению боеспособности, что полностью подтверждается военной историей последних веков империи. Разумеется, закон A_1 не может давать достоверного знания об определенных исторических событиях, так как он относится к чрезвычайно сложным социальным системам. Но на этом основании не следует преуменьшать его эвристических, предикативных или экспликационных возможностей. Дело в том, что даже в естественных науках мы часто пользуемся законами, сформулированными в терминах вероятности (например, в статистической физике, формальной генетике и т. д.), поэтому и закон A_1 может формулироваться в терминах статистической вероятности.

Поставим теперь вопрос: каким образом можно осуществить эмпирическую проверку, позволяющую определить значение и сферу применимости закона A_1 ? Когда тот или иной закон выдвигается в естественных науках, то средством подобной проверки является процедура верификации, или подтверждения. Она заключается в том, что из данного закона, например A_1 , теоретическим путем выводится ряд следствий: $b_1, b_2 \dots b_n$, а затем эти следствия сопоставляются с фактами: $c_1, c_2 \dots c_n$, полученными в соответствующих физических экспериментах. Если между знаниями, фиксированными в последовательности $b_1, b_2 \dots b_n$ и в последовательности $c_1, c_2 \dots c_n$, можно установить попарное соответствие вида $b_1 \cong c_1; b_2 \cong c_2$, производимое по определенным правилам и называемое кардинальным отношением, то закон A_1 считается подтвержденным, или верифицируемым¹⁰. Если карди-

¹⁰ Логические характеристики процессов верификации и подтверждения, а также особенности установления кардинальных отношений рас-

нальные отношения установить не удастся, то закон считается фальсифицированным, т. е. не применимым по крайней мере в данной эмпирической области или к данному множеству объектов.

Можно ли осуществить подобную проверку для законов, аналогичных A_1 ? Большинство логиков и методологов, отрицающих общность структуры и результатов исследования для естественных и исторических наук, отвечают на этот вопрос отрицательно. В подтверждение этого они ссылаются на невозможность осуществления эксперимента в историческом исследовании, поскольку историк имеет дело с несуществующими объектами. Но если согласиться с соображениями, изложенными выше, то это утверждение оказывается весьма уязвимым. Прежде всего напомним, что и в естествознании нередко пользуются так называемым умственным экспериментом, т. е. экспериментом, производимым не в предметно-орудийной среде, а в воображении исследователя. Тем не менее такой эксперимент вполне годится для подтверждения или фальсификации тех или иных законов, поскольку, будучи фиксированным в языке, он может рассматриваться как эмпирическое описание реального эксперимента (разумеется, при условии, что в принципе могут быть указаны средства для проведения этого последнего). Поэтому, обсуждая проверку законов, аналогичных A_1 , мы будем говорить об особом, «историческом эксперименте», представляющем собой в некоторой степени искусственный, но вполне эффективный прием логического и эмпирического контроля и оценки законов подобного вида.

Схема исторического эксперимента в общем виде такова:

1. Выделяется одна или несколько областей исследования, например античная Греция (α), Древний Египет (β) и Ассирия (γ). Рассматриваются тексты, содержащие информацию о земельных отношениях, земельных реформах и т. п., а также изменение боеспособности армии в сопоставимые интервалы времени. Если возможно, делаются необходимые статистические расчеты и на основании определенных методов (динамических рядов, методов корреляции и т. п.) осуществляются вероятностные предсказания о том, каким образом может изменяться боеспособность армии в других странах, находящихся на той же примерно стадии исторического развития при условии, что в этих странах проводятся аналогичные земельные реформы.

2. Одновременно выделяются некоторые другие области Δ_1 , Δ_2 ..., т. е. страны, находящиеся на аналогичной стадии исторического развития, и осуществляется независимо и изолированно от исследований в областях α , β и γ изучение материалов, относящихся к землепользованию и военной истории в областях Δ_1 , Δ_2 ...

смотрены нами в статье «Статистическая интерпретация факта и роль статистических методов в построении эмпирического знания» (Проблемы логики научного познания. М., 1964).

3. Пусть теперь данные $a'_1, a'_2 \dots a'_n$, полученные при обработке исходных объектов, относящихся к областям α, β и γ , образуют ряд описаний форм землепользования, размеров участков, количества свободных землевладельцев и т. п. Если закон A_1 сформулирован, то на основании этого закона и знаний, фиксированных в $a'_1, a'_2 \dots a'_n$, мы можем получить вероятностное знание об изменении боеспособности армии или отдельных ее характеристик, т. е. $pb'_1; pb'_2; pb'_3 \dots pb'_m$ (индекс p обозначает вероятностный характер знания). Если одновременно с этим при указанных выше исследованиях в областях $\Delta_1, \Delta_2 \dots$ получены сведения $c'_1, c'_2 \dots c'_m$, фиксирующие знания (желательно, количественно определенные) об изменении боеспособности армии в этих областях в зависимости от изменения размеров и форм землепользования, то мы можем осуществить попарное сопоставление двух последних рядов. При условии, что в таком сопоставлении обнаруживается относительное соответствие, т. е. $pb'_1 \cong c'_1; pb'_2 \cong c'_2 \dots pb'_m \cong c'_m$, закон A_1 считается подтвержденным, в противном случае — фальсифицированным, т. е. опровергнутым. Схематически этот процесс может быть изображен в виде

$$A_1 \left(\begin{matrix} pb'_1, & pb'_2 & \dots & pb'_m \\ a'_1, & a'_2 & \dots & a'_m \end{matrix} \right) \rightarrow pb'_1 \cong c'_1; \\ pb'_2 \cong c'_2 \dots pb'_m \cong c'_m = A_1!$$

(Стрелка здесь обозначает последовательность операций, «!» означает, что в случае реализации попарного сопоставления закон A_1 считается подтвержденным.) Если данная процедура неосуществима, она записывается в виде

$$A_1 \left(\begin{matrix} pb'_1, & pb'_2 & \dots & pb'_m \\ a'_1, & a'_2 & \dots & a'_m \end{matrix} \right) \rightarrow \overline{pb'_1 \cong c'_1}; \\ \overline{pb'_2 \cong c'_2} \dots \overline{pb'_m \cong c'_m} = A_1?$$

(Черта над рядом сопоставлений указывает, что они не укладываются в кардинальные отношения, «?» означает неприемлемость закона A_1 .)

Приведенные здесь схемы исторического эксперимента и построенного на нем процесса проверки закона A_1 в принципе не отличаются от соответствующих процедур проверки законов естественных наук. Можно, конечно, возразить, что описанная здесь процедура не имеет дела с предсказанием на основании данного закона A_1 некоторых исторических событий, имевших место и закончившихся в далеком прошлом, ибо предсказывать прошлое невозможно. И с этим нельзя не согласиться. Но следует иметь в виду, что в соответствии с развиваемой здесь концепцией предсказание, аналогичное $pb'_1, pb'_2 \dots$ следует, скорее, расценивать как

информацию о том, с какой вероятностью мы можем рассчитывать, что, изучая и препарируя определенным образом те или иные тексты, входящие в онтологическую систему исследования в качестве ее исходных объектов, мы обнаружим в них информацию об изменении боеспособности армии в таком-то и таком-то направлении при условии, что ранее нами получены сведения об определенных изменениях в области землевладения и землепользования. Подобное понимание повышает нашу уверенность в объективной ценности реконструкций исторического процесса и позволяет с большей или меньшей вероятностью предсказывать возможность тех или иных исторических ситуаций и определять объективную ценность и область применения законов науки.

Разумеется, наше краткое обсуждение отдельных проблем и понятий, связанных с изучением структуры исторического исследования, не может дать сколько-нибудь полного и систематического представления об этом вопросе. Тем не менее сказанного достаточно для того, чтобы в заключение со всей определенностью указать на связь между анализом *структуры исследования* и проблемой *организации научных исследований*.

Известно, что на протяжении многих столетий вопрос об организации исследований, рациональной и эффективной с эвристической и экономической точек зрения, почти не обсуждался. Исследования как индивидуальные, так и коллективные (носившие по преимуществу эпизодический характер) организовывались стихийно, и связь между логико-методологической структурой и социальной организацией исследований, как правило, выпадала из поля зрения ученых. Но по мере того как со второй половины XIX в. и особенно на всем протяжении XX в. коллективные исследования все более становятся доминирующей, а иногда и единственно возможной формой работы ученых, вопрос об их организации начал занимать все более видное место, пока не превратился в самостоятельную отрасль знания — теорию организации исследований. Вопрос этот приобретает особо важное значение в связи с тем, что число людей, занятых непосредственно исследовательской деятельностью, а также обслуживанием этой деятельности (включая подготовку специалистов, административно-организационную, техническую и экономическую деятельность), возрастает в геометрической прогрессии. Между организацией исследований, с одной стороны, и логикой и методологией наук, с другой, существует прямая и необходимая связь, ибо правильная организация научных исследований, включая подбор специалистов, образование функциональных групп, координацию их действий и т. д., невозможна без учета специфики и структуры осуществляемого ими исследования. Укажем лишь на некоторые моменты этой связи применительно к историческому исследованию.

1. Выше было показано, что специфика исторического исследования детерминируется его онтологической системой и, в осо-

бенности, тем обстоятельством, что в качестве исходных объектов всегда выступают собственные или несобственные тексты. Записи экспериментальных данных, встречающиеся в физическом исследовании, не играют такой роли, так как действительно исходными объектами являются физические феномены, регистрируемые рецепторами человека или заменяющими и дополняющими их приборами. В историческом исследовании чувственное восприятие исторических событий невозможно. Поэтому все внимание сосредоточивается на анализе текстов, их препарировании и чтении. Для осуществления подобной работы на современном уровне необходима чрезвычайно высокая профессиональная подготовка. Более того, необходимы специалисты различных профилей, знакомые с методами вероятностно-статистической оценки текстов, методами кодирования и дешифровки, владеющие приемами лингвистического и логического анализов. Таким образом, возникает потребность создания и выделения в больших исследовательских коллективах функциональных групп по анализу и обработке текстов, групп, включающих в свой состав не только специально подготовленных историков, лингвистов и логиков, но и математиков-программистов¹¹. В связи с этим необходимо внести более или менее значительные изменения в программы по подготовке специалистов соответствующих профилей в университетах и других высших учебных заведениях.

2. В связи с тем, что в историческом исследовании, так же как и в естественнонаучном, можно выдвинуть различные уровни, а именно: эмпирический, включающий анализ, первичную обработку текстов и составление новых текстов-описаний, и теоретический, связанный с формулировкой законов науки и реализацией процессов научного объяснения и предвидения, — необходимо и в организационной структуре фиксировать это разграничение. До сих пор в историко-научных учреждениях эмпирическая и теоретическая работа осуществлялась одними и теми же людьми, секторами и кафедрами. Выделение специальных функциональных групп, занимающихся различными уровнями исследования, вообще не осуществляется. Между тем такое разграничение общепринято в таких развитых отраслях естествознания, как физика, химия и т. п. Без этого организационно фиксируемого разделения труда развитие этих наук было бы невозможно. А в исторической науке оно до сих пор не осуществляется. Его необходимость особенно диктуется тем, что в области исторической науки теоретическая работа все еще не отвечает предъявляемым требованиям, а это тормозит развитие исторических исследований в целом.

¹¹ О том, что создание таких групп своевременно и эффективно, свидетельствует хотя бы опыт Сибирского отделения АН СССР. См. В. А. Устинов. Применение вычислительных машин в исторической науке. М., 1964.

3. Наконец, следует указать, что в организационной схеме научных учреждений, осуществляющих исторические исследования, необходимо предусмотреть создание особых групп по логике и методологии исторической науки. При современных темпах научного прогресса «кустарное» развитие метаисследований, связанных с возникновением различных конфликтных ситуаций и предпринимаемых каждым ученым на свой страх и риск, вряд ли может служить эффективным средством усовершенствования методологии исторической науки.

Мы рассмотрели лишь общую схему исторического исследования, не касаясь различных субструктур, имеющих зачастую весьма сложные формы. Их выявление, анализ и оценка эффективности должны составлять главную задачу функциональных групп по логике и методологии исторического исследования.

Существует также ряд других проблем, связанных с организацией исторических исследований, решение которых может быть достигнуто лишь на основе результатов, полученных при помощи логико-методологического анализа систем исторического знания.

В настоящей статье не были затронуты такие важные проблемы, как логический анализ языка исторической науки, анализ понятия «развитие», играющего центральную роль во всяком историческом исследовании, вопрос о моделировании исторических процессов и т. п. Дальнейшее обсуждение этих проблем является важной задачей логики и методологии исторического исследования и, несомненно, будет способствовать повышению объективности и эффективности исследовательской процедуры, применяемой в исторической науке.

ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ И НАУЧНЫЙ МЕТОД

Ю. А. Левада

Почти столь же старая, как само историческое познание, методологическая дискуссия о характере его научности, о степени строгости, сопоставимости, обязательности его результатов не только не прекращается, но, видимо, имеет шансы на расширение. Относительно недавний пример — дискуссия на страницах «Международного журнала социальных наук», издаваемого ЮНЕСКО, о различии между «социальными» и «гуманитарными» дисциплинами. Участники ее отмечали неопределенность научного характера социальных и гуманитарных дисциплин и, как следствие этого, нескончаемость и безрезультатность дискуссии о том, что на самом деле является «наукой», а что — нет¹. Расходясь в определении самого понятия «научности», большинство участников этой дискуссии (равно как и множества подобных ей) стоит на той точке зрения, что философия, литературоведение, историография не могут относиться к социальным наукам и имеют право лишь на причисление к довольно неопределенной категории «гуманитарных дисциплин» («humanities»).

Следует сразу же обратить внимание на два момента, существенно осложняющих ход и оценку дискуссий о научности исторического знания.

Во-первых, неоднозначность самого термина «наука», в особенности, в том случае, когда он применяется к различным областям социальной мысли; тем более относится это к современной науке. Так, Ю. Хохфельд отмечал в качестве широко признаваемых показателей «растущей научности» в социальных дисциплинах: 1) развитие точной техники наблюдений, 2) применение матема-

¹ См. «International Social Sciences Journal», 1964, vol. XVI, № 4, p. 479.

тики, статистики и различных типов моделей, 3) сотрудничество с биологией и другими естественнонаучными дисциплинами, 4) развитие кибернетики и теории информации². При всей его «общепризнанности» такой подход к научности весьма спорен и, в конечном счете, ведет к профанации проблемы. Использование современных технических средств исследования не дает никакой гарантии научности и современности самого движения исследовательской мысли, так что оценка научной мысли по ее внешним атрибутам вдвойне нежелательна и опасна именно вследствие своей способности стать «ходячей» (здесь перед нами одна из сторон вопроса об иллюзорном престиже науки и научности, — с ним мы встретимся несколько позже). Кроме того, «статичная» характеристика научности знания (при помощи заданного набора требований) неплодотворна, поскольку оставляет вне поля зрения сам характер движения познания — в данном случае, исторического познания. Гораздо надежнее и полезнее анализировать тенденции, особенности, формы этого движения, чем конструировать границы.

Вторая оговорка связана с существующим ныне и доходящим до суеверия в обыденном сознании престижем науки как деятельности (в сущности, это тоже область иллюзорного престижа науки и научности). Выражением этого феномена служит — нередко подсознательное — отнесение всего, что не признается наукой в строгом смысле слова (хотя этот смысл и не очень ясен), за пределы важного, достойного; соответственно на всю дискуссию о характере научности истории накладывается фальшивая печать этической оценки, — что опять-таки отнюдь не способствует научному подходу к проблеме. Феномен этот далеко не случаен, имеет широкое распространение³ и составляет один из интереснейших объектов социологии науки. Конечно, сложившаяся (и не только у нас) система научно-организационных отношений, ученых званий и пр., уравнивающая различные формы теоретической деятельности по безличному, бюрократическому критерию «науки», также создает некоторый барьер на пути анализа интересующего нас вопроса (подчас даже психологический барьер, чувство недооценки, принижения, причем плохая и вредная наука оказывается «все-таки наукой», т. е. чем-то более высоким по сравнению с гениальным дилетантизмом, эстетическим откровением и пр.). Преодолеть этот барьер можно лишь осознанием его иллюзорности.

² См. «International Social Sciences Journal», 1964, vol. XVI, № 4, p. 481.

³ Любопытное тому свидетельство мы находим в знаменитых лекциях Нобелевского лауреата Р. Фейнмана: «Кстати, не все то, что не наука, обязательно плохо. Любовь, например, тоже не наука. Словом, когда какую-то вещь называют не наукой, это не значит, что с нею что-то неладно: просто не наука она, и все» (Р. Фейнман и др. Фейнмановские лекции по физике, вып. 1. М., 1967, стр. 55). Кстати, по Фейнману, и математика — не наука.

Не вопрос о «престиже», но лишь вопрос о структуре знания и способах его движения имеет реальное значение, когда ставится интересующая нас проблема научности этого знания.

И именно поэтому само по себе наличие в руках исследователя сколь угодно глубоко разработанной марксистской философско-социологической методологии не избавляет его ни от необходимости критического рассмотрения современного характера истории как дисциплины, ни от необходимости соответствующего строго научного самоанализа.

Но почему возникает сегодня необходимость в таком анализе? Наиболее зримый аргумент — доносящиеся с разных, даже противоположных сторон выражения неудовлетворенности современным состоянием исторического знания. Насколько, однако, обоснованы эти мнения, точнее, насколько глубоки их основания?

Э. Трёльч еще в начале века писал, что «если в области теоретического исследования не может быть и речи о настоящем кризисе... то зато имеется кризис в сфере общих философских основ и элементов исторического мышления, в трактовке исторических ценностей»⁴. Эти слова вполне могли бы быть произнесены и сегодня. Почти то же мы читаем в современных рассуждениях относительно «тупика, в который зашла историческая наука»⁵.

Правда, ситуация кризиса признается не всеми даже на Западе и, прежде всего, его не хотят знать «историки-практики» вроде Э. Карра. Предлагаемый ими путь дальнейшего движения исторических дисциплин фактически сводится к пожеланию «сочетать» традиционные методы с новыми, исторические — с социологическими и на такой основе профессионально-добропорядочного эклектизма продолжать идти проторенной прошлыми поколениями дорогой. Этот путь весьма выразительно охарактеризовал недавно Холлоуэй: «Если мы не решаемся мыслить, существует только один путь создания иллюзии того, что мы выполняем какую-то полезную функцию: придерживаться течения непрерывно изменяемого исследования... Это защитит нас от острого неудобства столкновения с фундаментальными проблемами жизни общества»⁶.

Изложенные выше предварительные замечания позволяют нам в дальнейшем сосредоточить внимание на наиболее существенных с методологической точки зрения моментах движения и противоречиях современного исторического знания, сознательно отвлекаясь от многообразия реально существующих внешних по отно-

⁴ E. Troeltsch. Der Historismus und seine Problemen. Tübingen, 1922, S. 4.

⁵ O. F. Anderle. A Plea for Theoretical History. — «History and Theory», 1964, vol. IV, № 1, p. 27.

⁶ S. W. F. Holloway. Sociology and History. — «History», 1963, June, vol. 48, № 163, p. 179, 180.

шению к нему и кратковременных обстоятельств социально-политического или социально-этического порядка.

Видимо, можно выделить две взаимосвязанные группы факторов, лежащих в основе современных противоречий исторического знания: 1) историография не оправдала некоторых из возлагавшихся на нее надежд, 2) изменились и меняются сами требования, предъявляемые обществом к системам исторического знания. Эти факторы можно обнаружить — в неодинаковой форме — в разных по своим мировоззренческим установкам течениях современной исторической мысли.

Прежде всего (и очевиднее всего) расхождение между реальностью социальной жизни и ожиданиями, которые вольно или невольно создавала историческая мысль прошлого, — точнее мысль XIX в. Вряд ли можно считать достаточно глубокими объяснения этого явления лишь «страхом» реакционных сил перед реальностью исторического движения общества или, скажем, «разочарованием» иных прогрессистов, смущенных сложностью и непредвиденностью путей желаемого прогресса и размером платы за него. Как неизменно подчеркивал В. И. Ленин, действительность всегда оказывается сложнее, чем представляют ее самые умные и дальновидные теоретики и политики. И тем не менее, на каждом своем этапе историческая реальность содействовала возникновению определенных оценок, ожиданий, надежд, расчетов, — а в дальнейшем ставила их под сомнение. Отсюда как будто вполне логичен вывод: не было достаточных оснований для таких именно (в той или иной степени детализации) расчетов; преходящее стечение обстоятельств изображалось универсальным законом или же, наоборот, общая тенденция движения принималась чуть ли не за железнодорожное расписание, где указаны минуты остановок. Достаточно банальные сами по себе, эти напоминания нужны нам в данном случае лишь для того, чтобы подчеркнуть значение вопроса о характере «претензий», предъявляемых обществом к историческим дисциплинам. Претензии могут быть фантастическими, неразумными, нелепыми, анализ этих претензий должен быть научным, а значит, раскрывающим их внутреннюю логику, их обоснованность.

Отсюда — второе, не столь заметное, но, видимо, наиболее существенное сейчас обстоятельство: изменение характера самих требований, которые предъявляет общество к историческому знанию и вообще к социальному знанию⁷. Древнейшая историография говорила о религиозной и моральной ценности исторического знания, классическая — о культурной и философской ценности (это относится и ко всякому «гуманитарному» знанию). По сути

⁷ «История никогда не является просто историей чего-то, но всегда историей для чего-то» (C. Lévi-Strauss. *La pensée sauvage*. Paris, 1962, p. 340—341).

дела, это знание всегда строилось в соответствии с явно идеологическими запросами, выступавшими в форме моральных, религиозных и т. д.; практически-научных задач традиционная историография не ставила и не решала. Гегель писал «о моральных рефлексиях и о моральном поучении... для которого история часто излагалась... Но опыт и история учат, что народы и правительства никогда ничему не научились из истории и не действовали согласно поучениям, которые можно было бы извлечь из нее»⁸. Между тем, в сочинениях современных критиков историзма мы встречаем как раз призывы поставить историю, наряду с иными социальными дисциплинами, на службу практическим потребностям общества, воссоздать картину мира, адекватную действительности, и тем самым заложить основу для правильных решений, принимаемых человеком⁹. Притом речь идет не об извлечениях из истории тех философских выводов, о которых говорил и Гегель, и не об ориентации общественной деятельности по компасу «прогресса» — в соответствии с тем или иным его пониманием¹⁰, — но именно о конкретно-практическом использовании ее уроков. Каковы бы ни были частные мотивы формулировки такой задачи тем или иным исследователем, теоретиком, критиком — задача эта реально существует и ее содержание нам предстоит рассмотреть более внимательно.

Имеется еще один, не относящийся специально к социальным дисциплинам, но характерный для современной науки в целом момент — речь идет о процессе «методологического расчленения» научного знания. Рост объема научных знаний, наряду с растущими требованиями строгости научного мышления, закономерно привел к превращению методологии научного познания в особый предмет исследования, к формированию (и дальнейшему расчленению) целой системы методологических дисциплин, т. е. областей знания, рассматривающих методы движения самого этого знания. До конца XIX в. этот процесс был сравнительно мало замечен (или происходил внутри определенных, отграниченных друг от друга дисциплин). Не лишенный противоречий и собственных тупиков, процесс этот в дальнейшем своем развитии, видимо, должен создать условия для рационального разделения труда и плодотворного обмена деятельностью между методологическими и «содержательными» дисциплинами разного уровня (включая логико-фи-

⁸ Гегель. Сочинения, т. VIII. М.—Л., 1935, стр. 7—8.

⁹ См., например: O. F. Anderle. A Pley for Theoretical History. — «History and Theory», 1964, vol. IV, № 1, p. 29.

¹⁰ Ср. у Ключевского: «На что может пригодиться изучение исторических сочетаний и положений, когда-то и для чего-то сложившихся в той или другой стране, нигде более не повторимых и не предвидимых?... Мы хотим исполнить заповедь древнего оракула — познать самих себя, свои внутренние свойства и силы, чтобы по ним устроить свою земную жизнь» (В. О. Ключевский. Сочинения, т. 1. М., 1956, стр. 17—18).

лософские, формальные и т. д.). Пока же он с неизбежностью шаг за шагом приводит к выявлению секретов скрытого ранее движения научной мысли и ее предпосылок. Процесс этот бывает болезненным, поскольку он вскрывает и механизм «возвышающего обмана», представляя в холодном свете рассудка интимные тайны движения привычных исторических иллюзий; возникающая ситуация порой напоминает психоаналитическую. Тем не менее, по существу дела, вся проблема научности исторического исследования в конечном счете сводится не к совокупности отдельных приемов и технических средств, но именно к эксплицированию, расчленению, анализу самой логики движения исследования, что является необходимым условием современного развития этого сознания в направлении к большей строгости результатов.

ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ И ЕГО ТРАНСФОРМАЦИИ

Постановка вопроса об изменении требований, которые предъявляет общество к знаниям о своем прошлом, подводит нас к весьма интересному, но не часто рассматриваемому в нашей научной литературе понятию исторического сознания общества. Этим понятием охватывается все многообразие стихийно сложившихся или созданных наукой форм, в которых общество осознает (воспроизводит и оценивает) свое прошлое, точнее — в которых общество воспроизводит свое движение во времени.

В каждую данную эпоху историческое сознание представляет собой определенную систему взаимодействия «практических» и «теоретических» форм социальной памяти, народных преданий, мифологических представлений и научных данных (последние, разумеется, выступают лишь с момента появления науки на общественной сцене). Во всяком случае, научное знание об истории выступает лишь одним из моментов (правда — все более важным) в этой системе.

Следует подчеркнуть, что речь идет об историчности как атрибуте, присущем прежде всего сознанию общества и тем самым определяющем рамки движения всякого типичного индивидуального сознания данного общества. В этом отношении историческое сознание может быть сопоставлено с такими широко известными формами общественного сознания, как правовая, нравственная, национальная и т. д., но не поставлено в один ряд с ними. Если каждая из этих форм представляет собой одну из плоскостей человеческого отношения к наличной действительности, историческое сознание вводит в эти отношения дополнительное измерение — время. Причем способ введения этого «четвертого измерения» бытия неодинаков в различных типах и в различные периоды развития общественного сознания.

Очевидно, что всякая общественная система должна располагать какими-либо способами фиксации (отображения, моделирования) своих прошлых состояний; без этого невозможно было бы продолжение ее жизнедеятельности, не говоря уже о ее развитии. Различия же между этими способами состоят, во-первых, в предмете отображения и, во-вторых, в способе осуществления этой процедуры.

Вообще говоря, объектом отображения в историческом сознании всегда служат определенные моменты прошлых состояний общественной системы. Меняется прежде всего сама протяженность событий, которые запечатлеваются в сознании общества. Это могут быть ближайшие прошлые состояния общественной системы, которые непосредственно воспроизводятся в ближайшем будущем. В том же качестве могут выступать и сравнительно длительные — охватывающие десятки и даже сотни лет — периоды, на протяжении которых сохраняются относительно стабильными некоторые параметры деятельности общественной системы (нравственные, правовые, культовые). В обоих случаях здесь перед нами не только «короткая» (т. е. охватывающая непосредственное прошлое) память общества, но память, обеспечивающая лишь воспроизводство сложившегося типа общественных отношений или определенных сторон этих отношений, так сказать, память, обеспечивающая функционирование «заведенного» общественного механизма.

Когда же фактом общественного сознания в той или иной форме становится отдаленное прошлое, т. е. то прошлое, которое уже не может воспроизводиться, отношения которого к настоящему (а под «настоящим», как известно, обычно имеется в виду некоторая протяженность прошлых и будущих состояний системы, функционирующей в каких-то стабильных рамках) опосредованы рядом иных состояний, — изменяются сами функции исторического сознания: либо оно выступает как осознание процесса развития общества во времени, либо оно фиксирует противопоставление «нынешнего» состояния — «прошлому» (возможен целый ряд таких противопоставлений); эта последняя операция внутренне присуща многим нравственным и религиозным системам. Опосредованная, долговременная социальная память по самой уже протяженности своей не может служить интересам непосредственного продолжения запечатленного (закодированного) в ее структуре типа деятельности.

Таким образом, оказывается, что даже само по себе изменение протяженности «памяти» общественного сознания связано с переоценкой ее предмета, перестройкой ее структуры и ее функций.

Под «структурой» исторического сознания мы в данном случае имеем в виду способ (или, лучше, взаимосвязь способов) фиксации в нем своего предмета, т. е. подлежащих отображению

моментов общественных процессов. Сюда относится все многообразие вариантов «сознательного» и «бессознательного», «теоретического» и «практического», «научного» и «мифологического» и т. п. вариантов запоминания обществом своего прошлого.

Аналогия между историческим сознанием и памятью, которой нам уже приходилось пользоваться, имеет немало оправданий. Как писал Ч. Райт Миллс, «историк представляет организованную память человечества, и эта память в виде писаной истории чрезвычайно подвержена искажениям»¹¹. Память всякого организма, как теперь хорошо известно психологам, физиологам, кибернетикам, — система весьма сложная, действующая по-разному на различных уровнях; сам характер «ошибок» разных типов памяти представляет предмет специального изучения. Разумеется, это относится и к «социальной памяти», причем, анализируя историческое сознание как один из элементов «памяти» общества (социального организма), мы получаем возможность видеть определенные закономерности в самом соотношении разных типов этого сознания, а в грубых и как будто случайных «ошибках» — разглядеть неизбежные или даже функционально необходимые для определенных фаз общественного развития или для определенных состояний общественной системы и л ю з и и.

Рассмотрение исторического сознания под углом зрения исторического развития его функций позволит подойти к непосредственно интересующей нас проблеме научности в этом сознании.

Первый очевидный тезис: наличие строго определенного разнообразия форм исторического сознания на различных этапах его развития.

Для *непосредственной социальной памяти* (в том смысле, как мы о ней говорили ранее) характерна ясно выраженная *практичность*. Это означает, во-первых, что накопленная социальная информация обслуживает ближайшие, повседневные практические социальные потребности (потребности повседневного функционирования общественного организма), а во-вторых, что эта информация хранится и передается преимущественно «практически», в самом процессе практической деятельности. Поскольку всякая «сегодняшняя» деятельность (в этих исторических условиях) является прямым продолжением и повторением «вчерашней», необходимый для ее осуществления прошлый опыт выступает в виде практических навыков, привычек и т. д.; примерно так можно себе представить и способ существования непосредственной социальной памяти¹². (Здесь, видимо, вполне право-

¹¹ C. Wright Mills. The Sociological Imagination. N. Y., 1959, p. 144.

¹² «Единственной формой письменности у скандинавов до конца XI в. оставались древнегерманские знаки — руны, которые вырезали на камне, кости, дереве, оружии. Они имели преимущественно магическое значение, и законов ими не записывали. Поэтому к памяти предъявляли очень большие требования. В памяти приходилось хранить все, что тре-

мерно отождествление «памяти» с «опытом», поскольку память сводится к практически используемым сведениям; понятие же «исторического опыта», отнесенное к более сложным формам социальной памяти, в значительной мере метафорично.) К этой форме могут быть отнесены данные Марксом и Энгельсом характеристики первобытно-практического сознания, которое «вплетено в материальную деятельность и в материальное общение людей, в язык реальной жизни»¹³.

В наиболее «чистом» виде с непосредственно-практической формой хранения социальной информации мы встретимся, видимо, лишь на теоретически реконструируемых этапах примитивного сознания. В знакомых же нам формах общественной жизни о непосредственно-практических способах хранения и передачи социального опыта можно судить по тем формам культуры, которые находят свое выражение в народных обычаях и традициях. (При этом следует заметить, что сами по себе зафиксированные в общественном сознании обычаи охватывают лишь отдельные моменты этого опыта и скорее служат средством его санкционирования, чем записи; основное содержание непосредственно-практической памяти не осознается, поскольку в этом нет необходимости.)

Элементами этой формы хранения социальной информации служат стандартные отрезки человеческой деятельности, которые должны быть воспроизведены на последующих ее фазах. Поскольку принципом деятельности социальной системы является простое повторение «вчерашнего» (непосредственно-прошлого) состояния, не существует необходимости в выделении каких-то отдельных параметров деятельности (норм, принципов, критериев и т. д.) из общего ее потока, тем более, нет условий для фиксации в общественном сознании оценок прошлой деятельности (по самой природе своей эти оценки могут относиться лишь к отдельным элементам прошлой деятельности). Единственным «принципом» работы всего механизма непосредственно-практической социальной памяти является воспроизводство в целостности и сохранности нерасчлененных прошлых состояний общества.

Разумеется, эта форма социальной памяти должна быть максимально точной в смысле адекватного воспроизведения «деталей» общественного состояния. В ней попросту нет места для «социально-необходимых» искажений (всякое искажение оказывается помехой, которая терпима лишь статистически, т. е. поскольку ее действие перекрывается действием множества «правильных» ячеек памяти).

бывалось сообщить следующему поколению» (А. Я. Гуревич. Походы викингов. М., 1966, стр. 22).

¹³ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 3, стр. 24.

Конечно, мы рассматриваем заведомо упрощенную, идеализированную картину отношений, которые в чистом виде не существуют.

Но рассмотрение идеализированной ситуации (лучше бы сказать — модели) в науке оправдано постольку, поскольку оно дает некоторый ключ к пониманию проблемы.

Какое, однако, отношение к интересующей нас проблеме исторического сознания имеет рассмотрение модели действия непосредственной социальной памяти, которая — по всем ходячим и общепринятым критериям — явно неисторична? Возможно, такой вопрос не раз уже возникал перед читателем при знакомстве с изложенными выше соображениями. Но «ходячие критерии» — плохая основа для научного анализа именно потому, что в них иллюзия «общепринятости» (это всегда иллюзия!) прикрывает неопределенность или бессодержательность употребляемых категорий. Непосредственно-практический опыт имеет дело лишь с функционированием, но не с развитием; основное его содержание вообще не осознается. Можно сказать, что реальная история общества выступает здесь лишь в своем «снятом виде» — как результат, требующий повторения. Тем не менее, с этой примитивнейшей формой существования социальной памяти, различными ее модификациями мы встречаемся на самых разных этапах движения исторического сознания; выделить ее нужно хотя бы для того, чтобы отграничить от иных форм фиксации прошлого.

Существенно иную структуру и, соответственно, иные общественные функции найдем мы у того довольно обширного и многообразного класса идеологических форм, которые можно отнести к *мифологическому сознанию*. В данном случае оно интересует нас лишь как одна из форм исторического сознания; мифологизм может рассматриваться в разных планах и прежде всего, конечно, как момент культовой (религиозной) системы отношений. Это предпочтение вполне закономерно, поскольку мифологическое сознание рождается в культовом комплексе и переносит культовые отношения (характерный для культа способ иллюзорного снятия реальных противоречий) на иные, обособившиеся или независимые от культового комплекса сферы отношений — моральных, познавательных и других. Именно в культовом комплексе мифологическое сознание, выражаясь на языке изысканной гегельянщины, находит свое «у-себя-бытие». Тем не менее, широта сферы воздействия этого типа сознания, прямо или косвенно наложившей свой отпечаток на множество философских, социально-политических, этических, эстетических и, разумеется, исторических концепций, не имеющих прямого отношения к признанным культовым системам, создает возможность рассматривать мифологизм вне связи с другими элементами культа.

Что представляет собой мифологическое сознание как форма сознания исторического?

Очевидно, что в религиозных и сказочных преданиях, былинном эпосе, исторических притчах и т. д. (мы берем пока наиболее зримые формы) в том или ином виде воспроизводятся и оцениваются определенные ситуации, действительно имевшие место в прошлом. Очевидно, далее, что они воспроизводятся «искаженно», «извращенно», «не так, как на самом деле» (т. е., по сути дела, не так, как они были бы воспроизведены в практически-непосредственной или в рационально-научной социальной памяти). На этой достаточно банальной констатации останавливается обычно всякое вульгарное обличение мифологии. Для науки же эта (как и всякая иная) очевидность служит лишь предпосылкой исследования, которое, в принципе, может идти по двум путям: 1) дешифровки и перевода на рациональный язык тех исторических сведений, которые скрыты в мифологических ситуациях¹⁴, 2) анализа самого способа «шифровки», его внутренних связей, его обусловленности и т. д. В данном случае нас интересует второй путь, или, уже, один из вариантов этого второго пути: анализ особенностей мифологической «обработки» исторической реальности.

Анализ этот с самого начала вынуждает нас признать, что мифологическое сознание не просто представляет собой «извращение» реальности, но какую-то весьма устойчивую, сравнительно мало и медленно (в зримых исторических и географических пределах) выкристаллизовавшуюся систему «извращений», последняя же сохраняется в ходе исторического развития, поскольку оказывается социально необходимой, удовлетворяющей определенным общественным потребностям, или, следуя терминологии Маркса, «восполняющей» действительность. Специфическую особенность мифологического сознания составляет способ иллюзорного преодоления реально-значимых противоречий: конструируются такие ситуации и персонажи, в описании которых низкое оказывается высоким, смертное — бессмертным, конечное — бесконечным и т. д. Такое преодоление реальных (для соответствующей эпохи) оппозиций происходит и в иных компонентах культового комплекса, для чего служат свойственные им категории ритуального («литургического», как иногда говорят) времени и пространства, обозначающие особые, исключительные условия, в которых происходит (разумеется, иллюзорно, т. е. социально-психологически) снятие реальных противоречий. В мифологическом сознании имеются свои аналоги этим исключительным, священным условиям: свои категории времени, пространства, действий и деятелей, которые выполняют те же функции.

¹⁴ См., например, В. Ключевский. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871.

Под мифологическим временем обычно понимается свойственное религиозному миру, сказке, притче представление о некотором периоде, когда не существовало смерти, болезней, страданий, различий между человеком и животными, половых табу и т. д.; это время может быть отнесено к прошлому («точно» датированному, как, скажем, грехопадение в библейской литературе, или связанному с неопределенно-отдаленной эпохой, «давным-давно», «когда звери говорили» и т. п.) или также к будущему (рай, «тысячелетнее царство» и пр.). Соответственно под мифологическим пространством понимается то «тридцатое царство», в котором оказываются возможными действия, неосуществимые в действительности. В качестве мифологических персонажей выступают люди, животные, фантастические существа, наделенные способностью преодолевать непреодолимые барьеры между жизнью и смертью, «землей» и «небом»¹⁵.

К мифологическому типу исторического сознания, исходя из сказанного, мы можем отнести все те способы воспроизведения прошлого, которые служат «восполнению» действительности, иллюзорно решая ее оппозиции, создавая картины мифологического времени («золотого века») и выводя на сцену мифологических персонажей. Очевидно, что нас в данном случае интересуют характеристики исторического сознания, обусловленные самой его структурой, а не убеждения и намерения отдельных историографов или их отношения к каким-либо признанным культовым системам.

Если, как мы уже говорили, непосредственно-практическое сознание должно с неизбежностью стремиться к максимально строгому, детальному воспроизведению реальной ситуации, то в сознании мифологическом такая установка принципиально невозможна. Последнее моделирует реальность вовсе не для ее дублирования, но для воспроизводства иной реальности, оно, следовательно, заведомо необъективно (и не нуждается для своего успеха в том, чтобы быть или выглядеть объективным). Так, известный переднеазиатский (библейский, вавилонский) миф о сотворении мира служит, конечно же, не для воспроизведения этого акта, но для иных целей — оправдания определенных установлений, санкционируемых божественной волей, и т. д. Точно так же рассказ о страданиях Христа важен христианской мифологии прежде всего как источник моральных и теологических выводов, но не как источник исторических сведений о I в. н. э. (Другое дело, что в апологетике достоверность деталей мифа

¹⁵ См. Е. М. Мелетинский. Происхождение героического эпоса. (Ранние формы и архаические памятники.) М., 1963, а также дискуссию об этой работе в журнале «Советская этнография» (1965 — № 5, 1966 — № 1, 2, 3, 6) и в других журналах.

иногда — не обязательно, впрочем — превращается в критерий священности рассказа; богословская позиция в данном случае меняет местами концы каузальной цепи: достоверным кажется в этом сознании то, что свято, во что верят, что выполняет свои функции, — но не наоборот!) ¹⁶

Из этой особенности мифологического сознания вытекает далее, что мифологический текст не может (и не призван) служить в качестве инструкции или образца действия, которое должно быть воспроизведено. «Жить» мифом нельзя, как нельзя и объяснять при помощи мифа историческую действительность. Задача мифа в ином — санкционировать, навязать, распространить определенные типы социальных и социально-психологических отношений.

Мифологическое сознание, следовательно, выполняет свою социальную функцию иначе, чем непосредственно-практическое: путем заведомой трансформации исторического материала, приводящей к его актуализации, т. е. заведомого подчинения прошлого сегодняшним — притом, мифологическим — оценкам, требованиям, нуждам. Это не значит, что такая операция сознается отдельными ее участниками в настоящем виде; более того, обычно она выступает в «перевернутом» виде — как подчинение настоящего стандартам некоторого идеального прошлого (или будущего), — в то время как на деле происходит лишь трансформация исторического материала в угоду некоторым текущим иллюзиям.

Широкое поле исследования — проблема народности мифологического типа исторического сознания, т. е. его связи с массовым сознанием и такими традиционными его формами, как эпос, обычай и т. д. Широко распространенные в нашей литературе тенденции противопоставления этих форм мифологии, как правило, строятся на заведомо узком или даже просто неверном отождествлении мифологического сознания с одним из наиболее известных (точнее, предполагаемом таковым) типов религиозной идеологии. Между тем, есть основания полагать, что массовое сознание никогда в принципе не совпадает с какой-либо формой установленной, «специализированной» культовой идеологии. В то же время сам способ воспроизводства и оценки прошлого, характерный для традиционного массового сознания, бесспорно, мифологичен. Геронизация, морализация, символизация и т. п. превращения, которые являются необходимым условием хранения исторической информации в «народной памяти» — атрибуты мифологического сознания.

Видимо, не будет излишним — особенно для дальнейшего хода рассуждений — подчеркнуть вновь, что нас интересует

¹⁶ «Тот факт, что это истина, не важен; но в это верят люди — вот в чем дело, черт побери!» (Г. К. Лихтенберг. Афоризмы. М., 1965, стр. 65).

вовсе не «обличение» мифологического сознания как такового или его воздействия на историческую мысль. Поверхностное обличение, сколь бы резким оно ни было, еще не выводит нас за пределы самого мифологического сознания, оно способно лишь перевернуть присущую ему шкалу ценностей. Эта ситуация вполне аналогична соотношению между легендой и сплетней: «Легенда и сплетня — антиподы. Но они антиподы одного ряда, одной системы. Сплетня — изнанка легенды... легенда и сплетня дополняют друг друга»¹⁷.

Функция науки — не в «обличении» легенд, а в объяснении общественных потребностей, которые привели к формированию и господству именно таких продуктов мифологического сознания, в анализе условий, которые приводят или могут привести к переоценке мифов.

Способы мифологической трансформации истории сравнительно немногочисленны и, как показано рядом исследований, повторяются в культурах различных эпох и народов. Отметим четыре из них: 1) прошлое рисуется как адекватное настоящему; время снимается и «сегодняшний» миф выступает извечным; 2) конструируется картина мифологического времени, прямо противоположного нынешнему; апология настоящего происходит через иллюзорное его отрицание (сюда относятся и представления о рае, золотом веке и т. п.); 3) настоящее выступает неким исключением из хода событий (хаос, упадок, гибель), которое существует благодаря вмешательству исключительных факторов — культурных героев и сил; 4) настоящее выступает результатом всех предшествующих состояний общества. В тех или иных вариантах или сочетаниях мы найдем следы этих типов мифологической трансформации истории и в легендах индейских племен, и в гегелевской концепции мирового процесса.

Тень немецкого философа потревожена не случайно. В его грандиозной конструкции всемирно-исторического процесса, содержавшей немало рациональных подходов к истории и гениальных соображений, открывших новые возможности движения исторической мысли, — помимо всего этого (и надо всем этим) виден лик доброго старого мифологизма. Правда, Гегель упорно воевал с ним, стремясь преодолеть богословский разрыв между богом, творящим историю, и историей, им творимой. Но получалось у него то, что, по словам Маркса, Лютер проделал с попами: он превратил попов в мирян, сделав самих мирян попами. Гегель же превратил священную историю в светскую, придав последней священный смысл. Не лишено интереса то обстоятельство, что для подкрепления своей основной идеи о шестивии разума в истории («единственной мыслью, которую привносит с собой философия, является та простая мысль разума, что

¹⁷ А. Лебедев. Чаадаев. М., 1965, стр. 7, 8.

разум господствует в мире»¹⁸⁾ он прямо ссылаясь на авторитет Библии и ставил в упрек своим противникам (Канту) отход от ее учения¹⁹. Гегелевская философия истории мифологична по своим истокам и по своему значению, ибо история в ней подчинена схеме исторической апологетики, а диалектика духа в истории по существу оказывается лишь «инобытием» одного из вариантов христианской концепции преодоления греховности мира.

Однако в данной связи нас интересует не столько сама гегелевская философия истории, сколько один из ее предшественников, противников и в то же время ее наследников. Речь идет об утопизме, который вырос на корнях просветительского рационализма и который пережил гегелевскую критику.

Идею о восстановлении «первоначального» счастливого состояния человека, которой пытались придать рациональную форму многие просветители XVIII в. (Морелли, Руссо); Гегель критиковал резко и верно: «Ведь состояние невинности, это райское состояние, есть животное состояние. Рай есть парк, в котором могут оставаться только звери, а не люди... Грехопадение есть вечный миф человека, именно благодаря ему он становится человеком»²⁰. Конечно, ни эта, ни последующая критика (и самокритика) *утопического сознания* не прекратила его существования.

По своим истокам и по своему содержанию утопическое сознание является одним из вариантов сознания мифологического (здесь мифологическое время как бы «социализировано», опрокинуто вперед, т. е. «золотой век» усматривается в будущем). Конечно, утопизм в таком понимании значительно шире категории утопического социализма; с другой стороны, идеи общественного прогресса и социального переустройства лишь тогда могут быть отнесены к утопическому сознанию, когда они исходят из утопической схемы исторического движения.

Обратим внимание на некоторые характерные черты утопического сознания:

1) исторический процесс выступает как направленный, ориентированный своей целью, как ортогенез. Все предшествующие состояния общества рассматриваются как ступеньки восходящей к цели лестницы;

2) относимое к мифологическому будущему состояние цельности бытия, свободного от противоречий, выступает в качестве «подлинной» человеческой истории, снимающей все предшествующие ей «неподлинные» этапы, смысл каждого из которых состоит лишь в приготовлении почвы для своего преемника;

¹⁸ Гегель. Сочинения, т. VIII, стр. 10.

¹⁹ См. там же, стр. 14.

²⁰ Там же, стр. 304.

3) незаметно входящее в эту схему убеждение о том, что цель (бога и человечества) оправдывает средства; это убеждение естественно вырастает из самого уже «линейного» расположения этапов восхождения к финалу, где каждое предыдущее состояние оказывается средством достижения следующего и т. д.;

4) отношение к человеческой личности как элементу, средству реализации общественной программы, поскольку реализация утопического идеала считается средством решения всех человеческих проблем.

Эта характеристика утопического сознания отнюдь не предпосылает вопрос об исторической роли тех или иных его форм: неизбежность и прогрессивность целого ряда из них достаточно хорошо известны. Другое дело, что консервативность самого типа мифологического сознания вполне присуща любым утопическим представлениям (поскольку история подчинена наперед заданной схеме, вольно или невольно происходит «подгонка» исторических представлений под наличную схему; здесь объективная основа тенденции к стабильности схемы, а значит, и катастрофического преодоления последней). Поэтому оправданная и полезная в одних условиях, утопическая схема оказывается неоправданной и вредной в изменившейся ситуации, но изменяться вместе с ситуацией она не способна. В этом, кстати, одно из отличий мифологического сознания от научного.

Вряд ли можно, однако, сформулировать характеристики *научного сознания истории* через серию подобных отрицаний. Формирование научного подхода к исторической действительности — процесс долгий и противоречивый, так что гораздо важнее выявить его тенденцию, а не какой бы то ни было изолированный признак.

Предпосылкой развития научного подхода к истории служит изменение места исторического сознания в обществе. Скажем, такие элементарные (по современным нам понятиям) факты, как изменения формы хранения исторической информации, связанные с переходом ее в ведение профессиональных хронистов, пользовавшихся записью, создали серьезнейшую предпосылку для изменения самой структуры зафиксированного знания. По всей видимости, именно здесь появилась та «клеточка» исторического исследования, которая и сейчас составляет основное его содержание, она же составляет центр всей методологической дискуссии вокруг исторического знания: речь идет об «историческом», подлежащем объективной регистрации факте. Стремление фиксировать объективные факты в их хронологической последовательности — независимо от того, сколь полно оно могло реализоваться — задало новый «тон» движению исторической мысли, резко противопоставив его «тону» мифологического сознания. Это не значит, что историческое сознание в этой его форме сразу же выступает неким анти-

подом сознания мифологического. Скорее наоборот: исторические сочинения, объективные на «низшем» уровне, т. е. детально и подробно описывающие факты в их хронологической последовательности, оказывались заведомо субъективными в своих установках, подчиняя описание фактов той или иной мифологической. моралистической, утопической схеме исторического сознания. (Потребовались десятки веков, чтобы стала ясной обусловленность самого понятия «факта» общей установкой описания.)

Как известно, наша «Повесть временных лет» составлялась с ясно выраженной целью: дать оправдание определенным социально-политическим и нравственно-религиозным идеям (противопоставление христианского мира варварскому, единство славян и др.). Современный исследователь «Повести» Д. С. Лихачев усматривает в ней «осмысление политической действительности», отмечает «героическое и учительное» значение исторической хроники²¹. Он связывает эти особенности древних памятников исторической литературы с «особым характером народной памяти», с влиянием «народно-поэтического отношения к миру»²². По сути же дела, речь идет именно о тех явлениях, которые служат атрибутами мифологического сознания.

С той же картиной встретимся мы и в «Истории Государства Российского» Н. М. Карамзина, которую отделяют от нас всего полтора столетия. «История в некотором смысле есть священная книга народов: главная, необходимая; зеркало их бытия и деятельности; скрижаль откровений и правил; завет предков к потомству; дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего»²³. И эту программу прославленный основоположник отечественной историографии последовательно реализует.

Отметим, что еще во времена Карамзина в историю входила едва ли не вся совокупность социальных знаний. Дальнейшее движение исторической мысли связано с двумя принципиально важными процессами: 1) обособлением дисциплин, рассматривающих определенные аспекты функционирования общества как системы (политическая экономия, социология); 2) десакрализацией, демифологизацией самого исторического сознания, связанной с изменением его функций в обществе (продуктами этого процесса — как бы продуктами «полураспада» мифологизма — выступают многообразные варианты утопического сознания, этического, эстетического, короче говоря, ценностного отношения к исторической реальности). Рассмотрение этих процессов неизбежно приводит нас к вопросу о характере и судьбах *историзма*

²¹ См. «Повесть временных лет», ч. II. М.—Л., 1950, стр. 6, 25.

²² См. там же, стр. 24, 29.

²³ Н. М. Карамзин. История Государства Российского (в трех книгах), кн. I. СПб., 1842, стр. IX.

как важнейшего явления исторического сознания, сложившегося непосредственно после его избавления от мифологических концепций.

МЕТОД И КОНЦЕПЦИЯ ИСТОРИЗМА

Крупнейшим явлением научной мысли XIX в. было формирование и торжество историзма, выступившего в качестве метода исследования как в сфере естественнаучной, так и в сфере социального знания. Принципы историзма за последние сто лет столь прочно вошли в научный обиход, приобретая признаки очевидности, что — как это, впрочем, всегда бывает с обиходными категориями — их реальное содержание не часто привлекает специальное внимание. Эта мнимая очевидность служит источником многих методологических ошибок.

Так, прежде всего возникает вопрос, правомерно ли считать, что исторический метод применяется в таком «жанре» исторического исследования, как *хроника*, т. е. расположении реальных событий на шкале времени. Мы отнюдь не собираемся дезавуировать хронику как способ фиксации исторического материала. Хроника — исторически первый способ объективного (точнее, стремящегося быть объективным) отношения человечества к своему прошлому. В то же время это вновь и вновь повторяющаяся в движении исследования фаза «собираательства». С хронологизмом, однако, связаны по крайней мере две чрезвычайно распространенные иллюзии. Во-первых, иллюзия относительно того, что хроника служит «началом» всякой историографии и потому свободна от всякого мифологизма (и идеологизма вообще). На деле же сама фиксация фактов предполагает какие-то предварительные, большей частью неосознанные способы выделения и классификации этих фактов, и уже благодаря этому последовательность их расположения в той или иной форме содержит некоторую схему их взаимосвязи, направленности этой взаимосвязи²⁴. Вторая же иллюзия состоит в том, что хронологизму приписывается некая концепция «исторического процесса» (в частности и в особенности — концепция историзма). Последовательность фактов объявляется закономерностью, благодаря чему донаучные (по крайней мере предшествующие ка-

²⁴ Риккерт был прав, утверждая, что «еще до того, как наука приступает к своей работе, уже повсюду находит она само собой возникшее до нее образование понятий, и продукты этого донаучного образования понятий, а не свободная от всякого понимания действительность, являются, собственно, материалом науки» (Г. Риккерт. Философия истории. СПб., 1908, стр. 18). Заметим лишь, что стихийно сложившиеся предпосылки воздействуют и на хронику, а также что само формирование этих предпосылок может быть не только зафиксировано, но и исследуемо.

кому-либо определенному исследованию) предпосылки отбора и оценки «фактов» выступают в качестве «научных выводов». Эта иллюзия, носящая характер профессиональной болезни хронистов всех времен (и подкрепляемая упомянутым ранее фактором иллюзорного общественного престижа научного знания и его суррогатов), в немалой мере способствует разрушительной работе кантианской и позитивистской критики историзма.

В самом общем виде историзм как метод исследования может быть охарактеризован как: а) рассмотрение явлений действительности как процессов, протекающих во времени, и б) признание обусловленности данного состояния процесса его предшествующим состоянием. От хроники историческое рассмотрение отличается тем, что оно берет не столько последовательность, сколько детерминацию явлений; от мифологического (утопического и т. п.) подхода к прошлому историзм принципиально отличен, как каузальность от финализма, т. е. как объяснение «почему» от объяснения «для чего».

Но что такое переход от хронологизма к историзму? Обиходное представление о том, что внимательное наблюдение достаточно большого числа фактов, при наличии соответствующего интереса, «ведет» исследователя к обнаружению связей между фактами или к построению теории, охватывающей целый класс таких связей, неверно и являет собой распространенный пример логической ошибки «post hoc, ergo propter hoc». В действительности обращение к фактам обеспечивает проверку, браковку, отбор концепций, которые, конечно, не априорны, не извечны, но которые сложились в каком-то ином процессе, на ином уровне. Так обстоит дело и с историзмом. Отсюда следует, что, собственно, происходит переход от явного или скрытого мифологизма, утопизма к историческому рассмотрению прошлого, которое подчиняет себе хронику и определяет ее движение, — подобно тому как до этого хроника подчинялась иным методам.

Для формирования историзма как универсального метода исследования в общественных науках решающее значение имели философские концепции прогресса (Гердер, Гегель) и, в особенности, эволюционные идеи в естествознании (биологии, геологии, космологии), серьезно повлиявшие на все мировоззрение своего времени. Р. Виппер справедливо отмечал, что Гердер «находился под обаянием прежде всего естественнонаучных открытий. Фундамент его истории человечества — это история солнечной системы, история образования земной коры, история развития растительных и животных видов»²⁵.

Нет нужды доказывать, как повлияли на распространение

²⁵ Р. Виппер. Общественные учения и исторические теории XVIII и XIX веков в связи с общественным движением на Западе. СПб., 1900, стр. 83.

исторического подхода к обществу успехи дарвинизма. Общеизвестна та высокая оценка роли эволюционной теории в формировании диалектико-материалистического метода, которая дана в классической марксистской литературе; в то же время эта теория оказала огромное влияние и на немарксистскую общественную мысль. «Всепроникающая концепция истории в своем приложении не только к человеческим действиям, но к самой природе обязана, как я полагаю, в основном Дарвину»²⁶, — писал С. Александер.

Марксистская теория выступила как последовательное применение исторических принципов к общественной жизни. «Мы знаем только одну единственную науку, науку истории», — писали Маркс и Энгельс²⁷. (Очевидно, что здесь речь идет именно о методе исторического рассмотрения действительности, а не об истории как особой дисциплине.) Излишне напоминать, что марксистский историзм базируется на понимании роли материального производства и материальных отношений в общественном процессе, в то время как иные исторические концепции, как правило, выделяли культурные факторы движения общества. В данном случае представляется целесообразным сосредоточить внимание на судьбе самого принципа историзма, поскольку от той или иной его трактовки зависит и выбор «факторов».

К концу XIX в. историзм стал универсальной модой. Хорошим выражением ситуации можно считать известный тезис Бернгейма о «трех стадиях исторической науки» (повествовательной, поучительной, генетической)²⁸; представлялось, что «генетическая история» (т. е. историзм) окончательно одержала верх над хроникой, мифологизмом и морализированием. Тому же автору принадлежит характерное определение истории как «науки, которая изучает и излагает в каузальной связи факты развития людей как социальных существ во всех видах их действий (индивидуальных, равно как типических и коллективных)»²⁹. И именно универсальная «мода» на историзм позволила выявить существенные его изъяны и слабости. В. И. Ленин отмечал, что принцип развития получил широкое распространение в своем опошленном, вульгаризованном виде; для общественных наук справедливость этого замечания особенно очевидна.

Прежде всего вульгарно интерпретировался сам принцип каузальности в историческом процессе. Не умея подойти к определению «механизма» этого процесса, либерально-пошлые разносчики историзма и их вульгарные оппоненты попытались зримую,

²⁶ S. Alexander. The Historicity of Things. — In: Philosophy and History. Essays presented to E. Cassirer. Ed. by R. Klibansky and H. Paton. N. Y. — Evanston — London, 1963, p. 11.

²⁷ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 3, стр. 16.

²⁸ См. Г. Шпет. История как проблема логики, ч. I. М., 1916, стр. 25.

²⁹ См. «Philosophy and History» (ed. by R. Klibansky and H. Paton), p. 1.

наглядную (во второй половине прошлого века) картину общественных изменений выдать за универсальный закон. С этим связана та концепция вульгарного «прогрессизма», которая с легкостью обернулась концепцией универсального отчаяния и паники, столкнувшись с двумя мировыми войнами, фашизмом и тому подобными проявлениями противоречий современного общественного развития. Немалый ущерб нанесло вульгарно понятому прогрессизму и обнаружение многообразия общественных систем, которые не укладывались в схему «линейного» восхождения человечества.

«Внешние» удары стимулировали и вывели на поверхность давно назревавший внутренний кризис вульгарного историзма. Так, например, стала ясна вся противоречивость понятия «исторического факта», которое примитивный историзм принимал за нечто незыблемое; вместе с этим оказалась подорванной и наивная достоверность «фактологической» историографии. Брошенный в свое время Л. Ранке лозунг «в простом и чистом виде раскрыть, как это было»³⁰, который как будто соответствовал наивно реалистической трактовке историзма, обнаружил свою бессодержательность при первом же столкновении с анализом исторического исследования. В конечном счете, этот лозунг не отличается от поучения Цицерона историкам: «первый закон истории — не сметь говорить неправды, второй — говорить всю правду»³¹. «Факт» в вульгарном историзме оказался функцией концепции, исторической схемы, — причем именно в силу того, что наложение концептуальной системы на фактологию произошло неосознанно, в роли такой системы выступила некоторая трансформация известного нам мифологизма и утопизма. Прогрессизм, претендовавший на объективное, «идеологически нейтральное» выражение реальности процесса, был уличен как переодетый финализм, конструирующий схему всеобщего движения к предзаданному всеобщему «happy end».

Смешение разнородных процессов функционирования и развития, а также разных типов каузальной обусловленности явлений (динамической и статистической) в значительной мере способствовало изображению всего исторического движения в виде такого поступательного восхождения, а исторического прошлого — апологией данного настоящего.

Лапласов тезис о возможности вывести все события мирового развития из формулы, обозначающей «первоначальное» состояние мира, у Фихте звучал так: «Все, что действительно существует, существует с безусловною необходимостью и с безусловною необходимостью существует именно так, как существует; оно не

³⁰ См. «L'histoire et ses méthodes». Paris, 1961, p. 1268.

³¹ Cicero. De oratore, II, XV, 62. — См.: «L'histoire et ses méthodes», p. 1523.

могло бы не существовать или быть иным, чем оно есть»³². То же самое — но теперь уже просто вульгарное (ибо атрибуты божества всегда банальны без своего носителя) понимание исторического детерминизма мы находим и у Конта: «Учение, которое удовлетворительно объяснило бы прошлое в целом, неизбежно получило бы, вследствие одного этого достижения, духовную власть над будущим»³³. Из этих методологических позиций — сознательно или нет — исходят все те разновидности описаний «закономерного прогресса» истории, в которых трактовка направленности этого прогресса непосредственно зависит от «точки отсчета», т. е. от места облюбованной историком точки зрения на «линии» воображаемого прогресса.

Изъяны историзма в том виде, в каком он получил широкое распространение, были отмечены и подвергались критике задолго до начала «критического похода» против историзма, предпринятого в последние десятилетия историками и логиками, этнографами и философами, главным образом, связанными с современными вариантами кантовских, позитивистских, экзистенциалистских теорий. На пошлость вульгарного прогрессизма в его буржуазных и мелкобуржуазных разновидностях не раз указывали классики марксизма. Специальное и усиленное внимание к ней было, однако, привлечено именно в период «критического похода».

Социально-политические предпосылки этого явления уже неоднократно получали оценку в советской философско-исторической литературе³⁴, что избавляет нас от необходимости возвращаться к этой, наиболее очевидной, стороне вопроса. Важно отметить некоторые моменты логики «критического похода» (или «походов»), поскольку они объясняются логикой самого историзма.

Одной из особенностей «критического похода» был (и есть) намеренный или ненамеренный оттенок «разоблачительства», присущий самой критике историзма XIX в. В этом нет ничего удивительного, причем дело опять-таки не столько в намерениях и интересах «критиков» (от Риккерта до Поппера), сколько в характере критикуемых концепций и в методе подхода к ним. Научные теории, гипотезы, выводы подлежат критике, сомнению, дополнению, пересмотру, опровержению и т. д. — но *не* подлежат разоблачению; этой последней операции просто нет, не должно быть в научном исследовании. Объектом разоблачения может быть лишь *миф*, *легенда*, т. е. нечто *иллюзорное*, облаченное в священные одеяния. (Не факт отсутствия нового платья у ко-

³² И. Г. Фихте. Основные черты современной эпохи. СПб., 1906, стр. 116.

³³ См. «L'histoire et ses méthodes», p. 1477.

³⁴ См.: В. Ф. Асмус. Маркс и буржуазный историзм. М.—Л., 1933; И. С. Кон. Философский идеализм и кризис буржуазной исторической мысли (Критические очерки философии истории эпохи империализма). М., 1959.

роля, но миф о наличии этого платья был развенчан мальчишеским возгласом.) Либеральный прогрессизм подлежал разоблачению и опасался разоблачения, поскольку был трансформацией и продолжением мифологического восприятия истории.

Основным пунктом неокантианской критики историзма (Риккерт) было, как известно, противопоставление двух способов образования понятий — естественнонаучного (натурализма) и культурно-исторического (ценностного). Кантово различие «естественного» порядка природы и «морального» порядка человеческой жизни у Риккерта превратилось в различие способов построения знания, причем один и тот же объект (явления общественной жизни) может рассматриваться в разных планах, при помощи «исторических» (индивидуализирующих) и «натуралистических» (генерализирующих) методов в зависимости от того, интересует ли исследователя неповторимость данного конкретного события или какая-либо общая закономерность (социология при такой трактовке противопоставлялась истории как один из образцов «генерализирующего» подхода). Требуя строгого разграничения указанных методов, Риккерт резко ополчался против «историзма как мировоззрения»³⁵.

Было бы неверно, однако, утверждать, что неокантианцы отрицали возможность истории как науки. По словам того же Риккерта, именно история является «подлинной наукой о действительности»³⁶, поскольку она и только она имеет дело с реальными, единичными фактами, в то время как «натурализм» оперирует с «общими понятиями». В этом отношении неокантианство резко отличается от «философии жизни», скажем, О. Шпенглера: «Природу должно трактовать научным образом; напротив, история должна быть предметом поэтического творчества»³⁷. То же у Ортега-и-Гассета: «Физико-математический разум, то ли в грубой форме натурализма, то ли в возвышенной форме спиритуализма, не был в состоянии справиться с человеческими проблемами... Человек — не вещь, но драма: его жизнь — чистый и универсальный случай, который случается с каждым из нас и в котором каждый является не чем иным, как случаем»³⁸. В противоположность «философии жизни» у Риккерта есть такое понятие, как «система безусловных ценностей»³⁹, которая призвана служить некой мерой для индивидуальных событий (высшая ценность — свободная, автономная личность).

³⁵ Г. Риккерт. *Философия истории*. СПб., 1908, стр. 13.

³⁶ Г. Риккерт. *Границы естественнонаучного образования понятий. Логическое введение в исторические науки*. СПб., 1903, стр. 223.

³⁷ O. Spengler. *Der Untergang des Abendlandes*, Bd. I. München, 1923, S. 139.

³⁸ J. Ortega y Gasset. *History as a System*. — In: *Philosophy and History* (ed. by R. Klibansky and H. Paton), p. 302—303.

³⁹ Г. Риккерт. *Философия истории*, стр. 136.

Категорическое противопоставление генерализации и индивидуализации при описании исторической реальности подвергается критике давно и с разных сторон. (Хотя противопоставление это, как мы уже видели, касается методов познания, а не областей знания, различие характера самих познавательных интересов при изучении общества и природы с неизбежностью приводит к тому, что именно история общества как сфера действия интереса к «индивидуальному» отграничивается от «области науки».)⁴⁰ Наиболее часто повторяемое возражение состоит в том, что в любом конкретно взятом историческом исследовании мы встречаемся и с генерализацией, и с индивидуализацией, и с частными разновидностями (или побочными продуктами) этих процессов, вроде типизации, сравнения и т. д. Эмпирически очевидная такого рода критика нередко выражается в виде общих рекомендаций «конкретно», «творчески», «диалектически» сочетать различные приемы исследования⁴¹. Подобного типа «обобщения» никоим образом не добавляют строгости к наличному арсеналу приемов, используемых историком, и не опровергают пресловутой дилеммы (если историк пользуется разными, даже взаимоисключаемыми методами исследования, это говорит не об их совместимости, но о характере самой исторической дисциплины, в которой различные подходы соединяются при помощи чутья, интуиции, интересов исследования). Видимо, независимо от мотивов и формы ее постановки (Риккертом или Аристотелем) дилемма «истории» и «закона» не столь проста, хотя практически она решается ежедневно и ежечасно.

Хорошей моделью интересующей нас ситуации может служить одно рассуждение Л. Н. Толстого: «Доктора ездили к Наташе и отдельно и консилиумами, говорили много по-французски, по-немецки и по-латыни, осуждали один другого, прописывали самые разнообразные лекарства от всех им известных болезней; но ни одному из них не приходила в голову та простая мысль, что им не может быть известна та болезнь, которой страдала Наташа,

⁴⁰ В дискуссиях вокруг той же дилеммы не раз делались попытки снять ее простым напоминанием о том, что и в физике изучаемые явления индивидуальны (см.: Ph. Bagby. *Culture and History*. Berkeley. 1963, p. 52), и о том, что объекты физического знания тоже «субъективны» (E. Wind. *Some Points of Contact between History and Natural Science*. — In: *Philosophy and History* (ed. by R. Klibansky and H. Paton), p. 255). Но этими попытками отвергается не сама Риккертова дилемма науки, но лишь неточная, хотя и распространенная, ее трактовка.

⁴¹ В этом духе построены, кстати, почти все статьи в недавнем сборнике, изданном в США под редакцией Л. Готшюка (*Generalization in the Writting of History*. Ed. by L. Gottschalk. Chicago, 1963), и в материалах симпозиума почти на ту же тему, проведенного С. Хуком (*Philosophy and History. A Symposium*. N. Y., 1963). Впрочем, почти весь набор приводимых там доводов можно встретить в значительно более старых работах; см., например, Д. М. Петрушевский. К вопросу о логическом стиле исторической науки. Пг., 1915, стр. 13, 15, 17 и др.

как не может быть известна ни одна болезнь, которой одержим живой человек, ибо каждый живой человек имеет свои особенности и всегда имеет особенную и свою новую, сложную, неизвестную медицине болезнь, не болезнь легких, печени, кожи, сердца, нервов и т. д., записанных в медицине, но болезнь, состоящую из одного из бесчисленных соединений в страданиях этих органов»⁴². Этот пример удобен потому, что ситуация медика (при диагнозе), пожалуй, более подобна ситуации историка, чем, скажем, ситуации физика, ботаника или любого другого естествоиспытателя. И, конечно же, это пример, показывающий практическую несостоятельность рассуждения о «неповторимости» исторического события. Успехи медицины говорят о том, что болезни при всем их своеобразии с достаточно большой степенью уверенности могут быть отнесены к каким-то (вовсе не «бесчисленным») вариантам и излечимы при помощи определенного (тоже не бесконечного) набора приемов и средств; именно принципиальная возможность сосчитать эти варианты вызывает к жизни и «машинную диагностику», да и саму медицинскую науку как науку. Но так же поступает практически всякий историк, когда он типизирует и обобщает исторический материал, отвлекаясь от некоторых несущественных индивидуальных подробностей. Весь вопрос, следовательно, в возможности «отвлекаться» от деталей и сосредоточивать внимание на «существенном».

Еще одной иллюстрацией нашей дилеммы может служить следующая мысль К. А. Тимирязева: «Всякое же возможно полное изучение конкретного явления неизменно приводит к изучению его истории. Для изучения законов равновесия и падения тел довольно данных экспериментального метода и вычисления; для объяснения же, почему именно развалился дом на Кузнецком мосту, нужна его история»⁴³.

«Практический» выход и здесь, очевидно, прост: выбор необходимого угла зрения. Теоретическая же проблема состоит в том, чтобы выяснить возможности, условия, «цену» такого выбора. И это опять приводит нас к понятию интересов, определяющих выбор историка.

Марксистская концепция исторического развития как «естественноисторического процесса» (*Маркс*), как процесса, происходящего с «естественноисторической необходимостью», как процесса, который «можно констатировать с естественнонаучной точностью» (*Ленин*), предполагает совершенно сознательное выделение определяющей тенденции этого развития и, соответственно, сознательное отвлечение от несущественного, от конкретных де-

⁴² Л. Н. Толстой. *Война и мир*, т. III, ч. 1, гл. XVI. — Собрание сочинений в двадцати томах, т. VI. М., 1962, стр. 78—79.

⁴³ К. А. Тимирязев. *Исторический метод в биологии*. — Сочинения, т. VI. М., 1939, стр. 57.

талей. Именно это дает реальную основу соединению различных исследовательских приемов в марксистской историографии. Конечно, этот механизм действует, поскольку сохраняет свое значение принятая концепция. Что же касается интересов историка, то здесь марксистская позиция, как известно, состоит в анализе их как общественно-необходимых, объективно-обусловленных и т. д. (это, конечно относится и к ценностям). Названная дилемма перестает быть делом произвольного выбора отдельного исследователя, а вместе с этим она перестает быть и дилеммой научной мысли. Реально-значимой оказывается проблема множественности путей движения исторического сознания.

Самая резкая критика всего развития этого сознания исходила за последнее время от К. Поппера, известного логика-позитивиста. В своей «Логике исследования», а затем особенно в «Нищете историзма» и «Открытом обществе» критика историзма (или «историцизма», как называет его Поппер) является излюбленным коньком автора. Характеристика взглядов Поппера как антиисторических стала в нашей литературе почти общепринятой. Однако такую характеристику нельзя считать достаточно содержательной: абстрактное противопоставление «историзма» и «антиисторизма», которое нередко встречается у самих участников «критического похода», вряд ли следует принимать за отражение реального положения дел. О значении их разрушительной работы следует судить не столько по явным или тайным намерениям, сколько по результатам, по тем целям, в которые не только метят, но и попадают критические стрелы.

В действительности объект критики Поппера существенно отличается от предполагаемого. Рассчитывая, по-видимому, попасть в «яблочко» историзма, он задевает по существу лишь побочные или пережиточные его трансформации (мифологизм и утопизм в историческом сознании), хотя эти трансформации вполне реальны. Ведь, по Попперу, историзм — это «вера в историческую судьбу»⁴⁴, вера в непреложные законы, однозначно определяющие будущее, это стремление насильственно разрушить существующий порядок во имя некой социальной утопии и т. д. Создав подобную картину историзма (которая, очевидно, не имеет ничего общего с Марксовым пониманием «естественноисторического процесса»), Поппер весьма легко ее разрушает. Для этого ему достаточно упоминания о том, что будущее непредсказуемо, поскольку непредсказуем рост такой важной составляющей процесса, как наука, что история знает лишь «тенденции», но не нормативные «законы» и т. д. На таких посылах строится и решающий вывод о том, что «нищета историзма... это нищета воображения»⁴⁵.

⁴⁴ К. R. Popper. The Poverty of Historicism. London, 1960, p. VII.

⁴⁵ Там же, стр. 130.

Альтернативой «историцизму» Поппер считает «частичную социальную инженерию», т. е. сознательное развитие ближайших тенденций общества. Сколь ни резко противостоит эта умеренно-реформистская точка зрения утопической, она тоже предполагает некоторое, пусть недалекое, проектирование будущего. Сама эта идея противоречит тезису Поппера о неприменимости научного метода к процессам, развертывающимся во времени («даже если бы обычные методы физики были применимы к обществу, они никогда не были бы применимы к его наиболее важным чертам: его делению на периоды и появлению нового»⁴⁶). Из этого затруднения Поппер выходит чисто логическим путем. Теории общественного процесса, по его мнению, не могут быть доказаны, но могут быть опровергнуты в сопоставлении с данными («принцип фальсифицируемости»). Отсюда следует, что лишен всякого смысла вопрос о том, откуда взялась та или иная теория, важно лишь, как она проверена⁴⁷. Между тем, неважное или случайное для отдельно взятого исследователя знание об источниках его концепций важно и закономерно для общества, а происхождение такого-то именно комплекса теорий подлежит научному анализу.

Другой аспект воззрений на исторический метод стал предметом резкой критики со стороны функционалистских, а затем и наследующих им структуралистских течений в социологии и этнографии. Помимо целого ряда внешних и случайных для научного исследования мотивов, в этой критике есть и содержательная сторона: речь идет о соотношении структуры и процесса. Если историзм первоначально представил общественную жизнь как ряд процессов, то следующий за этим шаг неизбежно должен был состоять в объяснении «организованности» этих процессов, их взаимообусловленности в рамках определенных систем отношений. Серьезнейшее методологическое значение провозглашенного функционализмом принципа соответствия общественных явлений определенным потребностям⁴⁸ состоит в том, что он перенес центр внимания с «исторических рядов» на «исторические системы» (точнее — на системность общества, рассматриваемого вне истории).

Как мы видим, длящиеся уже несколько десятилетий дискуссии вокруг проблемы историзма практически не изменяют самого характера исторического исследования. Оно остается столь же комплексным, методологически столь же многоликим, как пятьдесят или сто лет назад (повторяем: мы говорим о структуре,

⁴⁶ K. R. Popper. The Poverty of Historicism. London, 1960, стр. 11.

⁴⁷ См. там же, стр. 135.

⁴⁸ Например, «постулат социологии» у Э. Дюркгейма: «Ни один человеческий институт не мог быть построен на ошибке и вымысле... Если бы он не основывался на самой природе вещей, он встретил бы в них сопротивление, которого он не мог бы преодолеть» (E. Durkheim. Les formes élémentaires de la vie religieuse. Paris, 1912, p. 3).

а не об общеполитической основе исследования). Методологический спор не изменил историографии, но и не исчерпал себя, поскольку сохранились породившие его реальные противоречия исторического метода.

ЧИСЛО И СТРУКТУРА В ИСТОРИИ: НОВЫЕ СОБЛАЗНЫ ИЛИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ?

После того как выявился ряд реальных и глубоких противоречий, развешивающих исторический метод в тех формах, в которых он получил широкое распространение, реакция на эти противоречия приобрела немаловажное значение в определении дальнейших судеб историзма.

Реакция эта может быть троякой.

Первая, наиболее банальная ее форма — и, к сожалению, чаще всего дающая о себе знать — состоит в том, чтобы попросту игнорировать проблему, продолжая катить тяжело груженую колесницу исторического знания по проторенным, сложившимся (и слежавшимся) колеям. Престиж традиции, закрепленной различными институциональными формами, создает и долго еще будет создавать здесь иллюзию стабильности и стройности, скрывая методологические «стыки» и коллизии, позволяя относить теоретическую дискуссию куда-то в дальний угол или даже в какую-то пристройку здания, занимаемого историческими дисциплинами. Конечно, такая позиция не всегда означает отрицание определенной методологической ориентации в историческом эмпиризме: отрицается лишь необходимость осмысления давно действующей и привычной ориентации, сложившейся, по существу дела, стихийно. Поскольку, как мы уже видели, в самом фундаменте этой привычности заложена немалая доза трансформированного тем или иным образом мифологизма, утопизма, финализма, — сохраняется и почва для противоборства «мифа» и «разоблачения» как двух полярных точек привычного вращения всего колеса исторического сознания. Такой подход не выводит историческое сознание из донаучных рамок, и в данном случае нам важно было обратить на него внимание лишь как на показатель силы традиции в наш век бурной ломки идеологических традиций.

Второй тип реакции на противоречия историзма — это уже знакомая нам позиция Шпенглера и Ортега-и-Гассета: раз навсегда признать невозможность научного подхода к истории человечества, сознательно отдав последнюю иррациональному мифу. Позиция эта довольно четкая и ссылающаяся в свое оправдание на то, что практически все историческое знание таково. Именно в силу сознательной иррациональности такой точки зрения какая-либо логическая ее критика затруднена, и надежным ответом может быть лишь доказательство от противного: доказа-

тельство плодотворности иного, рационального и научного, подхода к исторической действительности.

Это и составляет реальное содержание *третьего*, наиболее интересного для нас, типа ответов на поставленные ранее вопросы — поиск более эффективного и более современного научного подхода к истории.

Современный авторитет «точных» методов и сфер научного исследования (т. е. тех, которые основаны на количественном анализе и четкой логической структуре вывода), естественно, приводит к вопросу о том, какое значение для исторического познания могут иметь эти методы.

Собственно говоря, проникновение в исторические дисциплины математических и статистических методов — не событие наших дней, оно началось еще в первой половине прошлого столетия. При этом уже тогда дело не ограничивалось просто увеличением цифровых данных в описаниях общественного бытия соответствующей эпохи, но речь шла и о попытках использовать в исследовании новый для своего времени подход к самой характеристике этого бытия. Так, появление термодинамики дало стимул для рассмотрения общества как статистического агрегата, характеризуемого определенными показателями.

Классическим примером может служить трактовка уголовной статистики Ж. Пэше, а потом Л. А. Кетле, Г. Боклем и др. Из книги Пэше К. Маркс выписал следующее положение: «Ежегодное число самоубийств, которое является у нас до известной степени нормальным и периодическим, следует считать симптомом плохой организации нашего общества, так как во время застоя промышленности и ее кризисов, в эпоху дороговизны средств к существованию и в суровые зимы симптом этот более бросается в глаза и принимает эпидемический характер. Проституция и кражи растут тогда в такой же пропорции»⁴⁹. Исходя из аналогичных данных о постоянстве числа преступлений, Бокль (следуя взглядам Кетле) делал вывод о том, что «самоубийство есть продукт известного состояния всего общества», «проступки людей происходят не столько от пороков отдельных виновников, сколько от состояния общества, в которое эти люди бывают заброшены»⁵⁰.

Очевидно, что по мере развития социальной (в частности демографической) статистики появились возможности для выделения новых и новых, надежно измеренных суммарных показателей «состояния общества» (национальный доход на душу населения, потребление культурных благ и т. д.). Существенная

⁴⁹ См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. III. М.—Л., 1929, стр. 674.

⁵⁰ Бокль. История цивилизации в Англии, т. I, ч. I. Пер. А. Н. Буйницкого и Ф. Н. Ненарокова. Изд. 2-е. СПб., 1863, стр. 30, 33.

ограниченность подобных методов состоит в том, что они не дают надежной основы для сопоставления различных типов общества, поскольку изменение учитываемого показателя является плодом совокупного действия разнородных факторов; не приближают они и к выяснению механизма изменения «общественных состояний».

Влияние естественных наук на социальные не кончилось. «Могущественный ток к обществоведению от естествознания шел, как известно, не только в эпоху Петти, но и в эпоху Маркса. Этот ток не менее, если не более, могущественным остался и для XX века», — писал В. И. Ленин⁵¹. Вопрос в том, какой характер носит в современных условиях влияние на историческое исследование «естественнонаучных методов» (точнее: методов, разработанных в русле естествознания и «точных» математических дисциплин).

Прежде всего, конечно, бросаются в глаза такие важные новшества, как применение современных физических методов (радиоуглеродного и др.) для датировки памятников, растущее использование электронно-вычислительных машин для анализа массовых данных, для расшифровки текстов⁵².

Уже сейчас применение новых методов и новой техники анализа массовых данных позволило ввести в научный оборот новые материалы (анкеты и др.), более строго обосновать определенные теоретические положения, гипотезы. Возможности дальнейшего движения в этих направлениях, по-видимому, неисчерпаемы.

Более сложен, однако, вопрос о методологическом значении самого факта все более интенсивного проникновения точных методов в историческое знание. Ведь само по себе дополнительное количество данных или ряд более строго обоснованных выводов непосредственно не изменяет характера исторического исследования и мышления исследователя. Никакое количество статистических данных, сведенных в ряды, таблицы и графики, не делает еще точной концепцию исследователя (хотя иногда и создает иллюзию обоснованности концепции). Поскольку речь идет только о технических приемах, прав Коллингвуд: «Статистические исследования для историка — хороший слуга, но плохой хозяин. Он ничего не выгадает от статистических обобщений, если он не выделит мысли, стоящей за фактами, которые им обобщаются»⁵³. И даже такой поборник математизации социологии, как П. Лазарсфельд, признает, что «статистические резуль-

⁵¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 41.

⁵² См. В. А. Устинов. Применение вычислительных машин в исторической науке. М., 1964.

⁵³ R. G. Collingwood. The Idea of History. Oxford, 1946, p. 228.

таты могут быть получены только в ответ на предыдущие рассуждения»⁵⁴.

Значение точных данных социальной статистики или результатов математической обработки массовых источников в историческом знании зависит от сознательно или бессознательно принятой или усвоенной исследователем схемы, концепции. Совершенно аналогичная ситуация складывается при применении математических методов в биологии, в экономике, в лингвистике. Использование теории информации при изучении процессов жизни, например, осложняется отсутствием научной характеристики содержания информационных процессов в организмах.

Но можно ли считать, что формирование «исходной» исследовательской схемы — т. е. способ выделения предмета исследования — неизбежно должно оставаться полусознанной, традиционной, интуитивной предпосылкой исторического изучения? Не поддается ли этот процесс научному анализу — и воздействию современных достижений научной мысли? Очевидно, что здесь — центральное звено всей интересующей нас проблемы.

И здесь уже возникает вопрос о воздействии не отдельных достижений, приемов, техники, но самого «духа» научного мышления нашего века на историческое знание. (Кстати, применение статистических методов для изучения исторического материала — это не только способ обнаружить или пополнить некоторые новые знания, но и особый способ изображения общественных отношений как статистических закономерностей.)

Одной из важнейших составляющих этого «духа» является *категория структуры*, широко используемая в самых различных областях знания.

Видимо, нельзя считать структурализм особым и целостным направлением научной мысли; этим термином, однако, широко пользуются для обозначения ряда более или менее сходных тенденций в подходе к рассмотрению социальных объектов⁵⁵. Общими их чертами являются стремление выделить методологические принципы изучения системных объектов, поставив в связи с этим рассмотрение взаимоотношений элементов системы на первое место по сравнению с их историей и придавая отношениям между элементами («структуре») большее значение, чем самим элементам. В числе теоретических предпосылок структурализма обычно фигурируют методы современной физики, кибернетики,

⁵⁴ См. «Generalization in the Wrighting of History», p. 165—166.

⁵⁵ Иногда, правда, под структурой понимается теоретическая модель соответствующих отношений. Специальная конференция о значении термина «структура», проводившаяся под эгидой ЮНЕСКО, не выявила какой-либо общепринятой концепции на этот счет (см. «Sens et usages du terme structure dans les sciences humaines et sociales», Ed. par R. Bastide. 's-Gravenhage, 1962).

теории информации, а также структурной лингвистики и ее производных.

Категория структуры, поиски путей анализа структурных явлений — одно из наиболее ярких выражений духа современного естествознания. «Физика сегодня занимается больше энергией, чем материей, больше формой, чем субстанцией, больше организацией, чем веществом... Весь мир опыта начинает выглядеть как иерархия систем; и главная задача науки состоит в том, чтобы формулировать законы, при которых эти системы сохраняются и взаимодействуют»⁵⁶.

Сама по себе постановка задачи исследования системных объектов как таковых не нова: теоретики лингвистического и антропологического структурализма (Л. Блумфилд, К. Леви-Строс) нередко ссылаются на «Капитал» как образец анализа системы, на анализ структур родственных отношений у Л. Моргана и Ф. Энгельса⁵⁷.

Эти ссылки, конечно, не случайны. Материалистическая концепция общественной жизни впервые дала образец научного подхода к структуре общественного организма, прежде всего экономического «скелета».

Новым и специфическим для современного структурализма как тенденции (а не определенной школы) являются попытки создать абстрактную методологию изучения систем безотносительно к их вещественной, эмпирической природе. С этим связано, в частности, открытое размежевание с традиционными формами историзма.

В общественных дисциплинах наибольшее развитие структурные методы получили в лингвистике, поэтому целесообразно оценить их значение именно в этой области.

Исходным пунктом развития лингвистического структурализма послужило сделанное Ф. Соссюром в его «Курсе общей лингвистики» разграничение двух способов рассмотрения языка: синхронного и диахронного, причем решающим выступал первый. Провозглашение примата синхронии связывалось с представлением о языке как целостной функционирующей системе. Ф. Соссюр так пояснял свою концепцию: «Чтобы описать шахматную позицию, совершенно незачем вспоминать, что случилось на доске десять секунд тому назад»⁵⁸. В дальнейшем теоретики различных школ структурной лингвистики сформулировали принципы исследования языка как системы абстрактных отношений. «Чувственное содержание фонологических элементов ме-

⁵⁶ G. Vickers. Control, Stability and Choice. — In: «General Systems. Yearbook of the Society for General Systems Research», vol. II. Ann Arbor (Michigan), 1957, p. 1.

⁵⁷ См. L. Sébasta g. Marxisme et structuralisme. Paris, 1964, а также C. Lévi-Strauss. Anthropologie structurale. Paris, 1958.

⁵⁸ См. «Новое в лингвистике», вып. III. М., 1963, стр. 148.

нее существенно, чем их взаимные отношения в рамках данной системы», — гласил один из основных тезисов Пражского лингвистического кружка⁵⁹. Не отрицая исторического рассмотрения языка, структуралисты требовали судить о его исторических изменениях как об изменениях в рамках целостной системы.

В современных методологических дискуссиях вокруг структурной лингвистики существенное место заняли проблемы соотношения формальных и «живых» языков в плане их системности и в связи с этим значения различий между синхронией и диахронией. Никакой реальный, исторически сложившийся язык не является замкнутой системой взаимообусловленных элементов; представление о языковой системе есть методологическая абстракция. «Неисторичность (синхронность) принадлежит к *сущности описания*, а не к *сущности языка*... Описание, история и теория не находятся в антитезе и не противоречат друг другу; они взаимодополняют друг друга и составляют единую науку»⁶⁰. Отсюда — поставленная, но не решенная проблема перехода от описания структур к их историческому рассмотрению. «Основная проблема современности — это проблема включения структур в процессы»⁶¹.

С самого начала своего развития лингвистический структурализм выявил определенные методологические требования к иным, внеязыковым социальным явлениям. История этого течения связана с влиянием социологии Дюркгейма на лингвистическую теорию Соссюра, а последней — на социологические идеи Мосса, преемника Дюркгейма. Теоретики Копенгагенского лингвистического кружка Л. Ельмслев и Х. Ульдалль писали об отставании гуманитарных наук, которые не решаются перейти от рассмотрения «вещей» к свойственному точным дисциплинам анализу отношений и функций в их абстрактном виде⁶².

Эту установку стремится реализовать в последние годы Клод Леви-Строс, крупный французский этнограф, увлеченный сторонник применения «точной» методологии в социальных дисциплинах. Леви-Строс не склонен категорически отграничивать точные и естественные науки от социальных и гуманитарных, но в то же время полагает, что научен по своему духу только подход точных и естественных наук, на который должны опираться гуманитарные науки⁶³. Гуманитарные дисциплины при этом используют в первую очередь не количественные, а структурные методы естествознания. Примером служит структурная лингвистика, призванная «сыграть по отношению к социальным наукам

⁵⁹ См. «Sens et usages du terme structure...», p. 34.

⁶⁰ Э. Косериу. Синхрония, диахрония и история. — «Новое в лингвистике», вып. III, стр. 154—155.

⁶¹ Там же, стр. 341.

⁶² См. «Основные направления структурализма». М., 1964, стр. 131.

⁶³ См. «International Social Sciences Journal», 1964, vol. XVI, № 4, p. 550.

ту же новаторскую роль, какую, например, ядерная физика сыграла для всех точных наук»⁶⁴.

В своих работах Леви-Строс выделяет два момента, которыми, по его мнению, обусловлено использование точных, структурных методов в социальных науках. Во-первых, это выделение «бессознательной» стороны общественной жизни, которым, по мнению автора, подход этнологии отличается от подхода истории к одному и тому же объекту⁶⁵. «Необходимо и достаточно принимать во внимание бессознательную структуру, составляющую первооснову всякого института или всякого обычая, чтобы получить принцип интерпретации, действительный для других явлений, — конечно, при условии дальнейшего анализа»⁶⁶. Фактически речь идет о том объективном подходе, который Маркс называл естественноисторическим и который предполагает рассмотрение объективно-закономерных процессов. Не случайна поэтому и ссылка Леви-Строса на Маркса⁶⁷. Правда, ограничение сферы истории рассмотрением «бессознательной» стороны общественных процессов, как у Коллингвуда, нельзя признать плодотворным. Сознательные и целенаправленные действия также могут и должны рассматриваться в их закономерности, под углом зрения их места в социальном процессе, их структуры и т. д. Второе существенное условие развития структурных принципов в обществоведении — это необходимость создания теоретических структурных моделей. «Основной принцип заключается в том, что понятие социальной структуры соответствует не какой-либо эмпирической реальности, но лишь сконструированным по ней моделям»⁶⁸. Структуры должны быть «сводимы к моделям, формальные особенности которых были бы сравнимы независимо от элементов, их составляющих»⁶⁹.

Таковы исходные требования структурного исследования по Леви-Стросу. В общественной жизни Леви-Строс различает три сферы, три типа «бессознательных» процессов, к изучению которых применимы методы структурализма: 1) система родства («циркуляция женщин в социальной группе»), 2) экономика («циркуляция благ»), 3) язык («циркуляция сообщений») ⁷⁰. Собственные интересы автора и, по его мнению, этнологии вообще сосредоточены на системах первого типа.

Одним из частных приложений концепции Леви-Строса является анализ им мифологических систем. Им выдвинуто положение о том, что значение мифа «содержится не в изолирован-

⁶⁴ C. Lévi-Strauss. *Anthropologie structurale*, p. 39.

⁶⁵ См. там же, стр. 25.

⁶⁶ Там же, стр. 28.

⁶⁷ Там же, стр. 31.

⁶⁸ Там же, стр. 305.

⁶⁹ Там же, стр. 311.

⁷⁰ См. там же, стр. 68, 98, 326.

ных элементах, но только в способе, каким эти элементы соединяются»; отсюда выводится исследовательская задача — выделить в каждом мифологическом тексте его дифференциальные элементы и сопоставить их структуру⁷¹. Весьма спорные в некоторых отношениях, например в отношении критериев выделения «элементов», эти конструкции требуют отдельного рассмотрения. Отметим лишь, что они развивают тенденции формального анализа мифологического «языка», предложенного ранее феноменологическим религиоведением (М. Элиаде и другие) и отвлекающегося от проблемы социального, «коммуникативного» значения этого языка⁷².

Вполне закономерно, что взгляды Леви-Строса и его сторонников — точнее, предлагаемые ими методы рассмотрения социальных явлений — вызывают многочисленные споры. При их оценке представляется важным учитывать, что концепция Леви-Строса может рассматриваться как один из вариантов трактовки структурализма применительно к социальному исследованию, притом это как раз метод, оставляющий в стороне собственно исторические задачи. Любопытная деталь: рассматривая структуру отношений в наиболее «примитивных» общественных коллективах, исследователь обнаруживает в них не предполагаемую «простоту» и «целесообразность», но многочисленные наложения прошлых эпох⁷³.

В советской научной литературе за последнее время разрабатывался ряд структурных (или близких к ним) методов анализа внелингвистических явлений. Следует упомянуть анализ мифологических по характеру систем А. М. Пятигорским, а также работы В. В. Иванова и В. Н. Топорова и других авторов⁷⁴.

До последнего времени попытки вынести структурализм за рамки формальной лингвистики встречали оживленные, а порой и резкие споры как в зарубежной, так и в советской научной литературе. Некоторые моменты дискуссии мы затронем ниже, а пока ограничимся констатацией одного положения: дилемма «истории» и «структуры» и проблема «включения» структур в «процессы» остаются в силе, пока и поскольку не решена

⁷¹ См. там же, стр. 227. См. также: C. Lévi-Strauss. The Structural Study of Myth. — In: Myth. A Symposium. Ed. by T. A. Sebeok. Bloomington, 1958; он же. Four Winnebago Myths: a Structural Sketch. — In: Culture in History. Essays in Honor of Paul Radin. Ed. by S. Diamond. N. Y., 1960.

⁷² См. также L. Sebag. Le myth: code et message. — «Les temps modernes», Paris, 1965, № 226.

⁷³ См. C. Lévi-Strauss. Anthropologie structurale.

⁷⁴ См.: А. М. Пятигорский. Материалы по истории индийской философии. М., 1962; В. В. Иванов и В. Н. Топоров. Славянские языковые моделирующие семиотические системы. М., 1965; Симпозиум по структурному изучению знаковых систем. Тезисы докладов. М., 1962; Структурно-типологические исследования. М., 1962.

проблема структурного понимания самих исторических процессов.

Но как можно представить себе специфически историческую задачу как задачу структурного исследования?

Особенностью исторического исследования является рассмотрение своего объекта (системного объекта) изменяющимся во времени. При этом рассмотрению подлежит не сам по себе ряд последовательных временных событий объекта, но необратимая обусловленность этих состояний, «механизм» перехода от одного к другому. Необратимость исторического процесса, обуславливающая индивидуальность каждого его состояния, и дает повод для представлений о невозможности подлинно научного познания исторических фактов (как мы уже видели, подобный довод используется К. Поппером). По остроумному замечанию Герцена, история — всегда импровизация. Тем не менее в самом «механизме» исторического процесса — как, скажем, в механизме цепной реакции! — видимо, можно выделить определенные структурные компоненты. Рассмотрим два типа структур, с которыми имеет дело исследование исторического процесса: структур функционирования и структур развития.

О функционировании мы можем говорить применительно к любой системе, последовательность различных состояний которой служит реализацией какой-то единой «программы». Здесь имеет место периодическая повторяемость, цикличность определенных фаз процесса. Очевидные «естественные» примеры дает функционирование биологических организмов, деятельность системы общественного производства и воспроизводства материальных благ, равно как системы воспитания и т. д. Теоретическое изображение подобных процессов приводит к моделям «циклического» (т. е. повторяющего определенные фазы) изменения во времени.

Для развивающихся же структур характерна необратимость временных изменений, в ходе которых происходит как бы кумуляция последствий; здесь каждое последующее состояние возникает как бы на основе «суммирования» предыдущих. Так мы рассматриваем эволюцию различных природных объектов, линии общественного прогресса. Теоретическое изображение процессов развития связано с представлением о квазинаправленных «линиях» (или «пучках линий»), обозначающих траекторию соответствующих объектов.

Очевидно, что различие между функционированием и развитием не является абсолютным. В любом реальном процессе оба типа структур как бы наложены друг на друга: любой организм или, скажем, любая циклически работающая машина находится и в необратимом потоке времени. С другой стороны, многие (хотя и не любые) изменения могут рассматриваться в рамках

различных систем и как циклические, и как необратимые. Так, последовательность стадий в жизни отдельного организма является необратимым процессом, но в системе существования данного органического вида — это момент ее функционирования (и в то же время момент общего необратимого течения органической эволюции).

Вопрос о том, в какой мере тот или иной общественный процесс может быть рассмотрен в рамках какой-либо функционирующей системы, имеет серьезнейшее значение для изучения истории общества (точнее, он приобрел такое значение после крушения донаучных представлений, сводившихся к тому, что либо общество рассматривалось как стационарное, неизменное, либо общественным изменениям приписывалась телеологическая направленность). Марксистская концепция общественно-экономических формаций предполагает, что отдельные общественные изменения должны рассматриваться как в составе наличного функционирующего социального организма, так и в необратимом процессе общественного развития.

Внимание исторических и философско-исторических исследований неизменно привлекает проблема «повторяемости» в общественном развитии. Переход от накопления фактов «сходства» тех или иных черт организации и деятельности удаленных во времени и пространстве общественных систем к их объяснению сопряжен со многими трудностями методологического порядка. Поскольку мы не можем говорить в каком-либо данном конкретном случае о последовательности фазовых состояний в рамках какой-то функционирующей системы, постольку здесь нет подлинной периодичности, нет определенного цикла или циклов. Оказались бесплодными многочисленные, не прекращающиеся до сих пор попытки свести наблюдаемые повторения исторических структур к функционированию какого-то целостного, охватывающего все формы человеческих обществ «социального организма» (или, в иной трактовке, к влиянию внешних циклических процессов, например фаз солнечной активности, повторяющихся каждые 11—12 лет). Это не значит, что «повторения» можно объяснить случайными совпадениями, подобно тому как случайны осмысленные сочетания отдельных беспорядочно высыпанных букв. Здесь действуют определенные — структурные — закономерности (имеющие свои аналогии и в органическом мире — в частности в тех «гомологических рядах» эволюции, которые были описаны Н. И. Вавиловым).

При всей ограниченности возможных типов, устойчивые социальные структуры с теми или иными модификациями появляются на различных уровнях общественного развития и в совершенно не связанных друг с другом культурных районах. Это находит свое выражение в «повторяемости» аналогичных типов государственной организации, художественного или мифологиче-

ского мышления и т. д. — при совершенно различных уровнях экономического и культурного развития. По-видимому, можно говорить и об определенных, измеряемых не общей меркой, но «собственным» временем данной системы, вариантах последовательности таких типов. Смена форм правления в античных общественных образованиях или последовательное чередование различных форм собственности на землю и господствующих религиозных форм и т. д., очевидно, не могут считаться процессами функционирования, поскольку здесь нет единого организма с «заданной» программой его развития. Это квазициклические процессы, где каждая фаза обусловлена предыдущей и наличными условиями, но где последовательность фаз представляет не линию, но периодическую структуру «менделеевского» типа.

Так, например, события, связанные с фашистским нашествием на европейскую цивилизацию, поставили перед наукой ряд проблем, которые все еще требуют решения. Те формы национализма, расизма и социально-культовых отношений, которые несло с собой это нашествие, во многом аналогичны соответствующим явлениям средневековья и варварства, но в то же время не могут быть объяснены как непосредственное продолжение каких-то линий развития, дотянувшихся до наших дней (очевидно, что объяснение международных и классовых обстоятельств, благоприятствовавших появлению на свет определенного явления, не равносильно объяснению самого явления). Можно предположить, что здесь действует некоторая структурная закономерность, охватывающая однотипные в каких-то чертах организации явления различных «этажей» исторического развития — это сравнимо с повторяемостью свойств элементов менделеевской системы. Нетрудно отметить также структурные аналогии между общественными явлениями, относящимися к различным фазам исторического развития (подъему и упадку, конкистадорству и деколонизации и т. д.). Подобно тому как повторяемость свойств химических элементов нашла свое объяснение в сложности их внутренней многоуровневой структуры, периодичность «исторических элементов», возможно, будет объяснена благодаря анализу «многоэтажности» человеческой культуры, этой генетической системы общества.

В историческом процессе развития общества, как и в процессах функционирования отдельных социальных систем, происходит непрерывная смена «субстрата» (т. е. человеческого материала — людей, поколений) при сохранении и развитии его «формы» (способа деятельности). Если в органической природе преимущество структуры обеспечивается благодаря функционированию особых (генетических) систем в организме, то в общественном процессе функции хранителя и передатчика «наследственной» информации выполняют специфические социальные образования. Вся совокупность исторически развивающихся

форм хранения знаний, умений, традиций, обычаев, норм поведения людей может быть охарактеризована как «культурная система», «культура». Различные типы исторического развития связаны с различными «механизмами» хранения и переработки социальной информации, с различиями по способу действия и по информационному объему отдельных компонентов культуры. Структурный анализ «информационной» стороны общественных процессов, видимо, позволит выявить некоторые их особенности, ранее ускользавшие от внимания исследователей.

Довольно распространенные попытки противопоставить структурализм историзму в целом, независимо от того, делаются ли такие попытки с целью возвышения или дезавуирования структурализма, оказываются безуспешными, поскольку сам механизм исторического движения может стать предметом структурного анализа.

Не лишним кажется подчеркнуть, что при всем возможном их развитии структурные методы рассмотрения исторических явлений и процессов никогда не в состоянии будут заменить или вытеснить ни «живое» описание конкретных эпох и действий, ни другие формы их теоретического анализа. Структурализм сам столь же односторонен, узок, неполон, как, в принципе, и любой иной научный метод (общие ссылки на «ограниченность» какого-либо из них поэтому просто лишены смысла; универсальные папажи — достояние мифологического, а не научного мышления). Противопоставление структурных или иных методов анализа отдельных моментов исторической действительности — их описанию в традиционных формах историографии или их статистическому моделированию столь же бессодержательны, как, например, противопоставление химического анализа цветочного запаха наслаждению этим последним или экономике торговли цветами. Можно, правда, указать немало случаев, когда отдельные люди или профессиональные группы увлекаются одним из «аспектов запаха», недооценивая или попросту игнорируя остальные; аналогичные явления (структурная аналогия) мы встретим, конечно, и в отношении к историческому сознанию. Но увлечения наукой, даже если они социально обусловлены и неизбежны, — не входят в состав науки. . .

Нет поэтому (и не только поэтому: эмпирический опыт свидетельствует о тех же закономерностях) оснований ожидать превращения всей совокупности форм исторического сознания в формы движения строгого и абстрактного научного мышления. Но есть все основания добиваться:

во-первых, как можно более строгого анализа самого пути движения исторического знания;

во-вторых, повышения удельного веса научных продуктов среди отходящих на второй план мифологических и тому подобных форм исторического сознания.

КАТЕГОРИЯ ВРЕМЕНИ В БУРЖУАЗНОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ XX ВЕКА

П. П. Гайденко

Интерес к философско-исторической проблематике в XX в. сильно возрос по сравнению с веком XIX, не говоря уже о более раннем периоде в развитии европейской мысли. В XVII и XVIII вв. история большей частью рассматривалась как антипод образцовой науки — математики. Математическое знание представлялось идеалом научного знания вообще, поскольку элемент случайности в нем был сведен почти к нулю; поэтому положения математики как «истины разума» противопоставлялись положениям других наук как «истинам факта». Отсюда и убеждение, отлившееся в афористическую форму: в нашем знании ровно столько науки, сколько в нем математики.

При таком положении дела история, как антипод математики, оказывалась, естественно, на периферии научного знания — преобладающее значение в ней случайного, индивидуального, отожествлявшегося с эмпирическим для многих мыслителей этого периода, ставило ее по существу вне рамок науки. Она выступала преимущественно в своей «прагматической» функции — к ней обращались главным образом с назидательными целями. Плутарх, Тацит, Цицерон, которых любили цитировать в XVII в., были прежде всего учителями, у которых можно почерпнуть жизненную мудрость.

Иная ситуация складывается начиная с конца XVIII и главным образом в XIX в. Пересматривая гносеологические и логические принципы предшествующей эпохи Просвещения, этот рефлектирующий век лишает математику ее значения науки *par excellence* и в своих стремлениях к созданию новой логики обращается к истории. Внимание и интерес к истории, вырастающий из оппозиции к просветительской рассудочности, возникает

прежде всего у романтиков (Иенская школа), а затем находит свое теоретически осмысленное выражение у Гегеля, обязанного романтикам гораздо больше, чем это можно предположить, прежде всего своим «историзмом». XX век в лице наиболее серьезных и основательных своих представителей ищет логику в истории, сферы логического и исторического уже не выступают как антиподы, — напротив, задача состоит в обнаружении их связи и соотношения. При этом переосмысливаются как логика, так и история. Однако преемственность XIX в. по отношению к двум предшествующим сказывается в том, что интересы логики по-прежнему оказываются преобладающими, а интересы истории, в большей или меньшей степени, приносятся им в жертву. Это особенно наглядно выступает опять-таки у Гегеля; один из самых «исторических» мыслителей XIX в. все-таки превратил историю в «прикладную логику»: желая «историзировать логику», он фактически «логизировал историю».

Реакция на отождествление логического и исторического не замедлила сказаться еще в XIX в.; от имени историков против него выступили Леопольд фон Ранке и «историческая школа»; от имени логики и философии — неокантианцы Баденской школы.

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ НА РУБЕЖЕ XIX—XX ВЕКОВ.

«ЭРА МЕТОДОЛОГИЗМА» И ЕЕ КРИЗИС

Представители неокантианства, будучи последователями «критицизма» и, стало быть, противниками всякой «метафизики», исследовали не проблемы бытия, а проблемы познания. Вопрос о специфике исторической реальности для них выступал поэтому в форме вопроса о специфике исторического знания, о методологии исторического исследования в отличие от исследования естественнонаучного.

Для начала XX в. характерно, что не только в неокантианстве, но и в других направлениях проблемы истории начинают рассматриваться как проблемы в первую очередь методологические. Так, известный немецкий социолог и культур-философ Макс Вебер (1864—1920), придерживавшийся позитивистско-кантианской ориентации, тоже занимался главным образом гносеологическими проблемами истории. Он пытался путем разработки так называемой идеальной типологии сконструировать специальный аппарат исторических понятий и с его помощью уложить многообразие социально-исторической действительности в определенную схему. Вебер разделял основное положение кантианства (общее в данном случае с позитивистским), что понятие есть определенная умственная конструкция. Но если естествоиспытатели, отмечал он, широко пользуются такими конструкциями, то принципы исторического конструирования еще не исследованы, и это мешает осуществлению задач исторической науки.

Исследованием методологии исторических наук, или, как он их называл, наук о духе, занимался также немецкий философ В. Дильтей, не зависевший в такой степени, как М. Вебер, от кантианства. Его мировоззрение представляло собой своеобразный сплав «философии жизни» с гегелевской традицией — вернее, интерпретированное через призму «философии жизни» гегельянство. Дильтей стремился создать метод исторического познания, принципиально отличный от метода естественнонаучного исследования, т. е. опять-таки занимался методологическими вопросами.

Хотя предпосылки философии истории баденцев, М. Вебера и В. Дильтея, были различны (Дильтей даже неоднократно выступал с критикой кантианской философии истории, а Риккерт критиковал принципы «философии жизни»), общим у них являлось основное требование: создать специальный метод исторической науки, построить особую теорию исторического знания. За пределами Германии ряд философско-исторических исследований также осуществлялся под знаком «гносеологизма»: достаточно упомянуть ранние работы Б. Кроче в Италии, некоторые работы Р. Коллингвуда в Англии, Н. И. Кареева в России.

Общее увлечение методологизмом было своеобразным протестом против того понимания истории, которое в XIX в. было связано со спекулятивной ее трактовкой. Умозрительная схема исторического процесса, сконструированная Гегелем, подчиняла историческую реальность логике развития абсолютного духа. Проблематика исторического познания (его специфика, его отличие от познания естественнонаучного) как самостоятельный объект исследования вообще не стояла перед Гегелем, ибо, согласно его философской предпосылке, структура знания целиком определяется структурой познаваемого предмета: для Гегеля подлинно спекулятивное, т. е., в его понимании, философское, мышление начинается там, где кончается гносеология, противопоставляющая субъект объекту и исходящая из этого противопоставления, иными словами, там, где субъект и объект совпадают. Результатом спекулятивного рассмотрения истории оказалось обнаружение логики в качестве субстанции исторического процесса.

Критика гегелевской философии истории со стороны исторической школы, и особенно со стороны неокантианства и позитивизма, имела еще один, пожалуй, не менее важный аспект: она была направлена против тезиса Гегеля, что историк всегда должен рассматривать события с точки зрения всеобщего — государства, народа, наконец, с точки зрения исторического процесса в целом, — но не с точки зрения отдельного индивида.

В 90-х годах в связи с тем, что в капиталистических странах развертывался процесс формирования монополий и сращивания монополистического капитала с государственным аппаратом, эти

мотивы гегелевской философии приобрели определенное социальное звучание и не могли не вызывать сопротивления со стороны либерально настроенных мыслителей. Поглощение индивида всеобщим, выставленное у Гегеля в качестве идеала, начинает реализоваться в конце XIX в., причем всеобщее оказывается на деле государственно-бюрократическим аппаратом, функции которого, ранее бывшие главным образом политическими, все более распространяются и на сферу экономики, так что и в этой сфере индивид оказывается «включенным во всеобщее». В этой ситуации гегелевская философия имела все основания превратиться (что в конечном счете и произошло) в идеологию государственно-монополистического капитализма.

Вот как, например, рассматривал Гегель соотношение индивида и всеобщего в мировом историческом процессе: «Мировой дух не обращает внимания даже на то, что он употребляет многочисленные человеческие поколения для этой работы своего осознания себя, что он делает чудовищные затраты возникающих и гибнущих человеческих сил; он достаточно богат для такой затраты, он ведет свое дело *en grand*, у него достаточно народов и индивидуумов для этой траты»¹. Здесь, как видим, устами Гегеля говорит государственный муж, которому чужды грустные размышления по поводу «издержек мирового прогресса», ибо они возникают лишь тогда, когда размышляющий встает на точку зрения «единичного». Согласно Гегелю, мировой дух употребляет любые средства для достижения высокой цели — «своего осознания себя». Но коль скоро позволены любые средства, то у того, кто их использует, появляется возможность сослаться на оправдывающую их цель. Не случайно именно гегелевская философско-историческая концепция становится почти государственной идеологией итальянского фашизма в руках неогегельянца Д. Джен-тиле, бывшего министром просвещения в кабинете Муссолини. Именно поэтому у ряда мыслителей приобрел дополнительное звучание лозунг «назад к Канту». У Канта, как известно, человек никогда не должен превращаться в средство, а всегда должен выступать как цель.

После первой мировой войны и Октябрьской революции произошло изменение в структуре буржуазного сознания. В философии истории это изменение нашло свое выражение в реакции против гносеологизма и методологизма, в стремлении возвратиться к рассмотрению предмета вместо рассмотрения знания о нем. Вопрос о том, что такое историческое знание, какими должны быть методы исторической науки, стал все более вытесняться проблемой: что такое историческое бытие? Философия истории уже не удовлетворялась разрешением проблем исторического знания, она хотела разрешить проблему исторического

¹ Гегель. Сочинения, т. IX. М., 1932, стр. 39—40.

действия, а потому вопрос «как понять» вытеснился вопросом «как быть».

Кризис либерализма, назревавший уже давно, поставил перед философско-исторической мыслью задачу выработки нового мировоззрения, поскольку именно мировоззрение должно определить, как поступать индивиду в той или иной исторической ситуации. На смену позитивистам и неокантианцам, у которых проблема мировоззрения оказывается вынесенной за пределы научного рассмотрения, в философию истории проникают иные веяния, под влиянием которых она начинает все более ориентироваться на «философию жизни». Именно на базе «философии жизни» в XX в. создаются наиболее крупные философско-исторические концепции, рассматривающие уже не природу исторического знания, а природу исторического процесса. Достаточно назвать имена немецкого философа Освальда Шпенглера, английского историка Арнольда Тойнби, немецкого историка и социолога Альфреда Вебера, нидерландского историка Йохана Хейзинги², чтобы представить себе изменение в постановке вопроса. С «философией жизни» связано также направление, возникшее в 20-х гг., главным образом, в философии истории и получившее название неогегельянства. Оно представляет собой попытку интерпретировать философию истории Гегеля с позиций «философии жизни». Начало этому направлению положила работа В. Дильтея о молодом Гегеле, где автор отождествлял гегелевское понятие «духа» с основным понятием своей философии истории — с понятием «жизни».

Тот факт, что попытки вернуться к рассмотрению самого исторического бытия заставляют буржуазных мыслителей вновь обращаться к Гегелю, не удивителен, если учесть, что Гегель считал задачей философии истории рассмотрение самого исторического процесса. С другой стороны, возвращение к Гегелю связано с переосмыслением социальной платформы прежнего либерализма и новой переоценкой ценностей, при которой, как это ни парадоксально, либерализм вынужден был отказаться от кантиански-позитивистской теоретической базы. Выступая с позиций «философии жизни», новые интерпретаторы Гегеля пытаются освободить его философию истории от панлогизма, от чисто логического конструирования схемы исторического процесса. Гегелевская философия истории рассматривала исторический процесс с точки зрения всеобщего; представители «философии жизни» в данном случае разделились: если Шпенглер, Джентиле и в значительной степени Кроче приняли точку зрения «всеобщего» — государства, нации, эпохи, — то Тойнби, А. Вебер, Хейзинга стремились встать на позиции индивида, личности, или же, не

² Последний, как и некоторые другие представители «философии жизни», заимствовал ряд положений у неогегельянцев.

всегда достаточно последовательно, как-то совместить эти две точки зрения. В зависимости от этого они или приближались к позициям буржуазного либерализма, или превращались в апологетов бюрократических государственных образований, типичных для эпохи монополистического капитализма.

Поворот от вопросов методологии исторического знания к исследованию структуры самой исторической реальности сразу же поставил в качестве центральной задачи выяснение того, что же представляет собой эта реальность, каковы ее главные характеристики, другими словами, что такое историческое бытие, или историчность (*Geschichtlichkeit*), как предпочитали говорить немецкие теоретики.

В своем стремлении выявить природу исторической реальности, не отождествляя ее ни с непосредственной эмпирией исторического процесса, ни с «законами разума», из которых пыталась вывести «эмпирию исторического факта» буржуазная мысль XIX в., мыслители XX в. пытаются опереться, как уже отмечалось, на «философию жизни». Последняя одинаково оппозиционна как к методологизму кантианцев и позитивистов, так и к спекулятивной метафизике прошлого века. В отличие от первого, «философия жизни» с самого начала заявляет, что она исследует не структуру знания, а структуру бытия; в отличие от последней она не хочет отождествлять структуру бытия с логической структурой.

ВРЕМЯ КАК УЗЛОВАЯ ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ

Тем центральным пунктом, в котором совпадают интерес и направление исследований «философии жизни» и философии истории в целом, является проблема времени. Вопрос о природе и «ритме» времени становится в «философии жизни» тем моментом, из которого она исходит при рассмотрении структуры бытия, поскольку за таковое не принимается ни эмпирически данный «вещественный» мир, ни логика, «разум» как основа последнего.

Действительно, и в первом, и во втором случаях вне поля зрения остается именно время, т. е. та категория, которой вполне закономерно так мало уделялось внимания в философии XVII—XIX вв. (за исключением разве что Канта). В первом случае, когда мир «существования» выступает как «случайное бывание преходящих вещей», время рассматривается как внешний по отношению к происходящему изменению способ фиксирования этого изменения (время как мера движения). При таком подходе время *еще* не имеет отношения к содержанию того, что происходит. Во втором случае, когда ищут логику самого этого движения и изменения, время *уже* не имеет отношения к содержа-

нию; логические законы — вневременны. В результате вопрос о временной структуре как содержательной вообще не был поставлен в буржуазной философии вплоть до XX в.

Разработка именно этого вопроса позволила «философии жизни» вскрыть реальность, рассмотрение и описание которой дало возможность этому направлению более чем полстолетия оказывать серьезное влияние на развитие европейской мысли. Не говоря уже о том, что оно стало теоретической базой наиболее влиятельных буржуазных концепций философии истории (О. Шпенглер, А. Тойнби, А. Вебер, П. Сорокин, Й. Хейзинга и другие), оно оказало влияние также на религиозную — католическую и протестантскую — мысль XX в. и, наконец, положило начало возникновению нового направления — экзистенциализма. Философско-исторические концепции XX в. для своего понимания требуют поэтому рассмотрения трактовок времени, созданных в рамках «философии жизни».

Категория времени в «философии жизни» приобрела важное значение потому, что определение реальности как жизни, «жизненного порыва», «живого духа» с самого начала указывало на время как на «форму осуществления», «протекания» жизни. Сделав понятие «жизни» исходным в философии, представители этого направления должны были в первую очередь выяснить характер отношения «жизни» и «времени».

В зависимости от того, как определялось это отношение, можно различить несколько тенденций внутри этого направления. Не претендуя на исчерпывающую «классификацию», выделим основные из них и условно обозначим их как биологическую, психологическую и историческую³. Эти обозначения носят условный характер, поскольку философские построения представителей этого течения не имеют строго систематического характера; напротив, кроме Бергсона, который пытался систематически развить предпосылки «философии жизни», остальные представители этого направления — Ницше, Дильтей, Шпенглер — никогда не пытались свести в систему те принципы, из которых они исходили. Ницше был принципиальным противником «систематического» мышления и излагал свои идеи в форме афористически-эссеистской; Дильтей, в отличие от Ницше писавший в академическом стиле, не стремился построить систему, так как, по его мнению, создание системы характеризует «метафизический» период в развитии человеческого духа, а научное мышление, представителем которого считал себя Дильтей, принципиально не может быть законченной системой. Что же

³ Шпенглеровская трактовка времени несколько выпадает из этой «классификации», ибо Шпенглер сочетает ряд моментов как «исторического», так и «биологического» понимания жизни, соединяя то и другое во введенном им понятии «мифа». Его трактовку времени можно было бы обозначить как «мифологическую».

касается Шпенглера, то он хотя и претендовал на решение основных проблем философии истории, тем не менее не ставил перед собой задачи выяснить «онтологические» и «гносеологические» предпосылки «исторического мировосприятия», которое пытался утвердить. Именно поэтому его философия истории оказалась лишенной теоретического фундамента.

Отсутствием продуманной системы объясняется то, что термины, которыми обозначают основные понятия представители «философии жизни», — в том числе и такое центральное понятие, как «жизнь», — далеко не однозначны, диапазон их значений весьма широк. «Жизнь» трактуется и биологически («живой организм»); и психологически («поток переживаний»); и культурно-исторически («живой дух»); и метафизически («жизненный порыв»). У каждого представителя этой школы понятие жизни, как правило, употребляется почти во всех этих значениях, поэтому, естественно, дать строгое, «безоговорочное» определение каждого варианта «философии жизни» чрезвычайно трудно. Однако поскольку у представителей этого направления оказывается все-таки преобладающей или психологическая, или биологическая, или культурно-историческая трактовка жизни, то можно в соответствии с этим дать характеристику разных вариантов этого направления.

Так, в частности, биологический вариант «философии жизни», пожалуй, наиболее отчетливо выступает у Ницше. В соответствии с этим связь «жизни» и «времени» у Ницше совершенно внешняя: сущность жизни всегда одинакова, а поскольку жизнь — это подлинная основа бытия, то бытие есть нечто всегда себе равное, «неизменно-возвращающееся», бытие есть «вечное возвращение». Отсюда — неисторизм философии Ницше, его убеждение в том, что «прошлое и настоящее» — это одно и то же, именно нечто, при всем видимом различии типически одинаковое и, как постоянное повторение непреходящих типов, представляющее собой неподвижный образ неизменной ценности и вечно одинакового значения⁴. Для Ницше протекание жизни во времени есть лишь внешняя ее форма, не имеющая отношения к сущности жизни. Такое понимание связи между «формой», «проявлением» и «сущностью» восходит к Шопенгауэру, методологию которого воспринял молодой Ницше еще в эпоху своего философского формирования. Эта методология, несмотря на все изменения в мировоззрении Ницше, всегда оставалась предпосылкой его мышления. Действительно, если Шопенгауэр и воспринял что-то у Канта, так это прежде всего противопоставление «того, что есть» «тому, что является». Ницше вслед за Шопенгауэром считает «временной характер» жизни лишь внешней формой проявления ее вечно неизменной сущности.

⁴ Ф. Ницше. О пользе и вреде истории для жизни. — Полное собрание сочинений, т. II. М., 1909, стр. 99.

Более глубокую связь между «жизнью» и «временем», или, как он предпочитает его называть, «длительностью», устанавливает Бергсон, чью трактовку времени можно было бы назвать «психологической», хотя это не исключает ни значительного элемента биологизма, ни стремления трактовать «длительность» не просто как «эмпирико-психологическую» реальность (т. е. форму протекания психической жизни отдельного индивида), но как реальность метафизическую.

Согласно Бергсону, время — это не внешняя характеристика жизни, не безразличная к ее содержанию «форма протекания», а наиболее существенное определение самого ее содержания. Жизнь, движение, творческое развитие, согласно Бергсону, потому и непостижимы с помощью интеллекта, что интеллект не в состоянии «ухватить» непрерывность времени, целостность единой временной структуры, и лишь интуиция, которая сама родственна этой структуре, которая представляет собой «видение жизни самой жизнью», как бы самосозерцание жизни, может адекватно воспринять эту вечно становящуюся, текучую, неделимую стихию. «Поищем, — пишет Бергсон, — в самой глубине нас самих такой пункт, где мы чувствуем себя всего более внутри нашей собственной жизни. Мы погрузимся тогда в чистую длительность, в длительность, в которой безостановочно идущее прошлое непрерывно увеличивается абсолютно новым настоящим»⁵.

Сущность времени, как непрерывной длительности, нельзя, по мысли Бергсона, воспринять извне: ее можно «испытать» только изнутри; рассмотренное внешним образом, время тотчас же как бы принимает пространственный образ, вытягивается в линию, которую можно разделить на точки — «мгновения», поскольку пространственное всегда делимо. «Мгновению» пространственно изображенного времени, говорит Бергсон, будет соответствовать точка на линии. Представление о «делимости» времени, о «мгновении» как мельчайшей «частице» времени ведет свое происхождение из рассмотрения пространственного образа времени, представляющегося в виде бесконечно уходящей в обоих направлениях прямой линии. Действительное время, как внутреннее переживание длительности, не может быть делимо и потому не имеет «моментов». «Реальное время, — пишет Бергсон, — не имеет мгновений. Но мы весьма просто образуем представление мгновения... как только мы усвоим привычку превращать время в пространство. В самом деле, длительность не имеет мгновений, но линия ограничивается точками. С момента, когда мы представляем соответствующую длительности линию, частям линии

⁵ А. Бергсон. Творческая эволюция. М.—СПб., 1914, стр. 179.

должны соответствовать «части длительности» и точке на линии — «точка длительности»: ею окажется мгновение — нечто существующее не в действительности, но только в возможности. Мгновение есть точка, служащая предметом длительности, если бы последняя остановилась. Но длительность не останавливается»⁶.

Бергсон, таким образом, противопоставляет время реальное — длительность — времени условному, которое конструируется наукой и обыденным мышлением в чисто практических целях, в целях измерения. Поскольку реальное время нельзя измерить — ведь оно неделимо и непрерывно, а для человеческой практической деятельности необходимо измерение временных процессов, — возникает потребность «перевести» реальный процесс на «условный» язык. Эта концепция Бергсона непосредственно связана с его трактовкой мышления как «средства для практического действия» и не является здесь для нас целью специального анализа. В данной связи нам важно отметить следующее: Бергсон считает критерием реальности — по крайней мере при рассмотрении проблемы длительности — непосредственную данность рассматриваемого феномена сознанию, его «переживаемость» сознанием. «В данный момент, — говорит Бергсон, рассматривая некоторые аспекты теории относительности и пытаясь истолковать их в духе своей концепции времени, — мы ограничиваемся проведением демаркационной линии между гипотезой, метафизической конструкцией, и чистыми и простыми данными опыта, потому что мы хотим держаться опыта. Реальная длительность нами *испытывается*; мы *констатируем* развертывание времени...»⁷ Для Бергсона в качестве критерия различения «реального» от «рассудочной конструкции» выступает внутренний опыт; когда речь идет о времени, то таким критерием соответственно оказывается «наше чувство реальной длительности»⁸.

Настаивание на «непосредственной данности» как на единственно реальном источнике всякого знания свойственно всем представителям «философии жизни».

Для Бергсона, однако, характерно то, что в качестве непосредственной реальности он берет реальность психическую. Самым глубоким «слоем» психической реальности Бергсон считает длительность; а поскольку длительность — наиболее адекватное выражение жизни, то и последнюю он трактует психологически. «Жизнь в действительности относится к порядку психологическому, а сущность психического — охватывать смутную множественность взаимно проникающих друг друга членов... Но то, что

⁶ А. Бергсон. Длительность и одновременность. (По поводу теории Эйнштейна). [Пг.], 1923, стр. 47.

⁷ Там же, стр. 55. (Разрядка наша. — Л. Г.)

⁸ Там же, стр. 57.

принадлежит к психологической природе, не может точно приложиться к пространству, ни войти вполне в рамки разума»⁹.

Из психологического понимания жизни у Бергсона естественно следует и понимание времени не как простой последовательности моментов, подобной последовательности точек на пространственной линии, а как взаимопроникаемость всех членов длительности, если мы условно назовем «части» ее «членами». Но такая взаимная «внутренняя связь», радикально отличающаяся от чисто внешней связи рядоположного, требует при определении времени ввести тот «средний член», который как бы осуществлял такую взаимопроникаемость моментов времени, чтобы они не распались на отдельные ничем не связанные моменты «теперь». Таким «посредником» у Бергсона является память¹⁰.

В самом деле, естественнонаучное мышление¹¹ рассматривает время как протекание последовательных качественно неразличимых моментов, которые служат мерой движения тел в пространстве. Поэтому оно не нуждается в таком «средстве», с помощью которого эти моменты объединялись бы в «целостную структуру», ибо для него время само по себе не есть «целое», каждый из моментов которого проникает собой остальные. Для него время — это рядоположность моментов «теперь», и эту рядоположность оно в состоянии фиксировать с помощью пространственных изменений (будь то изменение места или изменение состояния тела). Эти пространственные изменения — всевозможные виды часов — в состоянии точно фиксировать, сколько протекло «моментов» времени.

Память, в отличие от «пространственных фиксаторов», не «отмеряет» отрезки времени; ее функция — осуществить «взаимопроникновение» моментов и тем самым превратить время в «целостную структуру». «Невозможно, — утверждает Бергсон, — пред-

⁹ А. Бергсон. Творческая эволюция, стр. 230.

¹⁰ Разумеется, сказанное здесь нельзя понимать буквально, в том смысле, будто, согласно Бергсону, память связывает моменты, которые вначале выступают как «не связанные», рядоположные. Поток времени как реальной длительности с самого начала есть единая целостность; но при теоретическом его рассмотрении обнаруживается, что тем стержнем, благодаря которому время выступает как непрерывная целостность, является память.

¹¹ Естественнонаучным мы будем называть здесь и далее мышление, которое — независимо от той или иной его философской интерпретации — рассматривает свой предмет только как объект для субъекта и тем самым сохраняет по отношению к нему необходимую дистанцию, не допускающую «вживания», «вчувствования» и т. д. Именно эта его специфика позволяет естественнонаучному исследованию опираться на точный эксперимент и математический расчет. Естественнонаучное мышление есть явление историческое и окончательно складывается ко времени Галилея, хотя элементы его в более или менее развитой форме существовали и в предшествующие эпохи.

ставлять или мыслить соединение между «перед» и «после», не вводя при этом памяти... Если нет — пусть самой элементарной — памяти, связывающей друг с другом два мгновения, то перед нами будет либо одно, либо другое из них, т. е. один единственный момент...». Мы можем приписывать этой памяти только свойство связывать; она будет, если угодно, самой связью, простым продолжением «перед» в непосредственно за ним следующее «после»¹².

Тот факт, что Бергсон обращается к памяти как предпосылке реального времени, обусловлен исходными психологистскими принципами его учения. С точки зрения рассматриваемой здесь проблемы времени психологизм Бергсона характеризуется следующими моментами.

Во-первых, что мы уже отмечали выше, жизнь рассматривается как имеющая психологическую природу; ее сущность, стало быть, усматривается путем самоуглубления в поток переживаний, который, будучи очищен от эмпирического содержания, выступает как чистая длительность, т. е. взаимопрониновение моментов времени. Этим объясняется требование Бергсона освободиться от рассудочного, дискурсивного познания, связывающего между собой внешние свойства и отношения, и в качестве философского метода познания принять непосредственное усмотрение внутреннего, т. е. интуицию.

Однако нельзя не заметить возникающего здесь парадокса: Бергсон, столь категорически настаивающий на том, что подлинное знание всегда есть знание непосредственное, тем не менее строит метафизическое учение о сущности и структуре бытия, которое никак не может претендовать на то, что оно исходит из непосредственного опыта. Единственный метод, который Бергсон применяет в этом своем построении, — это метод аналогии. Следует отметить, что все представители «философии жизни» (некоторое исключение представляет собой разве что Дильтей), — пытаясь, с одной стороны, исходить только из непосредственного опыта, а с другой, стремясь построить метафизику, т. е. учение о структуре мира, как он существует сам по себе, — неизбежно должны были избрать аналогию в качестве метода построения такой метафизики. В самом деле, поскольку рациональное конструирование ими категорически запрещалось, а опыт сознания неизбежно ограничен, оставалось прибегать к аналогии. И Бергсон, и Шпенглер, и Тойнби — все пользуются этим методом. Понимание этого обстоятельства, сопровождаемое недоверием к аналогии, вызвало в немецкой философии, отправляющейся от «внутреннего опыта сознания» (Гуссерль, Шелер, Хайдеггер), стремление, с одной стороны, применить «трансцендентальный метод», который, еще по замыслу его творца Канта, дает возможность исследовать

¹² А. Бергсон. Длительность и одновременность, стр. 42, 43.

«внутренний опыт сознания» не как психологический опыт, а, с другой — разработать герменевтику как способ проникновения во «внутренний опыт», понятый не психологически, а культурно-исторически.

Вторым моментом, характерным для «психологической метафизики» Бергсона и важным для нас в связи с проблемой времени, является то, что «длительность» течет как бы «через субъект», совершенно независимо от него самого, от его деятельности и от его «личностной структуры». Течение внутреннего времени — это объективный процесс, не менее объективный, чем процессы, протекающие вне человека. Индивид может только благодаря сосредоточению внимания на своем «внутреннем Я» более или менее ясно увидеть, «пережить» это «течение», само же оно будет иметь место независимо от его акта внимания. Поэтому для характеристики времени и его фиксации Бергсон употребляет такие выражения, как «испытывание» («реальная длительность нами испытывается»), «воспринимание», «чувствование» и т. д. И это совершенно понятно, если мы учтем то обстоятельство, что для Бергсона всякое действие индивида (поскольку оно имеет практическую направленность, ибо практика и истина, по Бергсону, не имеют между собой точек соприкосновения) вводит его в мир пространственно-вещественный, представляющий собой не истинную реальность, а искусственную конструкцию. Реальность, живая длительность, напротив, постигается только в созерцании, в самоуглублении, и потому исключает практическую установку.

Жизненный порыв, т. е. та метафизическая реальность, на которую Бергсон, пользуясь заключением по аналогии, проецирует «непосредственный опыт психологических переживаний», — в такой же мере прокладывает свой путь через любой живой организм, как и через человека. Жизненное творчество, правда, в различных формах, осуществляется объективно. Согласно концепции Бергсона, человек творит подобно тому, как трава растет; в обоих случаях творит одно общее — природное — начало, не имеющее в этих двух сферах принципиального различия, а только различие в уровнях: человеческое творчество проходит через сознание, поэтому у человека возникает иллюзия, что творит он сам, а в растительном мире то же творчество осуществляется бессознательно. Понимание творчества как объективно совершающегося процесса сближает Бергсона с Шеллингом, для которого также творчество не есть привилегия человека, как это было у Фихте, а есть принцип всей природы, творящей в низших областях бессознательно, а в человеке обретающей сознание.

С этой трактовкой творчества связана у Бергсона определенная интерпретация времени, а именно: Бергсон знает только два измерения времени — настоящее и прошлое. Будущее, о котором он так часто говорит и которое, казалось бы, должно занимать важное место в системе, уделяющей столь боль-

пное внимание проблеме творчества, оказывается реально не включенным в бергсоновскую «временную целостность». Как это ни парадоксально, но будущее для Бергсона, как и для критикуемого им естествоиспытателя, выступает как еще не заполненная пустота, как то, чего нет и что он не может категорически связать с уже существующим. Здесь интересно напомнить определение длительности, данное самим Бергсоном: «... Длительность, по существу своему, есть продолжение того, чего нет более, в том, что есть»¹³. Как видим, в определение подлинной реальности входит только два момента времени: прошлое как то, чего нет более, и настоящее как то, что есть. Включить сюда будущее — не просто словесно, а через понятие — Бергсон не может¹⁴. Именно поэтому для анализа времени Бергсон избирает категорию памяти, которая связывает воедино прошлое и настоящее, представляя их как «единую целостность». В памяти, действительно, налицо то, чего «уже нет», но в ней не содержится то, чего «еще нет».

Почему же будущее оказывается для Бергсона камнем преткновения в его осмыслении времени? — По той же причине, по которой человек оказывается занесенным в одну общую категорию со всем органическим миром. Действительно, не рассматривая деятельности человека, Бергсон не может усмотреть «реальности» этого третьего измерения времени, ибо последнее может быть введено только через категорию цели, а ее Бергсон оценивает как чисто прагматическую.

Бергсоновская трактовка времени весьма противоречива. Он подчеркивает, что как реальная длительность время дано нам непосредственно только в переживании, т. е. как феномен человеческого сознания; если последовательно стоять на этой точке зрения, то следовало бы говорить о времени только как данном в сознании, тем более что память, которая связывает воедино прошлое и настоящее, есть, по Бергсону, реальность психологическая, а потому немыслима вне сознания. Однако у Бергсона неоднократно можно встретить высказывания о том, что «сознание помещается во времени». Следовательно, рассуждение ведется уже не в плане «непосредственного опыта», а в метафизическом аспекте, и теперь уже каждое единичное сознание может быть погружено в единый универсальный «поток длительности». Что же заменяет в этом потоке ту самую функцию памяти, которая в психологическом анализе связывала воедино временной поток, т. е., по существу, конституировала длительность?

¹³ А. Бергсон. Длительность и одновременность, стр. 43.

¹⁴ Этот момент бергсоновского учения отмечает Эрнст Кассирер: «В качестве подлинного времени он (Бергсон. — П. Г.) признает только прошлое, в то время как сознание будущего для него выпадает из рамок чистого созерцания времени» (E. Cassirer. Philosophie der Symbolischen Formen, Bd. III. Berlin, 1929, S. 216).

Эти вопросы у Бергсона остаются без ответа. Видимо, единственным способом преодолеть целый ряд неясностей, недомолвок и противоречий было бы уяснение характера того самого «непосредственного опыта», который, с точки зрения Бергсона, только и в состоянии дать нам истинное представление как о природе жизни, так и о природе времени. Что это за опыт и какова природа сознания, которое имеет непосредственный опыт относительно самого себя? Является ли оно сознанием отдельного эмпирического индивида, или это «общеродовое» сознание, которое Кант обозначил термином «трансцендентальный субъект», или это, наконец, сознание божественное (а «творческий порыв», поскольку он является универсальным источником всего существующего, представляет собой, по замыслу Бергсона, именно последнее)? У Бергсона рассуждение ведется без четкого выяснения этого вопроса; по мере необходимости, в зависимости от характера рассматриваемой проблемы, он исходит то из эмпирического внутреннего опыта отдельного индивида, то прибегает к «родовому» сознанию человечества, то, наконец, используя принцип аналогии, проецирует оба вышеназванных «опыта» на «универсальную жизнь».

Такие же принципиальные неясности имеют место и у А. Тойнби, чья философия истории в очень большой степени создана под влиянием А. Бергсона. Время у него тоже выступает то как психологическая, то как культурно-историческая или даже метафизическая реальность.

ВРЕМЯ И ИСТОРИЯ. В. ДИЛЬТЕЙ

В. Дильтея можно считать основателем третьего варианта «философии жизни». В этом варианте предпринимается попытка трактовать жизнь как реальность не просто природную и не только психическую, но прежде всего культурно-историческую (хотя в философии Дильтея можно увидеть элементы и органическо-биологической трактовки жизни и ее психологического истолкования; сам Дильтей, кстати, ничего не имел против того «психологизма», который так настойчиво критиковали Гуссерль и некоторые экзистенциалисты).

Дильтей пытается дать иную интерпретацию связи «жизни» и «времени», чем Ницше или Бергсон. Надо сказать, что культур-философы XX в. проявляли большой интерес к философским изысканиям Дильтея: без преувеличения можно сказать, что нет почти ни одного значительного философа в буржуазной Европе, исследующего культурно-историческую проблематику, который не обращался бы к его работам.

Вот как формулирует Дильтей свой исходный принцип: «Руководящий импульс моего философского мышления — понять

жизнь из нее самой»¹⁵. Ясность этой формулировки лишь кажущаяся: это определение крайне многозначно, и его можно истолковать самым различным способом в зависимости от того, какой смысл вкладывать в слово «жизнь». Единственное, что здесь Дильтей недвусмысленно подчеркивает, это требование брать предмет рассмотрения — «жизнь» — непосредственно, не прибегая к метафизическим конструкциям, подобным той, что мы видели у Бергсона. Этот принцип — понять жизнь из нее самой — Дильтей противопоставляет принципам естественнонаучного мышления, которое, как он замечает, хотя и обращается к опыту, но только для того, чтобы взять из него материал, осмысление коего представляет собою процесс, ничего общего с опытом не имеющий.

Согласно Дильтею, разделявшему кантианское представление о принципах и методах естествознания, науки о природе имеют своей задачей «конструирование» той связи различных данных опыта, которая в самом опыте не дана и «вносится» в него сознанием естествоиспытателя. Поскольку, рассуждает Дильтей, естествознание апеллирует к так называемому внешнему опыту и поскольку во внешнем опыте нам дано только «многообразие фактического материала», то «синтезирование» этого материала есть дело человеческого рассудка, и первый акт такого синтеза — высказывание гипотезы. Если гипотеза подтверждается в экспериментах, она превращается в теорию. Такой метод познания, при котором знание связи между фактами есть знание опосредованное, Дильтей называет методом «объяснения». В отличие от последнего, жизнь, по Дильтею, постигается как непосредственно данная целостность, поскольку она, будучи данной во внутреннем опыте, выступает, во-первых, как нечто непосредственное и, во-вторых, как нечто целостное.

Определение жизни как «реальности внутреннего опыта» сближает Дильтея с Бергсоном и привносит в воззрения Дильтея элемент психологизма. Действительно, коль скоро источником нашего знания «жизненной реальности» оказывается внутренний опыт, то первым средством его фиксации является наблюдение психических процессов, «душевной жизни» отдельного индивида — носителя «внутреннего опыта». Однако здесь дильтеевский ход мысли принимает иное направление, чем то, которое мы видели у Бергсона. Соответственно Дильтей разрабатывает и новую концепцию времени. «В качестве первого категориального определения жизни, на котором основываются все остальные ее определения, выступает временность. Это подчеркивается уже в самом выражении «течение жизни»... Общими для жизни и выступающих в ней предметов являются отношения одновременности, последовательности, временного интервала, длительности, измене-

¹⁵ W. Dilthey. Die geistige Welt. Einleitung in die Philosophie des Lebens. — Gesammelte Schriften, Bd. V. Leipzig und Berlin, 1924, S. 4.

ния. Из них на основе математической науки были развиты абстрактные отношения, которые Кант положил в основу своего учения о феноменальности времени»¹⁶.

Итак, Дильтей определяет время как конкретную форму протекания жизни и отличает от этого «конкретного» времени те абстрактные временные отношения, которые фиксирует математика. Это сближает дильтеевское понимание времени с бергсоновским: оба противопоставляют время как реальность, фиксируемую внутренним чувством и данную непосредственно, «абстрактному времени» математики и естествознания.

Однако на этом сходство обеих трактовок времени, пожалуй, и кончается. Посмотрим, за что критикует естественнонаучное понимание времени Бергсон и за что его критикует Дильтей. Для Бергсона основной недостаток «физического» времени состоит в том, что оно не может ухватить непрерывность временного процесса и рассматривает его «кинематографически», как последовательность мгновений, подобных «точкам пространственной линии». Все остальные особенности физико-математического времени Бергсон считает производными от этой «дискретной» его трактовки. Что же касается Дильтея, то его упрек «естественнонаучному пониманию времени» состоит в том, что для последнего время имеет только количественные, а не качественные характеристики. В связи с этим раскрывается и смысл приведенного замечания Дильтея по поводу кантовской трактовки времени.

Дильтей считает кантовское время своеобразной проекцией на «внутренний опыт» того математического времени, которое, как он заявляет, есть «линия, состоящая из равноценных частей»¹⁷. Действительно, кантовское время как форма внутреннего чувства есть не что иное, как «чистая последовательность», или, по словам самого Канта, «последовательное прибавление единиц»¹⁸. Не случайно Кант требует для определения чистого времени отвлечения от всего того, что составляет содержание «внутреннего чувства»: такое понимание времени требует изъятия всяких качественных определений протекающего внутреннего процесса и сохранения самой формы протекания, которая выступает как нечто абсолютно безразличное к наполняющему ее содержанию. А разве не так же мыслилось абсолютное время в ньютоновской механике? Физические процессы, протекающие в абсолютном времени, не только не «деформируют» последнее — они вообще внутренне не связаны с ним, и время выступает таким же «вместилищем» процессов, как пространство — «вместилище» материальных вещей. Дильтей, фиксируя специфику кантианского

¹⁶ W. Dilthey. Der Aufbau der Geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften. — Gesammelte Schriften, Bd. VII, 1927, S. 192—193.

¹⁷ Там же, стр. 72.

¹⁸ И. Кант. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей появиться как наука, § 10. — Сочинения, т. 4, ч. 1. М., 1965, стр. 99.

и естественнонаучного понимания времени, определяет его как абстрактное: «ибо мы мыслим его, отвлекаясь от того, что его наполняет»¹⁹.

Здесь Дильтей полемизирует по существу не только с Кантом, но и с Бергсоном, однако, чтобы четче выявить основу полемики, рассмотрим дильтеевское определение времени. Подлинное время представляет собой, по Дильтею, «неутомимое движение настоящего, в котором настоящее становится прошлым, а будущее — настоящим. Настоящее есть наполнение временного момента реальностью, оно есть переживание в противоположность воспоминанию или представлениям о будущем, которые выступают в желании, ожидании, надежде, страхе, волнении. Эта наполненность реальностью, или настоящим, постоянно существует, в то время как то, что составляет содержание переживания, все время изменяется. Представления, в которых мы обладаем прошлым и будущим, наличны только для живущего в настоящем... Таким образом, части наполненного времени не только качественно отличаются друг от друга, но если мы из настоящего оглядываемся назад в прошлое или всматриваемся вперед в будущее, то каждая часть потока времени, независимо от того, что в нем выступает, имеет различный характер»²⁰.

Если для Бергсона важно было подчеркнуть целостную структуру самого времени, невозможность разделить «длительность» на моменты, то для Дильтея важнее всего отметить единство, сращенность времени с содержанием, наполняющим его, ибо время имеет различный характер в зависимости от того, что его наполняет. В чем же конкретно усматривает Дильтей это различие? «Когда мы оглядываемся на прошлое, — говорит он, — мы ведем себя пассивно; прошлое нельзя изменить... Когда же мы обращаемся к будущему, мы находим себя активными, свободными. Здесь наряду с категорией действительности, которая открывается нам в настоящем, возникает категория возможности. Мы чувствуем себя обладателями бесконечных возможностей. Так переживание времени во всех направлениях определяет содержание нашей жизни»²¹.

Из этого отрывка можно видеть, что определение времени как реальности качественной, «части» которой имеют различный характер, имеет смысл только по отношению к тому времени, которое характеризует «протекание переживаний» у человека, поскольку он действует, ставит перед собой цели и реализует их, — у человека исторического, творца культуры.

Бергсон для характеристики длительности как некоторого целостного процесса, постигаемого нами путем самосозерцания,

¹⁹ W. Dilthey. Gesammelte Schriften, Bd. VII, S. 72.

²⁰ Там же, стр. 193.

²¹ Там же, стр. 193—194.

избирает прежде всего память, в которой прошлое становится настоящим. В отличие от него Дильтей фиксирует свое внимание на деятельной, активной стороне человеческого существа и тем самым вовлекает в сферу своего рассматривания человека как существо общественно-историческое. Если материалом для Бергсона обычно служит психическое бытие индивида, то материалом для Дильтея оказывается — ниже мы это увидим яснее — его культурно-историческое бытие. Последнее, по Дильтею, должны исследовать науки о духе, для которых необходимо разработать теоретический фундамент, и в первую очередь создать новое понимание времени, ибо прежнее, по убеждению Дильтея, не дает возможности проникнуть в историческую реальность. «Учение о простой идеальности времени»²² не имеет вообще никакого смысла в науках о духе»²³. В самом деле, тогда как для естествознания XVII—XIX вв. время служило как бы внешней формой протекания явлений, внутренне с самим временем не связанных, — и этот принцип был полностью принят Кантом в его учении о времени как априорной форме внутреннего чувства — для Дильтея, считающего время субстанцией самой жизни, этот принцип совершенно неприемлем.

«Время нельзя мыслить как некоторую линию, которая состоит из равноценных частей... Если мы мыслим время, отвлекаясь от того, что его наполняет, то части этой линии равноценны друг другу. В этой непрерывности даже самая маленькая часть будет линейной, — это протекание; нигде ни в малейшей части не будет никакого „есть“»²⁴. Рассматривая «физико-математическое» время, Дильтей фиксирует здесь известную антиномию, возникающую при попытке мыслить время: каждый даже самый малый отрезок времени, который мы вначале считаем «настоящим», при ближайшем рассмотрении может быть разделен на еще меньшие отрезки, так что «настоящее» неизбежно «сжимается» до точки, и поймать, зафиксировать то, что «есть», не удастся. Эту антиномию описал в свое время Августин, хотя и до него она служила источником ряда парадоксов и апорий²⁵. Как же представляется возможным Дильтею уйти от этой антиномии, не возникает ли она вновь при рассмотрении «конкретного» времени?

«Антиномии, которые мышление находит в переживании времени, возникают из непроницаемости последнего для познания. Малейшая часть продвижения времени еще содержит в себе течение времени. Настоящего никогда нет (*Gegenwart ist niemals*); то, что мы переживаем в качестве настоящего, всегда

²² Имеется в виду прежде всего кантовское определение времени как априорной формы человеческой чувственности. — П. Г.

²³ W. Dilthey. *Gesammelte Schriften*, Bd. VII, S. 194.

²⁴ Там же, стр. 72.

²⁵ Ее достаточно хорошо выявили уже софисты, пользовавшиеся ею для доказательства «несуществования» музыки.

уже содержит в себе воспоминание о том, что только что было настоящим»²⁶. — И далее: «Течение жизни состоит из частей, из переживаний, которые находятся в некоей внутренней связи друг с другом. Всякое отдельное переживание отнесено к самости (Selbst), частью которой оно является; благодаря определенной структуре оно связано с другими частями в некоторое единство. Во всяком духовном образовании мы находим связь; таким образом, связь — это категория, происходящая из жизни»²⁷.

Здесь важно зафиксировать, во-первых, попытку Дильтея при определении «конкретного», «жизненного» времени избежать той антиномичности, что присуща понятию времени, которым пользуются естественные науки и абстрактное мышление. Для этой цели Дильтей вводит свое определение времени как единства внутренне связанных между собой моментов: настоящего, которое содержит уже в себе воспоминание о том, что только что было настоящим, и, как замечает Дильтей в другом месте, настоящего, которое уже проникнуто ожиданием того, что в следующее мгновение станет настоящим. Эти моменты так тесно сплетены в единую структуру, что составляют как бы «первоначальную клеточку» жизненного потока.

Во-вторых, в этом высказывании Дильтея проскользнула еще одна важная мысль о «непроницаемости времени для познания». Дильтей считает эту «первоначальную клеточку», как и всю жизненную реальность, «клеточкой» которой и является указанное единство «частей» времени, непознаваемой для естественнонаучного мышления. С помощью тех средств, которыми пользуется наука при познании природы, «духовная связь» схвачена быть не может именно потому, что в ее основе лежит «непроницаемое для мышления» единство переживаемого времени. Это убеждение Дильтея в некомпетентности научного мышления высказывать суждения о жизненной реальности разделяет с ним большинство представителей «философии жизни», и в частности Бергсон, аргументация которого в этом пункте близка к дильтеевской.

Однако если оба — и Дильтей, и Бергсон — отказывают дискурсивному мышлению в постижении сущности «конкретного» времени, то в вопросе о том, каким образом постигается эта сущность, они радикально расходятся. Если Бергсон убежден, что длительность созерцается в интуиции, в своего рода «самонаблюдении», то Дильтей считает такой способ познания времени принципиально непригодным. Никакая интроспекция, по мнению Дильтея, не в состоянии постигнуть, «схватить» живое время, поэтому никакое психологическое исследование, основанное на интроспекции, не может понять сущность жизни²⁸. Согласно

²⁶ W. Dilthey. Gesammelte Schriften, Bd. VII. S. 194.

²⁷ Там же, стр. 195.

²⁸ Там же.

Дильтею, мы всегда переживаем себя не такими, каковы мы есть, а такими, какими мы только что были; стремясь схватить настоящее, мы в действительности имеем дело с только что прошедшим. Если Бергсон считает возможным пережить длительность и тем самым интуитивно постигнуть ее, то Дильтей объявляет сущность жизни неуловимой в непосредственном переживании. «...Мы не можем, — пишет он, — постигнуть сущность самой жизни. То, что открывается ученику из Саиса, есть образ [жизни], а не сама жизнь»²⁹.

Такое различие проистекает из самого понимания жизни и ее связи с временем. Для Бергсона, как мы видели, течение времени — это объективный процесс, который хотя и проходит через человеческое сознание, но не зависит от последнего. Именно потому, что этот процесс объективен, мы можем созерцать его в самих себе, не изменяя его структуры, подобно тому как мы созерцаем внешние предметы, которые при этом ничуть не «деформируются». Время течет, по Бергсону, внутри нас, но не благодаря нам; оно течет в нас так же, как и в любом другом органическом образовании, с тою лишь разницей, что мы в состоянии осознать его течение, а растение или насекомое — нет.

У Дильтея концепция иная. В его понимании одно из измерений времени, а именно будущее, может существовать лишь для человека, ибо последний не только обладает памятью (как это было у Бергсона), но и действует, — ведь категории ожидания, желания, надежды имеют смысл только для существа, ставящего перед собой цели и реализующего их. Поэтому для Дильтея время не может рассматриваться как процесс, существующий и протекающий независимо от человеческой деятельности. Время течет не только внутри нас, но и благодаря нам, мог бы сказать Дильтей. Стало быть, это не то время, которое переживает бергсоновский индивид и которое обще у него со всем биологическим миром; это специфически человеческое время, характеристики его вытекают из специфически человеческого способа жизни, — и этот способ жизни Дильтей называет историей, или культурой. Именно потому, что внутренний поток переживаний, без связи с которым, по Дильтею, не может существовать «конкретное» время, не есть нечто объективное, текущее через человека независимо от его деятельности, как это считал Бергсон, — именно поэтому его и нельзя постигнуть интуицией. В самом деле, внутреннее созерцание такого потока предполагает, грубо говоря, что он будет протекать и в то мгновение, когда его созерцает субъект сознания, в котором он протекает; другими словами, такое созерцание предполагает некоторую отстраненность, как бы отчужденность потока по отношению к тому, в чем (вернее, в ком) он течет, т. е. к индивидуальному созданию человека. С точки зре-

²⁹ W. Dilthey. Gesammelte Schriften, Bd. VII, S. 195.

ния Дильтея, невозможно рассматривать сознание как то, внутри чего протекают переживания. Наоборот, сознание активно участвует в созидании этого потока, и потому в момент, когда оно смотрит на себя, оно уже не может действовать.

Такое субъективистское — с точки зрения Бергсона — понимание времени влечет за собой несколько важных следствий.

Дильтей оказывается последовательным в своем отрицании интроспекции в качестве средства познания внутренней жизни личности. Именно это отрицание заставляет его прийти к выводу, что самого себя человек может созерцать не непосредственно, а только путем созерцания другого. «Внутренний опыт, в котором я углубляюсь в свои собственные состояния, никогда не даст мне возможности осознать свою собственную индивидуальность. Только в сравнении себя самого с другими я имею опыт относительно индивидуального во мне; я сознаю только то, что во мне отличается от другого»³⁰. Это одна из тех мыслей Дильтея, которая получила наибольшее развитие в экзистенциализме.

Но не только через другого индивида, с которым человек вступает в непосредственное общение, он «имеет опыт относительно индивидуального в себе»; такой опыт дает и общение с теми определенными формами человеческой деятельности, в которых нашли свое выражение индивидуальности как отдельных исторических личностей, так и целых эпох и народов. Так Дильтей отвечает на вопрос, каким же образом постигается жизненная реальность, если она ускользает и от естественнонаучного опосредованного познания, и от непосредственной интуиции. Не принимая ни один из указанных методов, Дильтей пытается разработать третий — метод понимания, или, как он его называет, герменевтику. Этот метод имеет общие черты как с естественнонаучным познанием, поскольку он всегда оперирует с некоторым внешним материалом, а не просто с данными текучего внутреннего опыта, так и с интуицией, поскольку относится к своему материалу непосредственно.

Но какой «внешний» предмет может служить средством для проникновения в сущность жизни? В соответствии с теми изложенными выше выводами, которые сделал Дильтей относительно интроспективного — в конечном счете психологического — способа постигнуть жизнь, его логика приводит к тому, что единственным способом проникнуть в структуру духовной, внутренней жизни (а для Дильтея это равнозначно постижению сущности жизни) является обращение к предметным образованиям, в которые отливается жизненное творчество, т. е. к опредмеченной человеческой деятельности — к культуре в самом широком смысле слова. В качестве последней выступают не только произведения литературы и искусства, но и такие общественные институты, как

³⁰ W. Dilthey. Gesammelte Schriften, Bd. V, S. 318.

государство, право и т. д. Одним словом, вся та сфера, которую Гегель в свое время назвал царством «объективного духа», представляет собой, по Дильтею, предмет исследования для того, кто хочет понять сущность «жизни».

Размышления Дильтея о культуре и истории как опредмеченной «духовной жизни» индивидов, попытка показать, что только путем раскрытия содержания этого «мира» духа, принявшего «предметную форму», индивид постигает самого себя, причем постигает объективно, — все это сближает Дильтея с гегелевской традицией. Проблема объективности (или, как говорит Дильтей, общезначимости) результатов исследования гуманитарных наук очень волнует его, и он неоднократно возвращается к ней. Именно эти моменты дильтеевского мировоззрения дают основание относить его философию к неогегельянству, — тем более, если учесть, что Дильтей, пожалуй, наиболее «исторический» — после Гегеля — мыслитель XIX в.

Как в свое время Гегель, выступая против романтиков (акцентировавших прежде всего «внутреннее» в противоположность его внешнему проявлению, в процессе которого внутреннее теряет свою интимность и неповторимую форму), подчеркивал, что лишь действие, выступившее вовне, получает объективное значение, так и Дильтей в своих рассуждениях показывает необходимость наличия «внешнего момента», «знака» душевной деятельности, без которого наше знание ее не может быть общезначимым. Само понимание он определяет следующим образом: «Пониманием мы называем процесс, в котором из чувственно данных проявлений душевной жизни мы подходим к ее познанию»³¹. Понимание, таким образом, представляет собой опосредованное знание в том смысле, что душевное проявление сначала должно принять чувственно фиксируемый облик (стать «чувственно данным знаком», как говорит Дильтей³²), прежде чем мы сможем проникнуть в его структуру. Без этого момента опосредования также не может быть общезначимого знания.

Однако дальнейший ход мысли Дильтея приводит его к логическому кругу. В самом деле: следующий вопрос, возникающий сразу же перед самим Дильтеем, — это вопрос о способе, каким индивид может проникнуть в содержание «опредмеченных форм прежней культуры», какими средствами он располагает, чтобы открыть внутренний мир того самого «другого», путем сравнения с которым он впервые узнает самого себя. «Возможность постигнуть другого, — пишет Дильтей, — это одна из самых глубоких теоретико-познавательных проблем. Как может индивидуальность сделать предметом общезначимого объективного познания чувственно данное проявление чужой индивидуальной

³¹ W. Dilthey. Gesammelte Schriften, Bd. V, S. 332.

³² Там же, стр. 318.

жизни? Условие этой возможности состоит в том, что в проявлении чужой индивидуальности не может выступать ничто такое, чего не было бы в познающем субъекте»³³.

До сих пор Дильтей настаивал на том, что познающий субъект впервые узнает о том, «что в нем есть», из сравнения с «другим» субъектом; теперь оказывается, что в другом он может усмотреть только то, что уже «есть» в нем самом. Это и есть тот круг, в который попадает Дильтей, пытаясь решить вопрос о способе постижения «внутреннего потока жизни» без помощи интроспекции. Этот круг воспроизводится всякий раз, когда Дильтей обращается к рассмотрению метода исторического познания — так называемой герменевтики.

Таким образом, несмотря на свое стремление к общезначимому культурно-историческому познанию, Дильтей все же оказывается ближе к романтикам, чем к Гегелю; потребовав «внешнего знака» в качестве условия понимания, он тут же «снимает» его: внешний знак должен быть лишь тем каналом, через который мы в состоянии «перевести» чужие «переживания» «внутрь своей собственной жизни», или, что то же самое, «перенестись в чужую жизнь», пережить ее как собственную возможность, «вчувствоваться в чужие душевные состояния».

Сам акт «вчувствования», «вживания» оказывается непосредственным: мы сразу, как полагает Дильтей, «схватываем чужую душевную жизнь» как некоторую целостность, — не нуждаясь в том, чтобы сначала фиксировать отдельные ее моменты, затем «индуктивным путем» делать обобщения и получить в конце концов рассудочно построенную схему «исторической эпохи», «исторического лица» и т. д.

Такого рода способ проникновения в историческую реальность, по Дильтею, ближе к художественному постижению мира, чем к научному его «конструированию». Именно поэтому Дильтей и называет метод понимания, применяемый с виртуозностью, искусством герменевтики³⁴. «Герменевтикой мы называем искусство (Kunstlehre) понимания письменно зафиксированных проявлений жизни»³⁵, — пишет Дильтей. Герменевтика как истолкование письменных памятников является наиболее важной формой понимания. Ведь именно письменные памятники, тексты, наиболее исчерпывающе обнаруживают духовную жизнь эпохи, поскольку они говорят. «Неизмеримое значение литературы для нашего понимания духовной жизни и истории заключается в том, что

³³ W. Dilthey. Gesammelte Schriften, Bd. V, S. 333—334.

³⁴ В новое время, говорит Дильтей, существовали такие «виртуозы истолкования», как Винкельман, Гердер и романтики, которые по существу открыли перед мыслителями нового времени такую еще неизвестную им дотоле сферу реальности, как история (см. W. Dilthey. Gesammelte Schriften, Bd. V, S. 320—322).

³⁵ W. Dilthey. Gesammelte Schriften, Bd. V, S. 332—333.

только в языке человеческий внутренний мир находит свое полное, исчерпывающее и объективно понятное выражение»³⁶.

Понимание и его наиболее совершенная форма — герменевтика — должны, по Дильтею, помочь современному человеку обрести «в качестве настоящего все прошлое человечества»³⁷.

Само по себе требование Дильтея «оживить» умершую уже жизнь, «пережить ее заново», «возродить ее для сегодняшнего дня», — одним словом, распродетить продукты культурного творчества прошлых эпох — задача столь же важная, сколь и трудная. Воскресить во всей полноте ту человеческую жизнь, которая отлилась в памятниках культуры, — одна из центральных задач историка, если он не хочет оставаться только регистратором фактов, а ищет их реальной, живой связи. Но тот способ, который предлагает Дильтей в качестве средства разрешить эту задачу, как мы уже отмечали, внутренне противоречив: с одной стороны, история и историческая реальность — средства для «открытия человека самому себе», с другой стороны, человек — средство для «открытия истории самой себе». Чтобы понять самих себя, мы должны обратиться к другому, но чтобы понять другого, мы должны перевести его «внутренний мир» на язык собственных переживаний. А где критерий того, что наши «переживания» адекватны переживаниям другого? Тем более, что ведь и «наши переживания» как таковые впервые осмысляются нами через «других». Нужно нечто «третье» в качестве посредника между «мною» и «другим», посредника, который мог бы выступить в виде более прочного критерия, чтобы удержать растекающиеся, неопределенные, относительные реальности «моих» и «чужих» переживаний. В противном случае условие и обусловленное постоянно меняются местами. У Гегеля, к которому в некоторых случаях обращается Дильтей, в качестве такого «устойчивого» посредника, в качестве «третьего», выступал «абсолютный дух», и именно это спасло Гегеля от исторического релятивизма, но спасло дорогой ценой, ибо великий систематик должен был в конечном счете пожертвовать историей ради абсолюта. Эту плату Дильтей вносить не хочет, история для него — высшая инстанция, и никакой абсолют не вправе, по его убеждению, вершить над ней свой суд. Но в таком случае остается искать такой критерий внутри самой истории. Дильтею найти его не удалось.

Релятивизм Дильтея сказывается тем ощутимее, чем большую нагрузку несет у него история. Отвергая возможность интроспективного способа познания человеком самого себя, Дильтей совершенно справедливо утверждает: «Человек познает себя только в истории, а не посредством интроспекции»³⁸. Величайшее за-

³⁶ W. Dilthey. Gesammelte Schriften, Bd. V, S. 319.

³⁷ Там же, стр. 317.

³⁸ W. Dilthey. Gesammelte Schriften, Bd. VII, S. 279.

блуждение Ницше, по Дильтею, состояло в том, что он полагал, будто путем непрерывного самоисследования, самодопроса философ в состоянии проникнуть в структуру жизни, постигнуть, «схватить» ее. Поэтому все произведения Ницше, начиная с «Несовременных размышлений», представляют собой нечто вроде философской исповеди. «Что такое человек, — замечает Дильтей, — ему может сказать только его история»³⁹.

И ни «антропология», рассматривающая человека как особого рода природное существо, ни психология не в состоянии решить, что такое человек. Эта задача должна быть решена только при рассмотрении истории. Поскольку же проблема человека — одна из важнейших проблем философии, то на историю таким образом ложится большая нагрузка: она выдвигается Дильтеем в самый центр философского исследования, оказывается своего рода фундаментом для построения философской системы. Но фундамент этот, как мы видим, у Дильтея слишком непрочен, чтобы удержать на себе философское здание: что такое человек, должна сказать история, но для постижения самой исторической реальности нас опять-таки отправляют к человеку, ибо, только истолковав продукт исторического творчества прошлых эпох, только «вдохнув в него жизнь», пропустив его через свою «душевность», исследователь дает ему реальную историческую действительность.

Из истории Дильтей изымает все «субстанциальное», что могло бы служить в качестве прочного критерия при рассмотрении исторического материала: поскольку всякое «субстанциальное» начало, по Дильтею, представляет собой нечто внеисторическое, единственным «субстратом» истории объявляется «временность». Историческое понимание, герменевтика требует, чтобы историк переживал исторические события и судьбу исторических лиц как свои собственные «возможности». Но где при этом гарантия, что в результате осуществления требования не появится столько изображений какой-либо исторической эпохи, сколько будет исследователей, и кому же из них отдать предпочтение? Дильтея не случайно беспокоит проблема общезначимости выводов наук о духе: не признавая субстанции исторического процесса, Дильтей не в состоянии гарантировать объективность исторических исследований.

Целая серия релятивистских концепций философии истории — от Освальда Шпенглера до Теодора Лессинга — прямое подтверждение тому, что Дильтею не удастся найти какое бы то ни было противоядие против релятивизма: ведь эти мыслители осознанно или неосознанно продолжают идти в том же направлении, в котором шел Дильтей. И хотя после второй мировой войны

³⁹ W. Dilthey. Weltanschauungslehre. Abhandlungen zur Philosophie der Philosophie. — Gesammelte Schriften, Bd. VIII, 1931, S. 224.

появляется ряд исследований о Дильтее, в которых авторы пытаются показать, каким образом Дильтей стремился преодолеть релятивизм⁴⁰, но эти попытки остаются неубедительными. Дильтеевское требование рассматривать жизнь как историческую реальность, чтобы избежать ее биологизации и психологизации, приводит к релятивизму. Попытка рассматривать время как «историческое» и связанная с нею интерпретация времени как некоей структуры, содержащей в себе три «момента» — прошлое, настоящее и будущее — и не могущей быть рассмотренной в отрыве от содержания, — эта попытка находит свое дальнейшее развитие как в рамках «философии жизни», так и в экзистенциализме.

МИФОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАКТОВКА ВРЕМЕНИ. О. ШПЕНГЛЕР

В пределах одного с Дильтеем направления — «философии жизни» — проблема времени привлекает пристальное внимание также и О. Шпенглера.

Как и другие представители «философии жизни», Шпенглер противопоставляет время реальное, называемое им историческим, физическому времени, которое он, подобно Бергсону, считает истолкованным по модели пространства. Поскольку для Шпенглера историческое время есть форма существования культуры, постольку определение последней облегчает задачу выяснения структуры времени. Что же касается шпенглеровского понимания культуры, здесь прежде всего следует отметить резко выраженную тенденцию к проведению аналогии между «культурным организмом» и организмом вообще — тенденцию, которая почти не ощущалась у Дильтея. «Культуры суть организмы, — говорит Шпенглер. — История культуры — их биография. Данная нам как некоторое историческое явление в образе памяти, история китайской или античной культуры морфологически представляет собой полную аналогию с историей отдельного человека, животного, дерева или цветка. Если мы хотим узнать ее структуру, то сравнительная морфология растений и животных давно уже подготовила соответствующие методы»⁴¹.

Шпенглеровская постановка вопроса здесь, по-видимому, гораздо ближе к тем вариантам «философии жизни», которые, как, например, у Бергсона, оперируют при рассмотрении жизни преимущественно биологическо-психологическими моделями и потому, казалось бы, историческая реальность не должна для них представлять большого интереса, как это и было у Бергсона. Однако все своеобразие шпенглеровской постановки вопроса состоит в том, что при своей биологической ориентации он в то же время

⁴⁰ См., например, O. Bollnow. Dilthey. Stuttgart, 1955.

⁴¹ О. Шпенглер. Закат Европы. М.—Пр., 1923, стр. 111.

сосредоточивает все внимание именно на реальности исторической, и, подобно Дильтею, превращает философию истории не только в центральную отрасль философии, но — в самую философию. Единственная истинно существующая действительность — это, по Шпенглеру, действительность культурно-историческая. Она и создает каждый раз — в зависимости от того, какова ее собственная структура, — определенные картины природы; но природный мир — это в конечном счете нечто производное от мира культуры, не имеющее самостоятельного, так сказать, «субстанциального» существования.

Такой способ рассуждения существенно отличает Шпенглера от Бергсона, ибо для последнего существует единая метафизическая реальность — жизненный порыв, — которая принимает самые разные формы проявления, но во всех них остается одной и той же. С точки зрения Бергсона любой организм — растительный, животный, человеческий — несет в себе единое начало и потому вообще не может быть понят независимо от последнего. Шпенглер не знает никакой «метафизической действительности», его интересуют, если говорить языком Бергсона, только «формы проявления», и их-то он и склонен рассматривать как действительные реальности, не ставя вопроса о том, что за ними стоит.

Но шпенглеровский подход отличается и от дильтеевского. Дильтей отказался от принятия какой бы то ни было метафизической реальности — будь то абсолютный дух или жизненный порыв — в качестве объяснения «жизненных проявлений»; он пытался «понять жизнь из нее самой», рассматривая ее как действительность историческую прежде всего. Стремясь понять историческую реальность из ее собственных предпосылок, Дильтей в то же время запрещал себе, хотя и не всегда достаточно последовательно, трактовать исторические явления, пользуясь какими бы то ни было аналогиями, независимо от того, откуда берутся такие аналогии — из мира механического, физического или биологического. Понять человеческое (а историческое, по Дильтею, — это человеческое) — это не значит провести аналогию между человеческими действиями и действием физических тел или взаимодействием организма с окружающей средой, но пережить и тем самым как бы вновь вызвать к жизни все то, что составляет содержание жизненного мира прошлых эпох. Если при этом Дильтей иногда и допускал биологические аналогии, то это шло за счет непоследовательности, за счет трудности осуществления принятого принципа, за счет отклонения от того образца, идеала исследования, к которому он стремился. Дильтей пытался по-своему применить в исследовании истории культуры нечто вроде «трансцендентального метода», воспрещавшего выходить за пределы того, что взято в качестве «эмпирически данного мира», «мира опыта» и позволявшего организовать этот опытный мир только с помощью «имманентных» ему принципов. У Дильтея

это приняло форму задачи — объяснить культурно-историческую сферу из нее самой, не прибегая к тому, что лежит за ее пределами: сама эта «лежащая за пределами» «природная» и «физико-механическая сфера» должна была бы (если бы Дильтей последовательно довел до конца свой принцип) найти свое объяснение внутри мира культурно-исторического и в нем получить свое последнее обоснование.

Шпенглер не принимает ни «метафизики» Бергсона, ни «трансцендентализма» Дильтея. Он не ставит своей задачей вывести всю реальность — как природную, так и историческую из единого источника, лежащего в основе всего бытия, как это делал Бергсон. Но, в отличие от Дильтея, он не пытается также последовательно провести принцип «исторического трансцендентализма», т. е. принять культурно-исторический мир за исходную реальность, из которой должна получить свое объяснение реальность природная. Шпенглер просто эклектически принимает оба принципа — каждый из них проявляется у него там, где он удобнее для объяснения, для доказательства тех или иных положений автора. С одной стороны, Шпенглер неоднократно заявляет, что природная реальность производна от исторической, что природа как определенная картина мира меняется в зависимости от того культурно-исторического мировосприятия, внутри которого она сформирована. С другой стороны, для определения самой культурно-исторической реальности Шпенглер пользуется аналогией, которая при такой постановке вопроса уже недопустима, — аналогией с живым организмом. Но живой организм у Шпенглера — это один из моментов той картины природы, которая сама производна от культуры. Таким образом, ни один из принципов не проводится Шпенглером до конца. Принципиально противопоставляя время как характеристику исторического бытия пространству как характеристике бытия природного и тому времени, принявшему пространственный образ прямой линии, одинаково бесконечной в обоих направлениях, с которым имеет дело естествознание, Шпенглер, как и Бергсон, в первую очередь обращает внимание на то, что историческое время является необратимым. Иначе говоря, для него важен тот признак направления, который совершенно безразличен и для ньютоновской физики, и для кантовского времени как формы внутреннего опыта.

Специфическим для шпенглеровской трактовки времени является то, что он определяет время как судьбу, совершенно меняя тем самым плоскость рассмотрения проблемы времени и оперируя при этом такими понятиями, как «рок», «тайна», «мистерия», «миф». «Не математика и абстрактное мышление, а история и живое искусство — и я прибавлю еще: великий миф — дают нам ключ к проблеме времени»⁴², — заявляет Шпенглер.

⁴² О. Шпенглер. Закат Европы, стр. 133.

И тем не менее, как ни покажется это неожиданным, Шпенглер своими средствами пытается решить задачу, поставленную Дильтеем, который, по-видимому, и не узнал бы ее в этом новом виде: Шпенглер хочет понять время в неразрывной связи с его содержанием, т. е. именно так, как того требовал Дильтей. Дильтей поставил задачу — понять историческое время в неразрывной связи с содержанием истории; однако решение этой задачи требовало того, чего Дильтей не мог сделать, — его представления оказались все-таки в слишком сильной зависимости от мышления XIX в., искавшего в истории ее логическую структуру. Дильтей, сам того не сознавая, требовал рассматривать время как логику истории. Это требование реализовал Шпенглер: время, понятое как внутренняя логика истории, оказалась судьбой.

«Словом „время“, — пишет он, — обозначается нечто в высшей степени личное, нечто такое, что мы вначале упоминали, как собственное, поскольку оно ощущается с внутренней достоверностью, как противоположность тому чуждому, которое вмешивается в жизнь мира чувств, при его посредстве и под его влиянием. Собственное, судьба, время — суть заменяющие друг друга слова»⁴³. Не только измеримое, физическое время, связанное с процессами движения, не имеет ничего общего с историческим временем Шпенглера, понятым как «судьба», — с ним не имеет ничего общего даже и то внутреннее время, которое связано с определенными психическими процессами. Время теперь становится чем-то вроде внутренне прочувствованного и с трудом передаваемого в словах и понятиях, с трудом уловимого даже в произведениях искусства умонастроения. Это умонастроение, где, как в зерне, уже заключена еще не развернувшаяся судьба данной культуры, умонастроение, которое невозможно высказать, но можно почувствовать, умонастроение, составляющее внутреннее ядро всякой культуры и умирающее вместе с нею, заранее содержащее в себе все возможности ее и ее границы, ее настоящее и будущее, являющее собой смысл ее существования и ее гибели, Шпенглер и называет *временем, или мифом*.

Понятно, что при такой трактовке время перестает быть тем, что «течет», что «длится», а история перестает быть последовательностью событий, совершающихся во времени. Напротив, история есть та сфера, в которой осуществляются «времена». Каждая культура имеет свое «время», т. е. свою «судьбу», свой «миф», свое определенное мироощущение, которое в неделимой единой «клеточке» уже как бы «содержит» ее всю. Шпенглер называет это мироощущение не только «мифом», но и, пожалуй, даже чаще, «прасимволом» культуры. С этой точки зрения Шпенглер отвергает все прежние способы рассмотрения феномена времени. «Все, что было сказано о времени в «научной» философии, психологии,

⁴³ Там же, стр. 126.

физике, — все мнимые ответы на вопрос, который и не следовало ставить: что такое «есть» время — никогда не касается самой тайны, но исключительно сложившегося в пространственности, заменяющего его фантома, в котором жизненность направления, его самостоятельное движение заменено абстрактным представлением расстояния, механическим, измеримым, делимым и обратимым воспроизведением по существу своему невоспроизводимого... Попробуем заменить в любом философском или физическом тексте слово «время» словом «судьба», и мы сразу почувствуем, в каких добрых заблудился рассудок и насколько невозможной является «группа пространство и время»⁴⁴.

В различных культурах, говорит Шпенглер, время, т. е. судьба, переживается по-разному. Если в европейской культуре символом времени являются часы, то в других культурах, например в египетской, его роль выполняет «символ форм погребения»⁴⁵.

Время, понятие Шпенглером как логика истории и тождественное с прасимволом, мифом культур, приводит к крайне фаталистическому пониманию истории, оборачиваясь «деисторизацией» самой исторической реальности. В самом деле, если вся судьба культуры уже заключена в ее «мифе», если она переживается как бы «вся целиком» каждым представителем данной культуры, носящим в себе этот миф, то чего стоит в таком случае «разворачивание» мифа, что может при этом появиться нового, «не закодированного» в прасимволе? И чем отличается такое осуществление и разворачивание уже данного содержания от разворачивания того, что уже заключено в семени растения или животного, в процессе его индивидуальной жизни? Внешние условия несколько модифицируют определенную особь, но эта модификация ничего не меняет в ее природе. Не случайно перед Шпенглером постоянно витает образ растения, когда он пишет о судьбе культурных образований. «Культуры суть растения. Только что вырастающий бук с годами получит листья, ветки, ствол, вершину, причем можно предсказать их общий облик; это относится к судьбе прорастающего организма»⁴⁶. Этот фатализм Шпенглера совершенно логически предопределен его пониманием времени как судьбы, как мифа.

Никто так много, как Дильтей, не поработал в том направлении, чтобы освободиться от всякого метафизического обоснования истории, независимо от того, как осуществлялось это обоснование. Идеалом «исторического исследования» для Дильтея было такое исследование, которое не обращается для объяснения истории ни к чему, кроме самой истории. Согласно Дильтею, никакой ло-

⁴⁴ О. Шпенглер. Закат Европы, стр. 128—129.

⁴⁵ Там же, стр. 137.

⁴⁶ Там же, стр. 146.

гики, кроме логики самой истории, мы не должны искать. И Шпенглер «нашел» эту логику. Несмотря на теоретическую непоследовательность, а может быть, именно благодаря ей в концепции Шпенглера оказался зафиксированным целый ряд мировоззренческих посылок, как нельзя более характерных для буржуазной философии начала XX в. Не удивительно, что его философско-историческая концепция в значительной степени оказала влияние на развитие буржуазной историографии. Это влияние проявилось в двух направлениях. Во-первых, Шпенглер своей трактовкой времени как судьбы по-своему разрешил поставленную Дильтеем задачу и тем самым заставил буржуазных философов несколько по-иному взглянуть на те проблемы, которые до него казались более или менее решенными. Во-вторых, Шпенглер сыграл роль «катализатора», выявив с необычайной резкостью все те релятивистские тенденции, которые обнаруживал историзм, поскольку из-под него пытались выбить какой бы то ни было «субстанциальный» фундамент.

Продолжая шпенглеровскую традицию, многие философы истории XX в. (прежде всего А. Тойнби) пытаются, однако, пересмыслить его трактовку времени и тем самым ослабить те жестко-фаталистические формы, в которые Шпенглер ввел развитие культуры.

Своей концепцией Шпенглер довел до логического конца исторический релятивизм. Когда время, истолкованное как историческая «субстанция», историческая «логика», обернулось у Шпенглера судьбой, то при этом обнаружилось, что всякий способ мышления, как и всякая картина мира — в том числе и картина, создаваемая современной наукой, — представляет собой способы проявления «исторических времен», разных «судеб» и что способов мышления, как и «картин мира», ровно столько же, сколько существует и будет существовать исторически определенных стилей культур. «Культура, — пишет Шпенглер, — это — последняя из достижимых для нас действительностей... «Мир», как *absolutum*, как вещь в себе, есть предрассудок. Мы достигаем путем морфологии лишь впечатлений отдельных миров, как выражения отдельных душ; вера физика или философа, которую он разделяет с толпой, в то, что его мир есть действительно мир, напоминает нам уверенность дикаря, что все боги черны»⁴⁷.

Вместе с отрицанием всеобщей реальности Шпенглер совершенно отбрасывает тот принцип общезначимости как естественнонаучного, так и исторического знания, который так хотелось спасти Дильтею, остро чувствовавшему, что историзм, если из него «изъять» все «субстанциальное», ведет к релятивизму, к относительности любого утверждения, любой системы взглядов. Сохранить принцип историзма и одновременно не пожертвовать

⁴⁷ О. Шпенглер. Закат Европы, стр. 185—186.

«общеэзначимостью» — вот к чему стремится Дильтей, непрерывно пересматривая в связи с этим свою концепцию.

Шпенглер отбрасывает принцип общеэзначимости, отнюдь не смущаясь тем, что после этого всякое утверждение, в том числе и его собственное, не может претендовать на объективность и, как всякое релятивистское утверждение, само себя снимает. В самом деле, если все наше знание и вся наша картина мира оказываются лишь способом выражения «европейской культуры», «западного прафеномена», то какое же значение имеет философема самого Шпенглера? Она не может претендовать на то, что действительно существует та реальность, о которой она нам рассказывает. Ибо при последовательном проведении шпенглеровской точки зрения его собственная концепция есть лишь форма выражения «западной души», и то, что сообщил Шпенглер о других культурах, как и вообще о формах исторического существования человечества, есть лишь миф, лишь продукт его собственного мироощущения. В противном случае Шпенглер должен был бы показать, на каком основании «миф» европейской культуры имеет то преимущество перед остальными, что для него все остальные, друг для друга не проникаемые мироощущения (основной принцип Шпенглера), вдруг оказываются раскрывшимися. Он должен был бы в этом случае ввести реальность, которая была бы более «изначальной», чем принятая им за «последнюю» реальность переживания культурно-исторического мифа. И эта «более первоначальная» реальность должна была бы оказаться общей для всех культурно-исторических организмов, ее «логика» должна была бы определять их логику. Но тогда не было бы произведения под названием «Закат Европы» и Шпенглер не получил бы возможности «разгадать» последние «тайны» судьбы всех культур и, что для него, конечно, важнее всего, — судьбу той культуры, к которой он сам принадлежал.

Гносеологический фундамент релятивизма Шпенглера выявлен им самим. «...Познание, — пишет он, — предполагает познающего, и хотя содержание такого мышления есть «природа», но акт мышления есть история»⁴⁸. Здесь Шпенглер четко сформулировал принцип исторического релятивизма: поскольку всякое содержание мышления есть продукт мыслящего индивида, результат акта мышления, всегда исторически обусловленного, постольку это содержание и надо соотносить не со структурой мыслимого предмета, а со структурой акта мысли. Если последняя — а это Шпенглер принимает безоговорочно — обусловлена исторически, то, стало быть, и в содержании мышления нет ничего, что не было бы исторически обусловлено. Гносеологическое рассмотрение, принимающее во внимание отношение познания к познаваемому предмету, сменяется историческим рассмотрением, при-

⁴⁸ О. Шпенглер. Закат Европы, стр. 124.

нимающим во внимание связи других моментов: акта познания и исторически обусловленной структуры сознания познающего индивида.

Такова логика рассуждений Шпенглера, превратившего релятивизм в сознательный методологический принцип философии истории. Таково шпенглеровское разрешение задачи, поставленной перед философской мыслью Дильтеем: понять время не как формальный «каркас» исторических событий, а как содержательный принцип развертывания этих событий.

Как видим, начиная от Бергсона и кончая Шпенглером в «философии жизни» все острее дает себя чувствовать стремление понять время не как формальный, а как содержательный принцип. Сама собой напрашивается аналогия между постановкой проблемы времени в «философии жизни» и постановкой проблемы мышления в немецкой классической философии.

У Канта, первого представителя немецкого классического идеализма, мышление рассматривается как чисто формальная деятельность, сущностью которой является синтизирование многообразия, данного созерцанием, в некоторое единство. Уже Фихте предпринимает попытку рассматривать мышление как деятельность, которая сама дает себе также и содержание, так что больше не нуждается в таком «внешнем» по отношению к мысли содержании, которое привносится чувственностью. Этот принцип Фихте развивается и углубляется у Шеллинга, а у Гегеля приобретает наиболее законченную форму, при которой логика оказывается творцом всей — в том числе и эмпирической — действительности.

«Философия жизни» возникает как своеобразная реакция на стремление рационализма — в том числе и фихтевско-гегелевского направления — вывести всю реальность из мысли, «рацио», логики. Именно отсюда вытекает требование представителей «философии жизни» рассматривать реальность как нечто такое, что не может быть до конца растворенным в мышлении, сведенным к логическим связям, как бы широко последние ни трактовались. В силу необходимости найти новое, логикой не ухватываемое ядро реальности Бергсон, Дильтей и Шпенглер вынуждены обратиться к времени, как чему-то принципиально не поддающемуся «логизации» и «систематизации», принципиально невыводимому из мышления.

Но при этом оказывается, что прежнее понимание времени, сложившееся в философии и естествознании XVII—XVIII вв., не может нести на себе ту нагрузку, которую возлагают на него философы нового направления. Это время выступает как бессодержательное «вместилище» процессов, протекание которых определено опять-таки логикой, т. е. постигается мышлением, так что время само по себе совершенно безразлично к содержательной стороне этих процессов. Отсюда попытка разработать новое понимание времени.

Сама попытка такого рода не вызывает возражений. Характерно, что и в физике XX в. — в теории относительности — возникает необходимость рассматривать время и пространство иначе, чем они рассматривались в ньютоновской физике. Для Эйнштейна пространство уже не представляется неким «вместилищем» тел и процессов, совершенно безразличным к наполняющему его содержанию. Соответственно и время тоже перестает рассматриваться как абсолютное, т. е. как та «внешняя» (по отношению к измеряемому) шкала, которую «прилагают» к процессу с целью его измерения. Таким образом, физика XX в. сделала шаг по направлению к содержательному, — разумеется, в рамках физического подхода к действительности, — рассмотрению времени. Не удивительно, что и в других сферах исследования возникает стремление показать связь времени с протекающими во времени процессами, показать, если можно так выразиться, «искривление» времени в соответствии с его направлением — поскольку время рассматривается как не безразличное для тех процессов, которые оно «вмещает».

Аналогия рассмотренных здесь концепций времени с изменением представлений о времени в физике отнюдь не имеет целью навести на мысль, что построения Бергсона, Дильтея и т. д. по содержанию имеют что-то общее с открытием Эйнштейна. Эта аналогия не идет далее фиксации того факта, что как в «философии жизни», так и у Эйнштейна время мыслится не само по себе, а в связи с процессами, в нем происходящими.

Но сама эта связь понимается философами и учеными-физиками совершенно по-разному. Эйнштейн доказывает, что время может протекать «быстрее» или «медленнее» в зависимости от тех физических процессов, мерой протекания которых оно является. Бергсон же и Дильтей считают, что подлинное, т. е., с их точки зрения, единственно реальное, время связано для первого — с процессами органическими, а для второго — с человеком как единственным существом, имеющим «историческое» бытие; всякое же «физическое» время, трактуется ли оно как «абсолютное» (Ньютон) или «относительное» (Эйнштейн), является результатом определенной умственной конструкции и подлинной реальности не имеет. (В этой связи очень показательна бергсоновская критика выводов из учения Эйнштейна относительно замедления хода времени для человека, находящегося на борту космического корабля, летящего с большой скоростью, — этот вывод Бергсон считает фантазией.)

Бергсон попытался рассмотреть связь времени и органической жизни; у него время потекло не «рядом с живым», а «через живое», и тем самым приобрело свой особый, органический «ритм». Бергсон справедливо отметил, что «измерение» органических процессов с помощью «часов», т. е. посредством неорганического движения, дает в лучшем случае возможность фик-

сировать чисто внешние приметы развития организма, но не позволяет постигнуть «внутренний» ритм самого организма. Бергсон, напротив, попытался на сами часы взглянуть как бы через призму «органического времени»; последнее стало для него критерием реального времени, а физическое время должно было быть выведено из него как нечто производное.

Однако при этом Бергсон, во-первых, само органическое время истолковал психологистски, о чем мы говорили выше, а во-вторых, впал в иллюзию, от которой вообще не гарантирован ни один исследователь: в иллюзию относительно реального значения своего открытия. В результате он абсолютизировал его, перенеся «органический ритм» на ритм всего бытия, в том числе бытия человеческого — бытия более высокого, чем органическое. Между тем человеческое бытие имеет, по-видимому, уже иной временной ритм, чем бытие органически-биологическое: это ритм исторический. Бергсон, как в свое время Галилей и Ньютон, сделал открытое им время «абсолютным ритмом бытия». Для Галилея и Ньютона все бытие пульсировало по законам физического мира, для Бергсона — по законам мира органического.

Понять время как ритм исторического бытия попытался Дильтей, стремившийся показать, что история имеет свой временной ритм, в отличие, скажем, от Гегеля, для которого история «пульсирует» по законам логики. Однако дильтеевская попытка осталась, по существу, незавершенной и, очевидно, отчасти поэтому представлялась многим его последователям столь богатой возможностями. Что же касается того направления, в русле которого дильтеевскую задачу решал Шпенглер, то оно оказалось зашедшим в тупик. Шпенглеровское время, как мы видели, уже утрачивает всякое сходство с временем вообще. Время, независимо от того, трактуется ли оно как мера движения физических тел или как форма протекания биологических (и психических) процессов, выражает все же нечто общее им всем, а именно — ритм процесса. У Шпенглера время теряет это свое значение, и ритм истории, не впущенный Шпенглером «в дверь», «влезает через окно»: поскольку время, истолкованное как миф, уже вообще лишается признака ритма, Шпенглер вынужден вводить для объяснения ритма истории — смены эпох, культур и т. д. — чисто органический принцип. Его исторические эпохи, подобно организмам, рождаются, развиваются, стареют и умирают — и весь этот цикл они завершают... в тысячу лет. Откуда эта «мера»? В какой связи она находится с «мифом», как «подлинно историческим временем»? Не введена ли она произвольно? Все биологические аналогии в концепции Шпенглера — а их у него предостаточно — результат того, что действительной связи времени и истории ему раскрыть не удалось.

Проблема содержательного понимания времени, т. е. понимания структуры именно «исторического времени», исторического

ритма, в самых различных аспектах стоит сегодня перед философией истории. Исключение составляют, с одной стороны, религиозные направления, где «ритм исторического бытия» определяется внеисторическими факторами, а проблема времени ставится совсем в ином плане — «время и вечность», — и, с другой стороны, вульгарно-социологические трактовки истории, перед которыми задача эта не встает потому, что историческая реальность оказывается у них сведенной к какому-либо одному — чаще всего эмпирически фиксируемому — ее аспекту. Но эти две крайние позиции по существу не имеют дела с собственно исторической реальностью: первая *уже* утратила из поля зрения историю, а в поле зрения второй история *еще* не попала.

Разработка проблемы времени, как она ставится в «философии жизни», — и в первую очередь у Дильтея, чьи размышления в этом направлении оказались хотя и не законченными, но наиболее плодотворными, поскольку он попытался осмыслить время через человеческую реальность, понятую исторически, — имеет еще один немаловажный аспект. Фетишизация естественнонаучных методов мышления, превращение их в нормативы также и для исторического исследования приводит к утрате самой исторической реальности как реальности человеческой. Что же касается естественнонаучного мышления, то, стремясь рассмотреть мир объективно, оно берет мир, как если бы человека в нем не было, — в этом и состоит специфика естественнонаучного подхода к миру. Понятное стремление устранить все субъективные факторы, которые могли бы исказить объективную картину мира, борьба с «идолами» или «призраками», как их называл в свое время Бэкон, предполагает максимальное очищение объекта от всего, что в него привнесено познающим субъектом.

Задача, которую ставит перед собой Дильтей, состоит в том, чтобы узаконить мышление, которое принимает во внимание, что человек реально существует в мире и поэтому мыслить мир без человека — это значит не приближаться к истине, но удаляться от нее. С точки зрения естественнонаучного подхода, человек есть субъект познания и как таковой он не должен принимать во внимание свою субъективность, если хочет рассмотреть предмет, как он существует сам по себе. Дильтей, напротив, подчеркивает, что человек есть не только субъект познания — он сам тоже реально существует, он есть бытие, и то, что он обладает сознанием и может выступать как теоретик, еще не дает основания не рассматривать его как бытие. Только в том случае, если мы будем рассматривать мир не «сам по себе», «без человека», а вместе с человеком, без которого нет реального мира, ибо он составляет конститутивный элемент последнего, — наш способ рассмотрения мира будет истинным, не в гуманистически-моралистском, а в буквальном смысле слова.

Но что значит рассматривать мир, учитывая также и человека как реальность? Это значит перестать ориентироваться в исторических и — шире — гуманитарных науках на естественнонаучные модели, т. е. перестать рассматривать природную реальность без человека как единственно истинную. А для этого в свою очередь необходимо отнестись всерьез к разработке научных понятий о человеческой реальности, понятой исторически, в ее временных ритмах. И понятие, которое здесь должно быть разработано в первую очередь — это понятие времени. Возможно, что разработка этого понятия позволит историкам, наконец, освободиться в своих исследованиях от обаяния естественнонаучного метода, который грозит вытеснить человека даже из самой «науки о человеке» — из истории.

К СПОРАМ О ЛОГИКЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЪЯСНЕНИЯ

(СХЕМА ПОППЕРА—ГЕМПЕЛЯ И ЕЕ КРИТИКИ)

И. С. Кон

Задачи философии по отношению к истории многообразны. Философия помогает историку теоретически понять структуру общественной жизни, выяснить соотношение в историческом процессе необходимости и случайности, объективных условий и сознательной деятельности исторических личностей (онтологический аспект); исследует специфику исторического познания и уясняет его место в общей системе научного знания (гносеологический аспект); вооружает историка правильным пониманием методов исторического исследования и их соотношения друг с другом (методологический аспект); анализирует логические формы и способы исторического объяснения (логический аспект).

В любой целостной философии истории присутствуют, как правило, все эти аспекты. Однако соотношение их может быть различным. В исторической эволюции философии истории интерес к онтологической стороне, к динамике и структуре исторического процесса появился значительно раньше, чем к другим аспектам проблемы. Хотя интерес к вопросам теории исторического познания неуклонно возрастал, эти вопросы ставились преимущественно в рамках более общих философских проблем; философы не столько исследовали логико-гносеологическую специфику реально существовавшей историографии, сколько конструировали некую идеальную историю, какой она должна была бы быть в свете данных философских постулатов.

В буржуазной философии второй половины XIX в. сложились две основные линии в отношении истории. Первая представлена позитивизмом, вторая — открыто идеалистическими философскими течениями (неокантианство, «философия жизни» и др.).

Позитивизм Конта—Спенсера—Милля, развиваясь в полемике с традициями романтической историографии, всячески подчеркивал единство научного знания и необходимость превращения истории в такую же строгую науку, как естествознание. Критикуя примитивную описательность традиционной историографии, выступая против сведения исторического процесса к случайной деятельности «великих людей», он доказывал возможность и необходимость широких обобщений относительно общественной жизни. Однако, не говоря уже о несостоятельности философских предпосылок¹, позитивисты крайне упрощенно и неверно понимали природу и задачи исторического познания. Абстрактный натурализм позитивистской концепции, фактически исключавший из рассмотрения явлений параметр времени, по самой сути своей антиисторичен.

В погоне за «вечными и неизменными» законами позитивисты игнорировали конкретное многообразие исторического процесса, подчиняя историю абстрактной социологии. Не было и речи о выяснении логической или гносеологической специфики исторической науки. Позитивисты рассматривают историю просто как склад «сырого материала», который должна обобщить социология, либо как «недоразвитую» науку, специфика которой объясняется именно ее недоразвитостью.

Подобное отношение к исторической науке типично было и для большинства позднейших философов-позитивистов. Характерно, например, то невнимание к проблемам исторических наук и исторического метода вообще, которое обнаруживает Карл Пирсон в своей «Грамматике науки».

Пренебрежение к истории достигло своего апогея в логическом позитивизме «Венского кружка». Поставив своей задачей создание единой «унифицированной науки», включающей как естественные, так и общественные науки, эти философы провозгласили единственной целью науки описание «непосредственно данного», а единственно возможной логической формой науки — ту форму, которую имеет современная физика («физикализм»). Единственным средством проверки (верификации) предложений науки Карнап и его единомышленники считали сопоставление соответствующих высказываний с непосредственным чувственным переживанием субъекта, к которому они относятся. Если данное предложение не поддается такой верификации, то его нельзя считать ни истинным, ни ложным, и оно должно быть признано лишеным научного смысла. Но историк, в силу самой специфики предмета исследования, не может сопоставить свои выводы с «непосредственным переживанием», он основывается на данных косвенного опыта, опыта других людей, который нельзя выразить

¹ См. об этом подробнее: И. С. Нарский. Очерки по истории позитивизма. М., 1960.

в виде простого однозначного протокола. Отсюда неопозитивисты делают вывод, что история вообще не может быть наукой, а ее обобщения стоят вне альтернативы истинного и ложного. Исторические суждения — это не суждения факта, а суждения ценности. Они не описывают «непосредственно данное», а выражают субъективные настроения и симпатии говорящего. Поэтому, замечает известный американский социолог-неопозитивист Джордж Ландберг, «большая часть исторического материала имеет сомнительную ценность для научных целей»².

Позитивистская концепция истории не могла не противоречить практике исторического исследования, и это вызывало многочисленные критические отклики. Однако в буржуазной философии второй половины XIX и начала XX в. тезис о специфичности исторического познания выдвигали преимущественно открыто идеалистические течения, для которых идея специфичности истории была прежде всего средством борьбы против детерминизма и материалистического понимания истории как естественноисторического процесса. В. Дильтей выводит характерную для истории индивидуализацию явлений из онтологической противоположности духа и природы; гносеологическую специфику исторического познания он видит в том, что оно покоится не на причинном объяснении, а на интуитивном «понимании». Б. Кроче и Р. Дж. Коллингвуд выводят особенности исторического знания из гегелевского понимания истории как истории духа. Неокантианцы В. Виндельбанд и Г. Риккерт пытаются отграничить историю от естествознания, исходя из ее логико-методологических особенностей, из того, что истории, по их мнению, присущ особый индивидуализирующий способ образования понятий.

Все эти концепции, абсолютизируя отдельные черты исторического познания, создавали искаженную общую картину. В работах этого типа методологическая специфика исторического исследования не выводилась путем анализа действительных методов, применяемых историками, а дедуцировалась из определенных общефилософских постулатов. Даже у Риккерта, которого, на первый взгляд, интересует прежде всего логическая проблема образования понятий, методология и логика занимают подчиненное место по отношению к философии ценностей. Риккерт сам подчеркивал, что он не освещает взаимоотношения действительного естествознания и действительной истории, а ограничивается «главным образом установлением тех двух *крайних полюсов* научной деятельности, между которыми до известной степени расположены все эмпирические науки»³. Тем более верно это в отношении Дильтея, Кроче, Коллингвуда и других, у которых описание существующей историографической практики только иллю-

² G. Lundberg. Social Research. N. Y., 1942, p. 117.

³ Г. Риккерт. Науки о природе и науки о культуре. СПб., 1911, стр. 35

стрирует высказывания о том, какой должна быть историческая наука и чем она должна заниматься.

Ни свойственное старому позитивизму представление об истории как подсобной дисциплине социологии, ни идеалистические интерпретации специфики исторического познания не передают действительной природы последнего. Это признают сегодня не только марксисты, но и многие буржуазные ученые, прежде всего историки, вынужденные считаться с практикой исторического исследования. Отсюда — попытки подойти к проблеме специфики истории с другой стороны, перенеся вопрос из сферы философии в сферу логики: не ставить сложных и запутанных предшествующими дискуссиями вопросов — является ли история наукой, достигается ли в ней научная объективность, способна ли история предсказывать будущее и т. п., — а подвергнуть логическому анализу то, что реально делают сами историки. Задача в том, пишет один из ведущих представителей этого направления Патрик Гардинер, чтобы попытаться «разграничить вопросы логического анализа и вопросы, связанные с оценкой: например, изучение понятий, обычно употребляемых историками, и способа их употребления явно отличается от вопроса, являются ли эти понятия наилучшими или наиболее плодотворными и не требует ли историческая терминология какого-то пересмотра, который мог бы привести, скажем, к большей точности»⁴.

Перенесение центра тяжести с общефилософской проблематики на логику имеет двоякие последствия. С одной стороны, изучение реальных исследовательских приемов и способов объяснения, применяемых историками, позволяет исследователям-философам сделать интересные наблюдения и поставить вопрос о природе исторического познания более конкретно, чем в том случае, когда специфика исторического метода просто дедуцируется из философских постулатов. Но, с другой стороны, этот подход скрадывает, делает менее ясной противоположность материализма и идеализма в философии истории, отнюдь не устраняя самой этой противоположности.

Логический анализ исторического исследования в принципе можно осуществлять с самых различных философских позиций. Однако исторически эта проблематика теснее всего связана с философией логического позитивизма, представители которого первыми попытались сконструировать логическую схему исторического объяснения. Эта схема, получившая (с легкой руки У. Дрэя) название «теории охватывающего закона» («covering law theory»), была разработана параллельно Карлом Поппером и Карлом Гемпелем и потому она часто называется схемой Поппера—Гемпеля.

⁴ Theories of History. Ed. with Introduction and Commentary by P. Gardiner. Glencoe (Illinois), 1959, p. 268.

Как справедливо заметил А. Донаган⁵, К. Поппер в своей «Логике исследования» (1935) не предлагает общей теории научного объяснения, ограничиваясь логическим анализом причинного объяснения какого-либо события. Это объяснение отвечает на вопросы типа: «Почему произошло событие Е?». Логическая структура такого объяснения, по мнению Поппера, принципиально одинакова в естественных и в общественных науках и сводится она к следующему.

В каждом причинном объяснении события обязательно имеются два элемента: во-первых, некий универсальный закон, во-вторых, описание специфических условий протекания данного процесса, которые можно назвать исходными условиями. Например, мы можем сказать, что дали причинное объяснение разрыва данной нитки, если мы нашли, что эта нитка могла выдержать тяжесть весом в один фунт, а к ней подвесили предмет весом в два фунта. Анализируя это причинное объяснение, мы обнаружим в нем следующие составные части: 1) известную гипотезу, имеющую характер универсального закона природы (в данном случае этот закон звучал бы примерно так: «Если известная нить подвергается растяжению, превышающему известное максимальное растяжение, характерное для этой определенной нити, то она порвется»); 2) некоторые специфические утверждения (исходные условия), описывающие интересующий нас особенный процесс (в данном случае мы можем получить два утверждения: «Характерная для этой нити минимальная нагрузка, при которой она может порваться, равняется одному фунту» и «Вес груза, подвешенного к этой нити, равнялся двум фунтам»).

Эти два различных вида суждений в своей совокупности дают нам полное причинное объяснение события. Из универсального закона (1) с помощью исходных условий (2) мы можем дедуцировать следующее специфическое заключение (3): «Эта нить порвется». Исходные условия (или, точнее, отраженная в них ситуация) обычно называются причиной события, о котором идет речь, а прогноз (или, скорее, событие, которое мы описываем как прогноз) называется следствием. Например, мы можем сказать, что подвешивание тяжести в два фунта к нити, способной выдержать только один фунт, явилось причиной разрыва нити⁶.

Теория Поппера является дедуктивной, поскольку она предусматривает, что *explanandum* (суждение о том, что подлежит объяснению) должно быть выведено, дедуцировано из *explanans*

⁵ См. A. Donagan. Historical Explanation: The Popper-Hempel Theory Reconsidered. — «History and Theory», 1964, vol. IV, № 1, p. 3.

⁶ См. K. R. Popper. The Open Society and Its Enemies, vol. II. Rev. ed. London, 1952, p. 262. Приведенное рассуждение воспроизводит концепцию, сформулированную Поппером в его книге «Logik der Forschung» (Wien, 1935, SS. 26—27).

(объясняющего суждения). Эта теория называется теорией охватывающего закона, поскольку она утверждает, что *explanans* должен содержать, помимо суждения об исходных условиях объясняемого события, «один или более универсальных законов». Эти законы должны быть «строго универсальными», т. е. они должны быть истинными для любого места и времени. В то же время они должны поддаваться эмпирической проверке на основе сформулированного Поппером «принципа фальсифицируемости»⁷.

Очень близка к этой концепции и точка зрения К. Гемпеля, впервые изложенная им в статье «Функция общих законов в истории» (1942). Всякое причинное объяснение события, по Гемпелю, предполагает, что 1) *explanandum* включается в класс однородных событий; 2) оно соотносится с каким-то общим законом, показывающим постоянную связь этого класса событий с другими классами событий, которые являются условиями совершения первых. В том случае, когда такой общей гипотезой является действительно всеобщий закон, объясняемое событие можно, зная его начальные условия, логически дедуцировать из этого закона. Но в истории мы чаще всего имеем дело с расплывчатыми и лишь подразумеваемыми «законами», заимствованными из обыденного сознания, или с тенденциями, говорящими только о вероятности (а не о необходимости) процесса. Поэтому, заключает Гемпель, история в большинстве случаев дает нам не строгое объяснение, в смысле возможности дедуцировать событие из универсальных законов, но нечто вроде «объяснительного эскиза (*sketch*)». «Такой эскиз состоит из более или менее расплывчатого указания на закон и начальные условия, которые рассматриваются как существенные, и чтобы превратить этот скетч в развернутое объяснение, необходимо его „наполнить“. Это наполнение требует дальнейшего эмпирического исследования, направление которого указывает эскиз»⁸.

Подробное изложение этой концепции дал Поппер в своих книгах «Нищета историзма» и «Открытое общество и его враги». Конечно, говорит Поппер, в историческом исследовании, как и во всяком другом, описание фактов уже предполагает наличие какой-то теоретической точки зрения, а объяснение невозможно без использования каких-то универсальных законов. Однако, подчеркивает он, «в физике „точка зрения“ обычно дается физической теорией, которую можно проверить путем открытия новых фактов»⁹. В истории же дело обстоит иначе. Законы, существо-

⁷ В данной статье мы не рассматриваем философские предпосылки концепции Поппера в целом. Это сделано в работах И. С. Нарского (см., в частности, его «Современный позитивизм», М., 1961), А. Ф. Бегиашвили, В. С. Швырева, Е. П. Никитина, В. Н. Садовского и др.

⁸ C. G. Hempel. The Function of General Laws in History. — In: Theories of History, p. 351.

⁹ K. R. Popper. The Open Society..., vol. II, p. 261.

вание которых историк молчаливо предполагает, настолько тривиальны, что сами по себе они не представляют практически никакого интереса и не могут внести определенную систему в предмет исследования. Когда, например, мы объясняем первый раздел Польши в 1772 г., указывая, что она не могла сопротивляться объединенным силам России, Пруссии и Австрии, мы молчаливо пользуемся неким универсальным законом, вроде следующего: «Если из двух армий, которые приблизительно одинаково хорошо вооружены и имеют равноценное командование, одна имеет подавляющее превосходство в людях, то другая не может победить»¹⁰. Этот «закон» является необходимым элементом причинного объяснения, но сам он настолько тривиален, что не может служить предметом специального изучения и не дает руководящей «точки зрения», с помощью которой историк мог бы отделить существенное от несущественного и т. д.

Между тем, продолжает Поппер, обойтись без такой «точки зрения», выражающей направленность его интересов, историк не может. Отсюда — различные «интерпретации» истории, в свете которых историческое развитие выступает то как продукт деятельности великих людей, то как результат экономических процессов, то как следствие изменений в религиозных чувствах. Но эти общие «интерпретации» принципиально отличны от научных теорий. Факты, которыми пользуется историк, ограничены и их нельзя воспроизвести по нашему желанию. К тому же, сами эти факты были собраны в соответствии с определенной предвзятой точкой зрения. И поскольку других фактов нет, — никакая историческая «интерпретация» не может быть эмпирически проверена и не может превратиться в научную теорию.

Правда, Поппер оговаривается, что не все исторические интерпретации одинаково ценны, что одни из них лучше объясняют факты, другие — хуже. Поэтому даже в области исторической интерпретации возможен «довольно значительный прогресс»¹¹. Но научной теории исторического развития, утверждает он, быть не может, и история всегда будет переписываться заново, поскольку каждое новое поколение ставит перед ней новые вопросы. Короче говоря, «не может быть истории прошлого, каким оно на самом деле было»; могут быть только разные исторические интерпретации, причем ни одна из них не является окончательной и каждое поколение имеет право создавать свою собственную интерпретацию¹².

Рассматриваемая просто как логическая схема, теория «охватывающего закона» имеет некоторые позитивные стороны. Она подчеркивает наличие внутренней связи между описанием и

¹⁰ K. R. Popper. The Open Society..., vol. II, p. 261.

¹¹ Там же, стр. 266.

¹² Там же, стр. 268.

объяснением, выявляет, что в любом, даже самом «индивидуальном» историческом объяснении имеются какие-то скрытые, имплицитные обобщения. Она привлекает внимание к изучению концептуального аппарата исторического мышления, к анализу тех обобщений, которыми, осознанно или неосознанно, пользуется историк. Особенностью этой схемы является и то, что историческое объяснение рассматривается в ней в свете общей логики научного объяснения, хотя выводы того же Поппера по отношению к истории оказываются скорее негативными.

Однако теория «охватывающего закона» — не просто логическая схема; она покоится на определенных философских предпосылках. Первым и коренным пороком схемы является ее феноменализм и субъективно-идеалистическое истолкование категорий, лежащих в основе научного объяснения. С логической стороны Поппер и Гемпель признают, что объяснить явление — значит раскрыть его причины или вывести его из какого-то общего закона. Но сами категории причины и закона они трактуют, вслед за Юмом, не как выражение необходимой связи, объективно существующей между явлениями, а как простые логические конструкции.

Феноменалистская трактовка понятия научного закона дополняется у теоретиков «охватывающего закона» упрощенным пониманием природы научных обобщений вообще. Феноменализм, лежащий в основе позитивистской философии науки, рассматривает мир как совокупность совершенно равноценных явлений. Поэтому, говоря о роли обобщения в историческом исследовании, неопозитивисты обычно имеют в виду не такое обобщение, до которого теоретическое мышление возвышается в результате раскрытия сущности изучаемого процесса, а лишь элементарное эмпирическое обобщение, осуществляемое путем сравнения различных предметов и явлений и выделения их сходных и различных признаков. Но такое эмпирическое обобщение, будучи необходимым, явно недостаточно для целей научного исследования. Уяснение общего в явлениях путем сравнения еще не говорит нам, насколько существенно это общее. Это общее может быть и совокупностью внешних признаков. Задача же науки состоит именно в выделении существенного, необходимого, в раскрытии внутренней структуры процесса. Это достигается не только установлением эмпирических зависимостей между наблюдаемыми фактами, но и образованием новых научных абстракций, которые не даны непосредственно в наблюдении и не являются простой комбинацией эмпирических данных. Эмпирическое обобщение статистических данных о колебаниях цен не подводит ученого само по себе к закону стоимости. Чтобы правильно оценить роль крестьянских восстаний в феодальную эпоху, историк должен иметь научно-теоретическое понятие феодализма. Для историка, который пользуется многозначными терминами, имеющими не только научное, но и донаучное значение, этот процесс формиро-

вания все более сложных абстракций не менее важен, чем для физика.

Останавливаясь на стадии простого эмпирического обобщения, не проникая в сущность явлений, ученый не может пойти дальше более или менее формальной классификации явлений, а это, в свою очередь, подкрепляет ходячие представления о «малой содержательности» исторических абстракций, на которой играют защитники «идиографизма». Не случайно сам Поппер, признавая неизбежность использования историком для объяснения фактов каких-то «охватывающих законов», вместе с тем подчеркивает, что с его точки зрения, «не может быть исторических законов. Обобщение просто принадлежит к другому кругу интересов, который должен быть строго отграничен от интереса к специфическим событиям и их причинному объяснению, составляющему дело истории»¹³. Это сближает его точку зрения с идиографизмом баденской школы немецкого неокантианства, и Поппер прямо ссылается в этой связи на Макса Вебера, видя у него «самое близкое предвосхищение» собственных взглядов¹⁴, хотя он и не согласен с веберовской концепцией причинности. Еще более характерно духовное родство Поппера с открытым иррационализмом Ф. фон Хайека. Поппер неоднократно ссылается на Хайека и даже подчеркивает, что без его помощи «Открытое общество и его враги» не появилось бы¹⁵.

Схема Поппера—Гемпеля подвергается критике в новейшей логической литературе также за свою методологическую узость. По духу первоначальных формулировок Поппера и Гемпеля, научное объяснение — это логическая дедукция особенного явления из общего закона с помощью единичных условий. На самом же деле, как правильно замечает Марио Бунге, «операция объяснения — это не простая операция извлечения элемента из данной совокупности; с эпистемологической точки зрения объяснение состоит не в простом установлении элемента класса, основные свойства которого непосредственно предстают перед нами; оно состоит скорее во *включении* данного объекта (факта или представления), в свой класс. А это есть *конструктивная*, синтетическая операция, требующая предварительной схематизации данного объекта, сравнения его с другими объектами и так далее»¹⁶. Не только в истории, но даже и в простейших явлениях природы единичное явление невозможно вывести во всем его многообразии из какого-либо общего закона. Каждое явление, каждый процесс имеет множество сторон и отношений, и чтобы объяснить его, нужно использовать не одни, а целую совокупность законов, каж-

¹³ К. Р. Поппер. The Open Society..., vol. I, p. 264.

¹⁴ См. там же, стр. 364.

¹⁵ См. там же, стр. XI.

¹⁶ М. Бунге. Причинность. М., 1962, стр. 328—329.

дый из которых объясняет лишь какую-то сторону изучаемого явления. В свою очередь, теоретические положения верифицируются не путем непосредственного соотнесения изолированного положения с эмпирическими данными, а в составе целостной теоретической системы.

Под влиянием критики Гемпель и сам вносит поправки в свою схему. Прежде всего, он ослабляет ее дедуктивный характер. В 1942 г. он требовал, чтобы универсальный закон действовал «в каждом случае» данного рода. Это фактически исключало применение при объяснении событий статистических законов. Теперь Гемпель отходит от этой позиции. В статье «Мотивы и охватывающие законы в историческом объяснении» (1962) он подразделяет объяснения на два рода: «дедуктивно-номологические» и «индуктивно-вероятностные». Оба рода «объясняют событие путем демонстрации того, что, учитывая некоторые особенные обстоятельства и общие законы, совершения этого события можно было ожидать (в чисто логическом смысле) либо с дедуктивной достоверностью, либо с индуктивной вероятностью»¹⁷. Но логическая природа этих объяснений различна. «В объяснениях дедуктивного, или „дедуктивно-номологического“, рода охватывающие законы все имеют строго универсальную форму; т. е., схематически говоря, они суть утверждения о том, что во *всех* случаях, где имеется некоторый комплекс условий *F*, появится событие или состояние рода *G*; в символическом обозначении: $(x) Fx \supset Gx$ »¹⁸. Напротив, в «индуктивно-вероятностном» объяснении охватывающий закон имеет статистическую природу. Поэтому здесь «подведение» объясняемого суждения под «охватывающие законы» покоится не на дедуктивном выводе, а «на отношении индуктивного подтверждения между *объясняющим* (explanans) и *объясняемым* (explanandum) суждениями»¹⁹. Таким образом, то, что раньше Гемпель трактовал как исключение из правила, характеризующее главным образом историческое объяснение, теперь признается нормальным для «различных областей эмпирической науки»²⁰.

Это ослабление «экспликационного» ригоризма (так же, как в свое время неопозитивисты вынуждены были ослабить «верификационный» ригоризм), несомненно, означает шаг вперед, приближая схему Поппера—Гемпеля к реальным проблемам науки. Но при этом обнаруживаются новые трудности. Теория охватывающего закона, в своей первоначальной формулировке, претендовала на то, чтобы быть моделью причинного объяснения

¹⁷ C. G. Hempel. Reasons and Covering Laws in Historical Explanation. — In: Philosophy and History. A Symposium. Ed. by S. Hook. N. Y., 1963, p. 146.

¹⁸ Там же, стр. 144.

¹⁹ Там же, стр. 145.

²⁰ Там же, стр. 144.

событий. Но статистические законы, действующие в сфере массовых явлений, вполне совместимы как с совершением, так и с несовершением данного конкретного события; объясняя процесс, они не объясняют индивидуального события²¹.

Гемпель пытается выйти из этого затруднения путем еще более резкого разграничения логического и онтологического аспектов исследования. Как и Поппер, он утверждает, что «анализ объяснения в духе теории охватывающего закона не предполагает и не приводит к всеобщему детерминизму»²²; это — только тезис о логической структуре научного объяснения, ничего не говорящий о структуре самой реальности. В любом объяснении индивидуального события с помощью охватывающего закона, пишет Гемпель, соответствующее событие всегда характеризуется суждением, которое подлежит объяснению. Например, когда мы спрашиваем, почему данное газообразное тело увеличилось в объеме между 5.00 и 5.01 вечера *explanandum*, подлежащее объяснению событие, описывается в суждении «газообразное тело увеличилось в объеме между 5.00 и 5.01 вечера». Только это и может быть предметом объяснения. Однако очень часто, продолжает он, под «индивидуальным событием» подразумевается не определенное описывающее его суждение, а индивидуальное имя или некое целостное описание («Детский крестовый поход», «убийство Юлия Цезаря» и т. п.). Такого рода «конкретное событие», по Гемпелю, вообще невозможно объяснить; неясно даже, о каком объяснении идет речь, так как любое событие, понятое в этом смысле, имеет бесконечно много аспектов и поэтому его невозможно не то что объяснить, но даже полностью описать. Например, различные аспекты убийства Цезаря включают и тот факт, что оно было задумано Брутом и Кассием; и то, что Брут и его единомышленники-заговорщики занимали такие-то и такие-то политические позиции и имели такие-то и такие-то стремления; и то, что Цезарь получил такие-то и такие-то раны и т. д. до бесконечности. Очевидно, что полная характеристика, не говоря уже об объяснении, «конкретного события» в этом смысле невозможна. Индивидуальные события, принципиально объясняемые при помощи охватывающих законов, т. е. «события, которые можно описать в форме суждения, составляя, можно сказать, *аспекты конкретных событий или факты о них*»²³.

Само по себе это уточнение чрезвычайно ценно. Гемпель, в сущности, переводит на язык логики известную диалектическую мысль, что конкретная целостность индивидуального явления может быть выражена лишь через множество абстракций, каждая

²¹ См. W. Dray. The Historical Explanation of Actions Reconsidered. — In: Philosophy and History, p. 119.

²² C. G. Hempel. Reasons and Covering Laws... — In: Philosophy and History, p. 150.

²³ Там же.

из которых фиксирует ту или иную сторону изучаемого целого. Но Гемпель делает это лишь в негативной форме: утверждая невозможность непосредственного выражения в мысли конкретного явления, он подчеркивает необходимость перехода от конкретного к абстрактному. Следующий, синтетический этап, переход от абстрактного к конкретному, остается вне его поля зрения. Между тем эта сторона дела наиболее интересна для историка.

Хотя схема Поппера — Гемпеля, с теми или иными поправками, принята многими англо-американскими логиками и философами, близкими к неопозитивизму или натурализму, она подвергается все более острой критике. Во-первых, как мы уже видели, оспаривается ее ригоризм и претензия на универсальность. Во-вторых, подвергается сомнению ее применимость к практике именно исторического исследования, отличающегося своей несистематичностью. Как признает оксфордский философ П. Гардинер, в последние годы большинство философов «аналитического» направления подчеркивают специфические особенности истории, не пытаясь уложить историческое исследование в рамки общей логики научного познания, выработанной на материале естественных наук²⁴. Используя разработанные неопозитивизмом методы логико-лингвистического анализа, эти авторы в то же время отвергают тезис о тождестве логической природы исторического и естественнонаучного объяснения и реабилитируют многие положения и методы, отвергавшиеся их старшими коллегами.

Наиболее развернутую критику теории исторического объяснения Поппера — Гемпеля дал в своей книге «Законы и объяснение в истории» (1957) и последующих работах канадский философ Уильям Дрэй.

Дрэй указывает, что схема Поппера — Гемпеля не соответствует действительной структуре исторического объяснения. Когда Гардинер признает, что, кроме «объяснения через закон», возможно еще «объяснение через цель», то тем самым уже отвергается универсальность позитивистской схемы. Позитивисты рассматривают объяснение как формально-логическую процедуру, но в действительности оно является прагматическим и означает для разных людей в разное время совершенно разное. В исторических исследованиях встречаются самые разнообразные, с логической точки зрения, формы объяснений.

Имплицитные «охватывающие» законы, на которых пытаются основать историческое объяснение Поппер и Гемпель, не только тривиальны, но и крайне неопределенны. Историческое объяснение: «Людовик XIV умер непопулярным, так как он проводил политику, не отвечавшую национальным интересам Франции», опирается, по мнению позитивистов, на подразумеваемый «за-

²⁴ См. «Theories of History», p. 273.

кон», что «правители, игнорирующие интересы своих подданных, становятся непопулярными». Но ведь так бывает не всегда. Известно много случаев, когда политические деятели проводили самую антинародную политику, однако массы осознали это лишь много времени спустя после их смерти. Следовательно, чтобы «закон», выражающий связь между характером политики и степенью популярности правителя, действительно объяснял потерю популярности Людовиком XIV, этот «закон» должен быть конкретизирован, дополнен указаниями на специфические условия своей реализации. Но при этом он перестает быть универсальным суждением, все больше превращаясь в описание конкретного события. Короче говоря, получается, что «если предлагаемый закон (candidate law) уходит слишком далеко в общие места, он теряет свой методологический интерес; если же он спускается из стратосферы, становится возможно отрицать его, не меняя объяснения»²⁵. Таким образом, между постулируемым общим законом и историческим объяснением отсутствует необходимая логическая связь, и сторонник теории «охватывающего закона» оказывается перед дилеммой: «Если он ослабит связь между законом и объяснением, то закон, о котором говорится, что он дает силу объяснению, логически не требуется. Если же он ослабит самый закон, то становится спорным, действительно ли то, что требуется логикой, имеет объяснительную силу»²⁶.

Позитивисты считают, что событие можно считать объясненным только в том случае, если оно подведено под общее правило. Но чтобы понять, почему данный средневековый рыцарь был кривоногим, не требуется утверждать, что все рыцари были кривоногими. Равным образом, простое знание того, что все средневековые рыцари были кривоногими, не объясняет, почему были кривые ноги у сэра Брайана²⁷. Причинное объяснение отдельного события вполне возможно вообще без применения закона. «Грязь вызывает болезни» — причинное суждение. Но слово «грязь», само по себе ясное, не содержит в себе никакой теории²⁸. Вообще историка интересует не закон, не общие свойства класса явлений, а данное явление как таковое. «Он не спрашивает себя: «Что вообще причиняет явление типа Y?», он спрашивает: «В чем причина этого Y?», и спрашивает это относительно Y, находящегося в определенной ситуации»²⁹. Для историка простая констатация происшествия по форме «это было то-то и то-то» уже есть объяснение, даже если не вдаваться в вопросы «почему» и «как»³⁰.

²⁵ W. D r a y. *Laws and Explanation in History*. Oxford, 1957, p. 29.

²⁶ Там же, стр. 31—32.

²⁷ См. там же, стр. 62.

²⁸ См. там же, стр. 91.

²⁹ Там же, стр. 103—104.

³⁰ См. W. D r a y. «Explaining What» in History. — In: *Theories of History*, p. 403.

Вместо объяснения через «охватывающий закон» Дрэй, таким образом, предлагает объяснение отдельного события через «последовательную серию происшествий» («continuous series of happenings») ³¹. Но это фактически означает возврат к «индивидуализирующему методу» баденской школы неокантианства, хотя Дрэй не упоминает ни Риккерта, ни Макса Вебера. Вслед за тем, опираясь на Оукшотта и Коллингвуда, хотя и не солидаризируясь с ними целиком, он в значительной степени реабилитирует философско-исторический интуитивизм. Интуитивное «понимание» сознательных целей человеческих действий, подчеркивает Дрэй, не просто эвристический прием, как полагает Гемпель, его нельзя заменить никакой другой мыслительной операцией. В то же время оно не есть нечто отличное от эмпирического познания, поскольку оно основывается на изучении источников. Хотя интуиция историка не гарантирует правильности его выводов, «это не более, чем обычный риск эмпирического исследования» ³².

В противовес теории «охватывающего закона» Дрэй формулирует принцип «рационального объяснения» («rational explanation»), понимая под этим такое «объяснение, которое пытается установить связь между верованиями, мотивами и действиями указанного сорта» ³³. В качестве примера Дрэй анализирует, как объясняет Тревельян вторжение Вильгельма Оранского в Англию. Одним из условий успеха этого вторжения было то, что Людовик XIV летом 1688 г. ослабил военный нажим на Голландию, что было, по мнению Тревельяна, «величайшей ошибкой» короля. Почему же Людовик XIV сделал это? Французский король, отвечает историк, рассчитывал, что даже если Вильгельм высадится в Англии, там начнется длительная гражданская война, а тем временем Франция без помех завоюет Европу. Он был рад отвлечь голландцев, собираясь нанести удар по императору Леопольду в Германии и считая, что конфликт Якова и Вильгельма даст ему благоприятную возможность для этого. Таким образом, поведение Людовика, когда мы воспроизводим его расчеты, оказывается «не столь абсурдным, каким оно кажется после события». Это и есть историческое объяснение. «Фактически, разумеется, король, в некотором смысле, просчитался, и его действия, в некотором смысле, не соответствовали обстоятельствам. Но главная цель тревельяновского объяснительного отчета состоит в том, чтобы показать нам, что для человека в положении Людовика, с присущими ему целями и убеждениями, это действие соответствовало обстоятельствам, по крайней мере тому, как они воспринимались» ³⁴. И в этом объяснении не фигурируют и не

³¹ W. D r a y. *Laws and Explanation in History*, p. 66—72.

³² Там же, стр. 131.

³³ W. D r a y. *The Historical Explanation...* — In: *Philosophy and History*, p. 108.

³⁴ Там же, стр. 109.

подразумеваются никакие общие законы. Они не нужны, «ибо цель таких объяснений не в том, чтобы показать, что действующее лицо (агент) принадлежит к тому сорту людей, которые на самом деле всегда совершают действия, подобные тем, какие он совершил, находясь в обстоятельствах, в каких, по его разумению, он находился. Что требуется показать, так это то, что сделанное им было совершенно разумно с его собственной точки зрения»³⁵.

В сущности «рациональное объяснение» Дрэя — это то же самое, что Гардинер называет «объяснением через мотив». Применяется ли этот «тип объяснения» в практике исторического исследования? Несомненно. Поскольку история складывается из деятельности самосознательных индивидов, каждый из которых действует под влиянием известных мотивов, преследуя известные цели, историк не может игнорировать эту сторону дела. Зачем Бисмарк вводил свои исключительные законы? Он хотел подавить социал-демократическое движение. Почему Бонапарт поспешно вернулся из египетской экспедиции во Францию? Потому что он хотел разогнать Директорию и взять власть в свои руки. Объяснения подобного типа постоянно встречаются в исторических сочинениях, в том числе в марксистских, и они вполне правомерны. Но что является здесь объектом объяснения? Только осознанные мотивы и стремления исторических персонажей. Когда таким способом пытаются объяснить что-то большее, скажем, целостный исторический процесс или даже отдельное событие, этот способ объяснения оказывается недостаточным. Ссылка на властолюбие Бонапарта может быть достаточной для объяснения его поведения. Но чтобы объяснить 18 брюмера, этого уже мало. Тут нужно учитывать не только мотивы действующих лиц, но и объективную логику классовых отношений в данный момент.

Как писал Энгельс, «история делается таким образом, что конечный результат всегда получается от столкновений множества отдельных волей, причем каждая из этих волей становится тем, что она есть, опять-таки благодаря массе особых жизненных обстоятельств. Таким образом, имеется бесконечное количество перекрещивающихся сил, бесконечная группа параллелограммов сил, и из этого перекрещивания выходит одна равнодействующая — историческое событие. Этот результат можно опять-таки рассматривать как продукт одной силы, действующей как целое, *бессознательно* и безвольно. Ведь то, чего хочет один, встречает противодействие со стороны всякого другого, и в конечном результате появляется нечто такое, чего никто не хотел»³⁶.

Попытка распространить «объяснение через мотив» на более широкую сферу неизбежно порождает путаницу. Именно так происходит с Дрэем. Дрей отнюдь не считает, что «только индиви-

³⁵ W. D r a y. The Historical Explanation. . . — In: Philosophy and History, p. 109.

³⁶ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 37, стр. 395—396.

дуальные человеческие действия составляют предмет исторических объяснений в собственном смысле», он даже согласен, что «индивидуальные действия как таковые лежат ниже порога собственно исторического интереса; они включаются в историю лишь постольку, поскольку они имеют «общественное значение»³⁷. Дрэй отлично понимает, что нельзя объяснить сложное историческое событие непосредственно субъективными мотивами какого-либо одного человека. Однако, по его мнению, сложное событие можно объяснить сочетанием рациональных стремлений множества участвовавших в нем индивидов. Так, например, «историческое объяснение распространения европейской цивилизации на Америку... будет включать в себя подробное исследование, главным образом, в рациональных терминах (*in rational terms*), действий и мотивов бесчисленных индивидов и групп: французских иезуитов и английских пуритан, Колумба, Кольбера, Рэли и Филиппа II, торговцев пушиной, исследователей, золотоискателей, изголодавшихся по земле крестьян и множества других». Все это вместе и даст объяснение целостного явления. Что же касается объяснения того же явления с помощью «теорий исторического процесса», то, по словам Дрэя, «это было бы нехарактерно для обычной историографии. И я не вижу причины клеймить более характерное явление как менее «глубокое»³⁸.

Что можно сказать о таком рассуждении? Во-первых, если ставить объяснение большого исторического события в зависимость от понимания нами сознательных целей всех или хотя бы большинства его участников, то нельзя не прийти к довольно пессимистическим выводам о познаваемости исторического прошлого, поскольку этих участников было очень много и о мотивах многих из них мы можем только догадываться. Во-вторых, даже исчерпывающее знание целей и стремлений исторических деятелей не объясняет нам, почему одни из них восторжествовали, а другие потерпели поражение и чем обусловлен конечный результат, который, как правило, не совпадает ни с одним индивидуальным планом. В-третьих, надлежит выяснить, чем были обусловлены сами эти цели, стремления и т. п. Сделать все это можно только на основе какой-то «теории исторического процесса», которая за морем случайного и единичного видит определенную закономерность.

Характерно, что эту слабость позиции Дрэя отмечают даже некоторые американские историки, которым его концепция в общем весьма импонирует. Так, Л. Кригер положительно оценивает как мысль Дрэя о том, что историческое объяснение имеет дело не с общим, а с особенным, так и его откровенный плюра-

³⁷ W. Dray. The Historical Explanation... — In: Philosophy and History, p. 105—106.

³⁸ W. Dray. Laws and Explanation in History, p. 142.

лизм. Это соответствует традиционной практике историков, и они должны быть благодарны Дрэю за то, что он «делает наши пристрастия философски респектабельными»³⁹. Но Кригер тут же отмечает, что «даже в сфере индивидуальных действий теория Дрэя имеет сегодня ограниченную применимость», так как слишком многие исторические явления невозможно объяснить сознательными стремлениями действующих лиц: «я приветствовал бы теорию иррационального объяснения»⁴⁰. «История, — вторит ему Р. Абельсон, — не может интересоваться *исключительно* нахождением мотивов действий, потому что (а) не все рациональные действия исторически значительны и не все исторически значительные действия рациональны и (б) часть процесса нахождения мотивов предполагает соображения другого порядка, включая те, которые подчеркивал профессор Гемпель»⁴¹. «Главный субъект истории, — замечает А. Гофштадтер, — это не индивидуальное историческое существо — человеческий индивид, — а сверхиндивидуальная группа, с ее ассоциациями, учреждениями и практикой»⁴². Но если история становится историей социальных групп, учреждений, процессов, то и историческое объяснение не сводится к разгадке мотивов индивидуальных поступков. Б. Мазлиш, в целом высоко оценивающий работы Дрэя, отмечает вместе с тем, что Дрэй фактически игнорирует социальную историю и, занимаясь объяснением индивидуальных действий, выпускает из поля зрения самый сложный, с точки зрения историка, предмет — «ненамеренные следствия». «А это, разумеется, составляет реальное место переплетения действий всех дрэевских различных индивидуальных агентов»⁴³.

С этими замечаниями нельзя не согласиться. Не вполне ясно и само понятие «рациональности» действия у Дрэя. Вопрос стоит так: объяснить действие — значит понять его рациональность. Но действие, рациональное с точки зрения агента, может казаться иррациональным наблюдателю, историку, и наоборот. Чью точку зрения предпочесть? Если рациональность действия определяет историк, то неизбежна модернизация прошлого, подсовывание историческим деятелям современных соображений и т. п. Дрэй отмежевывается от подобной оценочной интерпретации. Признание «рациональности» того или иного поступка вовсе не означает, что историк одобряет этот поступок или считает такое поведение вообще нормальным. Это значит лишь, что данный человек в данных обстоятельствах мог поступить подобным образом, что

³⁹ L. Krieger. Comments on Historical Explanation. — In: Philosophy and History, p. 137.

⁴⁰ Там же, стр. 138.

⁴¹ R. Abelson. Cause and Reason in History. — Там же, стр. 169.

⁴² A. Hofstadter. Philosophy in History. — Там же, стр. 231.

⁴³ B. Mazlish. On Rational Explanation in History. — Там же, стр. 281.

с его точки зрения (с точки зрения действующего лица) такое поведение было логично. Но тогда встает вопрос: откуда историк знает подлинные мотивы и соображения своего героя? По-видимому, он реконструирует ход его мыслей, подобно сыщику, ставящему себя на место разыскиваемого преступника (разумеется, с учетом всех фактов, известных о преступлении). Но такая реконструкция обязательно предполагает некоторые (эксплицитные или имплицитные) обобщения о том, что вообще было бы рационально делать в условиях, подобных описываемым. Как пишет Гемпель ⁴⁴, схема дрезевского «рационального объяснения» того, почему агент *A* сделал *X*, может быть выражена так:

Агент *A* был в ситуации типа *C*.

В ситуации типа *C* целесообразно делать *X*.

Следовательно, агент *A* сделал *X*.

Но эта модель неполна. Explanans, сформулированный таким образом, дает определенные основания для утверждения, что наиболее подходящим действием для *A* в данных обстоятельствах было бы *X*. Но из него не вытекает, что *A* действительно сделал *X*. Чтобы оправдать последнее утверждение, нужно дополнить explanans предположением, что в тот момент *A* был рациональным агентом и потому был склонен сделать то, что подходило к данной ситуации. Теперь схема выглядит так:

Агент *A* был в ситуации типа *C*.

A был в это время рациональным агентом.

Всякий рациональный агент, будучи в ситуации типа *C*, обязательно (или с высокой степенью вероятности) сделает *X*.

Следовательно, *A* сделал *X*.

Теперь объяснение действительно дано. Но при этом оценочный принцип действия Дрэя заменен дескриптивным принципом, устанавливающим, что именно рациональные агенты делают в ситуациях типа *C*. Т. е. мы снова получаем объяснение через «охватывающий закон».

Но, как убедительно показывает А. Донаган ⁴⁵, эта схема тоже не выдерживает критики. Во-первых, как это понимает и сам Гемпель, не существует абсолютного критерия рациональности, который бы однозначно указывал на некий единственно правильный образ действий. Во-вторых, как бы ни понимать слово «рациональный», его невозможно применить ко всем историческим агентам. Еще Поппер настаивал, что «метод применения ситуационной логики ... не базируется ни на каком психологическом предположе-

⁴⁴ См. C. G. Hempel. Reasons and Covering Laws... — In: Philosophy and History, p. 154—156.

⁴⁵ См. A. Donagan. Historical Explanation: the Popper-Hempel Theory Reconsidered. — «History and Theory», 1964, vol. IV, № 1, p. 23—24.

нии относительно рациональности (или чего-то еще) человеческой природы»⁴⁶. Следовательно, если объяснять событие в терминах его специфической ситуации, не следует пытаться универсализировать ее условия.

Предположим, говорит Донаган, что историк объясняет решение Брута примкнуть к заговору Кассия тем, что Брут решил любой ценой сохранить Республику и считал, что логика ситуации была такова, что только его присоединение к Кассию могло спасти Республику. С точки зрения теории «охватывающего закона», это объяснение предполагает закон: «Все люди, которые решили добиться некоторой цели любой ценой и которые считают, что эта цель может быть достигнута только с помощью определенного действия, совершат это действие». Но этот «закон» в действительности есть лишь аналитическая истина, он не может быть эмпирически проверен. Ибо если человек воздержался от некоторого действия, которое, по его мнению, необходимо для достижения известной цели, отсюда немедленно следует, что он не готов был достигать эту цель любой ценой. Возможно, он так однажды решил, но потом утратил эту решимость. Из суждения: «Брут решил любой ценой сохранить Республику» непосредственно вытекает специфическая гипотеза: «Если Брут считал, что для сохранения Республики необходимо совершить некоторое действие, он совершил бы это действие». Из этого гипотетического суждения, в сочетании с суждением, констатирующим начальное условие («Брут считал, что для сохранения Республики ему необходимо примкнуть к заговору Кассия»), можно дедуцировать *explanandum*: «Брут примкнул к заговору Кассия».

Логическая схема этого объяснения выглядит следующим образом:

А решил достичь цели *E* любой ценой.
А считал, что находится в ситуации *C*.
А считал, что *E* может быть достигнута в *C*,
только если он совершит *X*.

Следовательно, А сделал *X*.

Это не предполагает, что решение *A* или его суждение были «разумны»; мысли *A* здесь вообще не оцениваются. Единственное, что требуется, это чтобы действия *A* были *понятны*. Но это совсем другой вопрос⁴⁷.

Споры о логической структуре исторического объяснения продолжают и вряд ли близки к завершению. Многообразие форм историографии рождает и большое многообразие объяснительных приемов, которые невозможно свести к единой логической схеме. К тому же, за логическими схемами скрываются

⁴⁶ K. R. Popper. The Open Society..., vol. II, p. 97.

⁴⁷ См. A. Donagan. Указ. соч. — «History and Theory», 1964, vol. IV, № 1, p. 24.

старые философские проблемы. Любопытна уже сама эволюция логико-аналитической проблематики.

Схема Поппера — Гемпеля базировалась на неопозитивистской идее единства научного знания и рассматривала логико-методологические проблемы науки в отрыве от ее предметного содержания. Но теорию исторического исследования нельзя построить в отрыве от теории исторического развития. Поппер говорит о законе как необходимом логическом элементе исторического объяснения, но он категорически отрицает существование объективных законов общественного развития. Это приводит его к конвенционализму, релятивизму и отрицанию возможности создать научную теорию исторического процесса. Но если в историческом процессе нет объективных законов, если научное обобщение исторического опыта невозможно, то история как наука сводится практически к воспроизведению и объяснению отдельных единичных событий, рассматриваемых в их случайности и единичности. А такое объяснение может быть и прагматическим, не нуждаясь в общих законах. Гардинер поэтому сужает сферу «причинного объяснения» (понимаемого в духе теории Поппера) и подчеркивает самостоятельное значение «объяснения через мотив». Следующие авторы, в частности Дрэй, идут еще дальше, вовсе отбрасывая теорию «имплицитного закона». Собственно говоря, Дрэй заимствует у позитивистов только самый метод логического анализа, по содержанию же теория является скорее логическим эквивалентом откровенно идеалистических концепций исторического познания (неокантианского идиографизма, дильтеевского «понимания» и т. п.).

М. Мандельбаум⁴⁸ подразделяет всех участников дискуссии о природе исторического объяснения на три группы: 1) «идеалисты» (Риккерт, Дильтей, Кроче, Коллингвуд, Оукшотт и другие) утверждают, что историческая наука радикально отлична от естествознания и не может иметь общей с ним методологии; 2) теоретики «охватывающего закона» (Поппер, Гемпель, Гардинер и другие), наоборот, исходят из принципа единства научного знания и считают, что с логической стороны история подчинена тем же требованиям, что и естественные науки; 3) «реакционисты» (Дрэй, Донаган, Ноуэл-Смит, Берлин и другие) оспаривают этот тезис и доказывают логико-методологическую специфику исторической науки. Возникает вопрос, в какой мере позиция «реакционистов» совпадает с позицией «идеалистов».

И Мандельбаум, и японский философ Сиро Кояма⁴⁹ считают, что отождествлять эти две позиции не следует. Хотя взгляды Дрэя, Донагана и других кажутся близкими взглядам Коллинг-

⁴⁸ См. M. Mandelbaum. *Historical Explanation: The Problem of «Covering Laws»*. — «History and Theory», 1961, vol. I, № 3.

⁴⁹ См. Shiro Koyama. *On the Logic of Historical Explanation*. — «Tetsugaku», № 46, February 1965; ed. by Mita Philosophy Society, Keio University, Tokyo (на японском языке, с английским резюме).

вуда или Кроче, их исходный пункт существенно иной. «Исходный пункт реакционистов характеризуется их тезисом, что надлежащий анализ исторического объяснения должен соответствовать суждениям, которые действительно высказывают историки, давая то, что они считают объяснениями особенных происшествий. Идеалисты, конечно, не ставят перед собой такой задачи, и идеалистические описания исторического объяснения не соответствовали бы этому критерию адекватности. Далее, реакционисты не принимают общих аргументов, при помощи которых идеалисты атаковали неидеалистические теории, и в своих частых спорах о Коллингвуде они отвергали или радикально переосмысливали его более общие метафизические и эпистемологические положения»⁵⁰. По мнению Мандельбаума, идейные истоки «реакционистов» лежат не в идеалистической философии истории, а в «новейшей ветви аналитической философии, которую можно назвать анализом обыденного языка и которую следует отличать от ориентированной на науку формы анализа, представленной теоретиками «охватывающего закона»»⁵¹. По словам Кояма, «реакционисты» и теоретики «охватывающего закона» могут даже рассматриваться как дополняющие друг друга, ибо, хотя они отправляются от различных уровней анализа, но стремятся к одной и той же цели.

Если рассматривать этот вопрос только в плоскости логики исторического объяснения, то эти замечания совершенно справедливы. Речь идет о различной интерпретации исторического языка и, может быть, о разном понимании самого слова «объяснение». Дрэй сам признает, что «рациональное объяснение» не исключает логически объяснения через «охватывающий закон»: «два вида объяснений лучше рассматривать как принадлежащие к различным логическим и концептуальным системам, внутри которых выражаются и разрешаются различные виды трудностей»⁵².

Хотя «реакционисты» редко выходят за рамки специально-логических проблем, их теория базируется на более общих философских постулатах. Дрэй прямо пишет, что он не хотел бы «ограничивать задачу философа простым *описанием* того, что делают историки... Мы ожидаем от философа «рациональной реконструкции», которая не может в каждом случае точно совпадать с тем, что делает в своей практике историк»⁵³. Это предполагает наличие некой идеальной модели исторического объяснения, а она, в свою очередь, предполагает определенную концепцию исторической науки и природы исторического процесса.

⁵⁰ M. Mandelbaum. Указ. соч. — «History and Theory», vol. I, 1961, N 3, p. 229—230.

⁵¹ Там же, стр. 230.

⁵² W. Dray. The Historical Explanation... — In: Philosophy and History, p. 131.

⁵³ Там же, стр. 107.

В отличие от некоторых своих коллег, Дрэй ясно понимает это и связывает свою логическую позицию с более широкими философскими вопросами. Он подчеркивает, во-первых, «связь между принятием рациональной модели объяснения и приверженностью к волюнтаристской (libertarian) метафизической позиции» и, во-вторых, «связь между стремлением к рациональным объяснениям и определенным взглядом на природу и цель исторического исследования»⁵⁴.

В качестве исследователя логики науки Дрэй абстрагируется от метафизических постулатов и выводит свою модель исторического объяснения из анализа повседневного языка историков. Но как философ он стоит на позициях волюнтаризма и рассматривает свою логическую модель как его подкрепление: «Она указывает путь, которым можно дать в истории объяснение, логически *совместимое* с индетерминизмом в рассмотрении человеческих действий»⁵⁵.

Сторонник «охватывающего закона» может признать его неполную применимость в истории; но для него это будет свидетельством «неполноценности» исторической науки. Дрэй ставит вопрос принципиально иначе: дело не в том, что схема Поппера — Гемпеля не везде применима или что исторические обобщения слишком расплывчаты, а в том, что история по природе своей не терпит детерминизма. Ценность истории не в возможных обобщениях, а в истолковании человеческих действий «с позиции действующего лица», «как сказал бы Р. Дж. Коллингвуд, *изнутри*»⁵⁶. «Мы должны особенно твердо помнить, что история есть не только (возможно) ветвь науки об обществе, но и также (действительно) ветвь гуманистики. Мое главное возражение против принятия доктрины охватывающего закона в истории состоит не в трудности ее применения, будь то в полностью дедуктивной или же в расчлененной форме. Важнее то, что она ставит род *концептуальной преграды* гуманистически ориентированной историографии»⁵⁷.

Таким образом, логическая дискуссия явно перерастает в обсуждение вопроса о задачах исторической науки в целом. Некоторые сторонники Дрэя идут еще дальше, чем он сам. К. Нильсен, отталкиваясь от идеи, что объяснить действие лица — значит понять его осознанные мотивы, предлагает, для усиления позиции Дрэя, отказаться от поисков причин. Объяснить событие — не обязательно значит указать его причины. «В сущности, объяснить действие — значит осмыслить его, сделать его понятным»⁵⁸. Цель

⁵⁴ W. Dray. The Historical Explanation... — In: Philosophy and History, p. 131.

⁵⁵ Там же.

⁵⁶ Там же, стр. 133.

⁵⁷ Там же. См. также W. Dray. Philosophy of History. N. Y., 1964.

⁵⁸ K. Nielsen. Rational Explanations in History. — In: Philosophy and History, p. 317.

рационального объяснения — «показать не то, что специфическое действие *должно было* совершиться или даже что оно *совершится в будущем*, а только то, что специфическое действие было *соответствующим*, учитывая цели, верования и установки специфического агента в данное время»⁵⁹.

Это движение мысли весьма характерно. Дильтей пытался разграничить интуитивное понимание внутреннего мира субъекта и причинное объяснение явления в терминах внешних обстоятельств. Теоретики «охватывающего закона», утверждая единство научного познания, стерли это разграничение. Гардинер, учитывая трудности гуманитарного познания, восстановил этот дуализм в форме разграничения причинного объяснения и объяснения через мотив (в терминах цели). Защитники «рационального объяснения», не удовлетворившись этим, признали, что раскрытие осознанных целей агента и есть причинное объяснение действия. Теперь Нильсен идет еще дальше: стирая качественное различие между причинным объяснением действия и пониманием мотивов действующего лица, он вообще сводит первое ко второму. А отсюда вытекает, что «мы не можем обрести какой-либо достоверности в наших объяснениях человеческих действий»⁶⁰. Субъективистская концепция исторического объяснения влечет за собой отказ от понятия объективной истины; любая субъективная точка зрения становится теперь одинаково правомерной.

Итак, теория охватывающего закона Поппера—Гемпеля противоречит практике эмпирической историографии, а схема «рационального объяснения» явно ведет к субъективизму. Где же выход из этого положения? Некоторые историки полагают, что обе описанные модели объяснения односторонни и могут дополнять друг друга. Историк, пишет Л. Кригер, пользуется самыми разнообразными логическими приемами, включая и охватывающие законы, и эмпирические обобщения, и «нормативные» обобщения, и «рациональное» объяснение. «Но он использует их как вопросы, а не как каноны»⁶¹. То же самое утверждают К. Деглер⁶² и Б. Мазлиш⁶³. Но какой именно способ и где является наиболее применимым, а где — менее, историки не говорят. Между тем вопрос этот весьма важен.

Анализ языка исторических сочинений с точки зрения формальной логики не может заменить собой диалектический анализ исторической действительности. То, что «лингвистические философы» за проблемами языка исторических сочинений большей

⁵⁹ K. Nielsen. Rational Explanations in History. — In: Philosophy and History, p. 317.

⁶⁰ Там же, стр. 321.

⁶¹ L. Krieger. Comments on Historical Explanation. — In: Philosophy and History, p. 140.

⁶² Там же, стр. 211.

⁶³ Там же, стр. 283—284.

частью не видят проблем исторической действительности, мешает им правильно решить даже поставленные ими самими вопросы. В рецензии на составленный Гардинером сборник «Теории истории» Ганс Мейерхоф совершенно правильно заметил, что «допущение, согласно которому язык истории можно анализировать в отрыве от исторической действительности», само является метафизическим и не выдерживает критики⁶⁴. «Логическая» структура языка и формы исторического объяснения сами глубоко историчны. Если в XVIII в. историю писали иначе, чем сейчас, то это объясняется особенностями исторического развития. В зависимости от характера запросов данного общества, класса меняется предмет исследования, а также смысл употребляемых понятий и форм исторического объяснения. Следовательно, нельзя не только подменять исторические проблемы логико-лингвистическими, но и решать вторые независимо от первых. Иначе «философия становится совершенно незначительным делом. Она кажется почти что игрой, в которую играют для развлечения члены одного весьма закрытого клуба, куда посторонние не допускаются просто потому, что говорят на другом языке»⁶⁵.

Философия, пишет Пьетро Росси, не претендует больше на то, чтобы дать историческому исследованию какой-то образец и абсолютную гарантию надежности, но занимается «изучением правил, присущих историографической работе, т. е. либо анализом характерной для исторического исследования объяснительной процедуры, либо анализом характерных особенностей историографического языка»⁶⁶. Как справедливо заметил другой итальянский философ, Паоло Росси, по поводу концепции Гардинера, логико-семантический подход «рискует превратить возможность сотрудничества между историком и методологом в пассивную регистрацию последним языковых выражений, употребляемых историком»⁶⁷. И, кстати, это вовсе не гарантирует вожделенной философской «нейтральности». Отказываясь формулировать теоретическую (и в этом смысле идеальную) концепцию истории, философ тем самым перекладывает эту ответственность на историка, ограничивая свою роль описанием и логическим анализом деятельности последнего. Но историки пишут по-разному, это зависит как от предмета исследования, так и от методологических установок ученого. Выбирая «типичного» историка, философ фактически предопределяет этим свои будущие выводы.

⁶⁴ «History and Theory», vol. I, 1960, № 1, p. 96.

⁶⁵ Там же. Cp. L. A. Belford. Observations on History. — In: Philosophy and History, p. 190.

⁶⁶ P. Rossi. Storia e storicismo nella filosofia contemporanea. Milano. 1960, p. 485.

⁶⁷ Paolo Rossi. La natura della spiegazione storiografica nel pensiero di P. Gardiner. — «Rivista critica di storia della filosofia», an. X, fasc. 2, marzo—aprile 1955, p. 179.

Дрэй, например, опирается преимущественно на опыт известных английских историков Г. Баттерфилда и Д. Тревелльяна. Но эти историки и не скрывают своих идеалистических взглядов. Заранее ясно, что «логический анализ» их трудов приведет к выводу, что в «историческом объяснении» преобладают ссылки на индивидуальные обстоятельства и идейные влияния, а не на «объективные законы». Но этот анализ будет справедлив только для историков этого направления. Из него нельзя вывести общие нормы исторической логики. Между тем Дрэй рассматривает это течение как наиболее типичное. «Предписание» прячется, таким образом, за псевдообъективным «описанием».

Логические типы исторического объяснения действительно весьма многообразны. Кроме объяснения через «охватывающий закон», о котором говорят Поппер и Гемпель, и «рационального объяснения», о котором пишет Дрэй, есть еще целый ряд объяснительных приемов: аналогия, причинное объяснение без отсылки к общему закону, функциональное объяснение и т. п. Однако они далеко не равноценны. Разные виды объяснений соответствуют различным сторонам изучаемых процессов и потому имеют разный «удельный вес». Как объясняет историк тот или иной процесс, зависит прежде всего от того, что именно он хочет объяснить.

Возьмем древнейшую и элементарнейшую форму исторического объяснения — объяснение через мотив («рациональное объяснение», по Дрэю). Объяснения этого типа необходимы историку для уяснения индивидуальных действий и поступков исторических деятелей, участников изучаемых событий. Цель такого объяснения — «установить мотив (или мотивы), почему некий данный индивид x более или менее намеренно решил действовать в духе y при обстоятельствах z »⁶⁸. Это объяснение, как мы уже видели, не является дедуктивным и не содержит в себе ссылок на какие-либо законы. Однако оно не является и просто интуитивным. Как замечает Э. Нагель⁶⁹, объяснение через мотив предполагает совмещение по крайней мере трех групп мотивов. Во-первых, это соображения относительно возможных способов действия в данных конкретных условиях (какие возможности действия объективно существовали для данного лица в данной конкретной ситуации). Во-вторых, индивидуальные особенности действующего лица, влияющие на характер его решения (смелость или, напротив, нерешительность). В-третьих, сопутствующие действию обстоятельства, оказывающие давление на агента в направлении той или другой альтернативы (например, советы окружающих и их влияние). Совмещение всех этих моментов чрезвычайно трудно, и объяснение индивидуальных действий не-

⁶⁸ E. Nagel. The Structure of Science. Problems in the Logic of Scientific Explanation. N. Y., 1961, p. 553.

⁶⁹ См. там же, стр. 554.

избежно является только вероятностным. Историки, как правило, указывают лишь на некоторые необходимые условия совершения объясняемых событий, но не могут назвать их достаточных условий⁷⁰.

Объяснение через мотив не идет дальше индивидуальных действий, оно явно недостаточно для объяснения целостных исторических событий и процессов. Но сама неполнота его толкает историка на новые поиски, выходящие за рамки непосредственных связей между индивидами; ведь даже установление мотивов индивидуального поведения требует изучения более общей ситуации. Это предполагает, что явление рассматривается не изолированно, а в контексте определенной социальной системы и исторической эпохи.

На первый план при этом выступает функциональный анализ, позволяющий выяснить устойчивую связь, существующую между различными элементами изучаемой системы и ее структурой. Функциональное объяснение отвечает на вопрос, для чего, ради чего существует объясняемое явление, какую функцию оно выполняет в рамках данной системы. С функциональным анализом историк сталкивается всюду, где речь идет о взаимодействии явлений и элементов в рамках некоего социального целого, будет ли то проблема соотношения внеэкономического принуждения и феодальной собственности на землю или вопрос о роли религиозных идей в ранних буржуазных революциях.

Однако и это объяснение является неполным, частичным. Функциональное объяснение показывает взаимосвязь определенного социального целого и его элементов, но из него невозможно вывести линию исторического развития с присущими ей зигзагами и случайностями. Функциональный анализ вскрывает взаимодействие явлений, но он оставляет в тени их динамические причинные связи. Различные явления рассматриваются как функциональные по отношению к некоторой системе, но сама эта система берется как нечто данное, неизменное.

Поскольку история предполагает воспроизведение процесса развития, естественно, что наиболее характерным способом исторического объяснения является генетическое объяснение. Задача генетического объяснения состоит в том, чтобы выяснить последовательность главных событий, благодаря которой более ранняя система превратилась в позднейшую. «Генетическое объяснение особенного события или состояния дел c_t , совершающегося во время t , показывает c_t как результат ряда происшествий, исходным пунктом которого является некое происшествие или состояние дел c_0 , которое существовало прежде c_t . Соответственно объяснение включает указание на ряд событий $c_0, c_1, \dots, c_t, c_k, c_k', c_k'', \dots, c_t$. Некоторые из этих событий могли возникнуть

⁷⁰ См. там же, стр. 559.

более или менее одновременно (они обозначены буквами с одними и теми же индексами внизу, но с различными вторичными индексами) и обладать частично совпадающими длительностями; но большинство их возникло в разные времена. Кроме того, предполагается, что событие будет упомянуто в ряду только в том случае, если оно является необходимым условием для совершения какого-то позднейшего события в ряду»⁷¹.

Процесс выяснения происхождения, генезиса данного конкретного события или явления не может, естественно, свестись к указанию законов, которые всегда имеют место при совершении событий или явлений данного типа. Ссылка на закон неравномерности экономического и политического развития в эпоху империализма недостаточна для того, чтобы объяснить, почему первая мировая война разразилась именно в августе 1914 г. и почему соотношение сил враждующих лагерей было таким, а не иным. Чтобы объяснить это, нужно воспроизвести всю совокупность предшествовавших событию условий, включить его в определенный целостный комплекс. Этот способ объяснения Риккерт назвал методом «включения», в противоположность методу «подчинения», подведения единичного факта под общий закон, характерному для теоретических наук. Кажущаяся простота этого метода не раз вводила в заблуждение как историков, так и философов. Поскольку, на первый взгляд, причинное объяснение в истории — это объяснение единичного события индивидуальным же комплексом условий, Риккерт, а вслед за ним многие другие буржуазные философы и историки утверждают, что это объяснение вообще обходится без теоретических предпосылок и научных законов, что здесь действует «индивидуальная причинность». Но это представление глубоко ошибочно.

Прежде всего, если абстрагироваться от необходимых, закономерных связей, цементирующих разрозненные исторические явления в определенные комплексы, то историк не может определить, какие именно предшествующие явления он должен привлечь для объяснения интересующего его процесса. Любое событие связано с огромным множеством антецедентов и сопутствующих явлений. Спрашивается, как выделить при этом главные, решающие моменты из множества других условий, от которых зависели лишь побочные, второстепенные черты объясняемого события? Теория «индивидуальной причинности» неизбежно приводит к скептицизму уже в силу того, что цепь причинно-следственных связей уходит в бесконечность.

«Включения» данного события или явления в более общий, но столь же индивидуальный комплекс может быть достаточно для объяснения отдельного события или эпизода с четко очерченными границами. Но историческое исследование не ограничи-

⁷¹ E. N a g e l. Указ. соч., стр. 567—568.

вается описанием отдельных эпизодов, оно стремится к воспроизведению самого процесса развития. Это гораздо более сложная задача, которая невыполнима без целого ряда теоретических предпосылок. Эту сторону дела хорошо показывает Б. А. Грушин.

Что значит воспроизвести историю объекта как системы? Это значит, во-первых, что объект воспроизводится не в отдельных своих составляющих, а как целостная система, обладающая определенной структурой. Во-вторых, в историческом исследовании воспроизводится процесс, т. е. вся совокупность исторических связей, существующих между расположенными последовательно во времени и внешне не связанными друг с другом составляющими объекта. В-третьих, воспроизводится не просто изменение объекта во времени, а процесс развития объекта, т. е. процесс качественных изменений, изменений в структуре системы в целом. В-четвертых, воспроизводится закономерный процесс, поэтому историк должен раскрыть и воспроизвести не только ряд качественно различных исторических состояний объекта, но и сами законы перехода от одного исторического состояния к другому⁷².

Так, например, нельзя написать историю капиталистического общества, изучая изолированно его производительные силы, технику, свойственные ему отношения собственности, классовую структуру и идеологию. Хотя все эти явления обладают относительной самостоятельностью, они являются элементами капитализма как социальной системы, и понять их можно только в их внутренней связи. Эта взаимосвязь исторического комплекса явлений отражается в понятии общественно-экономической формации.

Далее. Капитализм не только включает в себя множество различных элементов, но и предстает как ряд качественно различных исторических состояний. Государственно-монополистический капитализм существенно отличается от капитализма домонополистического, зрелый капитализм — от капитализма эпохи первоначального накопления. Задача историка состоит в том, чтобы воспроизвести эти исторические состояния не как отдельные, самостоятельные явления, а как специфические стадии развития капитализма, вырастающие одна из другой и генетически взаимосвязанные. Только в этом случае мы получим картину процесса, а не просто описание отдельных его моментов. Разница здесь та же, что между кинофильмом и серией фотографий. Кинофильм состоит из отдельных кадров, каждый из которых, как и фотография, фиксирует отдельный момент; но фильм показывает и са-

⁷² См. Б. А. Грушин. Очерки логики исторического исследования. М., 1961, стр. 18.

мый переход из одного состояния к другому, чего нельзя достичь с помощью фотографии.

Далее. Капитализм, как и любое другое явление, непрерывно изменяется. Но эти изменения неравноценны. Одни из них носят количественный, другие — качественный характер. Историк, который видит только частности, вообще не замечает рождения нового. Вопреки утверждениям ряда современных буржуазных социологов и историков, пытающихся заменить понятия исторического развития и прогресса понятием «социального изменения», развитие и изменение — не одно и то же. «Изменение» — это наиболее абстрактная, всеобщая категория, фиксирующая то общее, что присуще любому процессу: наличие различий в одном и том же объекте, взятом в двух различных во времени точках. Напротив, развитие характеризует закономерное, спонтанное и целостное изменение в состоянии системы, изменение во внутренней структуре объекта. Это не просто количественное изменение, а изменение качественное. Именно на этих качественных гранях покоится научная периодизация истории.

Но если развитие — закономерный процесс, историк не может воспроизвести его, не раскрыв сами законы, управляющие этим процессом и определяющие характер перехода от одного исторического состояния, от одного этапа, к другому. История капитализма включает в себя и историю модификации его законов. Нельзя, например, объяснить переход от домонополистического капитализма к монополистическому, не раскрыв основных признаков и законов империализма.

Коль скоро задачей историка является воспроизведение сложного закономерного процесса, ученый не может, как правильно замечает Б. А. Грушин, просто следовать за внешней, эмпирической историей объекта. Чтобы воспроизвести процесс развития любой системы, необходимо прежде всего уточнить, 1) что развивается и 2) во что развивается. А это, хочет или не хочет того историк, сознает он это или не сознает, предполагает какие-то теоретические предпосылки.

Так история необходимо ведет к теории, а генетическое объяснение — к объяснению через закон или совокупность законов. Логическая функция закона в историческом объяснении состоит не в том, что из него можно будто бы дедуцировать полное объяснение индивидуального события, но в том, что только научный закон позволяет понять внутреннюю связь всего изучаемого комплекса. Так, если продолжить наш пример, касающийся первой мировой войны, то из закона неравномерности развития невозможно дедуцировать событие как целое. Но без учета этого закона нельзя понять внутреннюю связь таких многообразных явлений, как англо-германское соперничество, борьба за передел колоний, русско-германские противоречия и т. п. Не искусственно сконструированный для данного случая «универсальный закон»,

каким оперирует Карл Поппер, а реальные научные законы, открытые социологией, политической экономией, психологией и другими общественными науками и конкретизируемые на историческом материале, — вот что составляет действительную теоретическую основу исторического объяснения.

Буржуазные авторы, выступающие против идеи исторической закономерности, говорят, что объяснение единичного факта через закон оставляет открытым вопрос о реальности самого закона, используемого для такого объяснения. Вы объясняете факт, ссылаясь на некий исторический закон, но при этом остается неясным, почему вообще в данных условиях действует этот закон или тенденция. Но эта трудность не является непреодолимой. Любой закон не только в истории, но и в естественных науках, устанавливает, *как* протекает определенный процесс. Тем самым закон объясняет определенную совокупность фактов, в которых этот процесс присутствует. Но ни один закон не объясняет сам себя. Так, закон неравномерности развития капитализма объясняет нам многие черты империализма, но, если мы хотим знать, почему в эпоху империализма эта неравномерность усилилась, нам придется обратиться к более общим процессам (учесть, например, что индустриализация на более высокой технической основе всегда протекает быстрее, а, с другой стороны, что в развитых капиталистических странах противоречие между характером производительных сил и производственными отношениями острее, чем в относительно слаборазвитых, и это оказывает тормозящее влияние на развитие производства и т. д.). Это — нормальный процесс углубления научного познания, и его логическая природа принципиально одинакова во всех науках. Как правильно замечает М. Бунге, «научное объяснение факта состоит с *логической* точки зрения в показе того, что он является *примером* общего закона. В свою очередь научное объяснение однородности или регулярности, если оно возможно как таковое, будет состоять в выведении его из законов более высокого уровня, то есть в представлении его как частного случая утверждения, обладающего большей общностью»⁷³.

Таким образом, историческое объяснение имеет различные формы, и роль теории в этих объяснениях тоже различна. Но эти объяснения не равноценны и применимы не ко всем объектам. Историческое объяснение будет удовлетворительным только в том случае, если его логическая форма будет соответствовать характеру и содержанию подлежащего объяснению процесса. *Как* объясняет историк то или иное явление, зависит и от характера его методологии, и от специфики предмета исследования, и от масштаба, в котором этот предмет рассматривается.

⁷³ М. Бунге. Причинность, стр. 327—328.

Сложность гносеологических и логических проблем исторической науки отражает сложность и противоречивость ее предмета — исторической реальности. С одной стороны, история есть закономерный, естественноисторический процесс. С другой стороны, Маркс писал об истории как о всемирно-исторической драме, в которой люди выступают одновременно и в качестве актеров, и в качестве авторов. Оба эти определения правильны. Первое подчеркивает закономерный характер истории, второе — наличие в ней свободной, сознательной деятельности людей.

Теоретическая социология изучает именно первую сторону дела, абстрагируясь от случайностей и зигзагов, которые связаны с особенностями конкретных участников исторического процесса. Историк же имеет дело с обеими сторонами. Это делает его труд особенно сложным. В той мере, в какой он занят воспроизведением социально-экономических процессов и отношений, он оперирует в основном научно-теоретическими понятиями, и его логика мало чем отличается от логики социолога или экономиста. Но когда в центре внимания историка оказывается событие, сложное переплетение лиц, страстей, интересов и переживаний, историческое познание становится родственно познанию художественному. Совершенно прав А. В. Гулыга, когда он пишет, что «историческое обобщение представляет собой своеобразный синтез теоретического и художественного освоения мира»⁷⁴.

Речь идет, разумеется, не о превращении исторического исследования в исторический роман и не об отказе от принципа научной объективности, как рассуждают защитники буржуазной теории истории как искусства. Суть дела в том, что свойственный теоретическому познанию процесс расчленения объекта и раскрытия его сущности в виде ряда абстракций дополняется в истории характерным для искусства чувственно-конкретным синтезом, в котором общее, типическое, выступает не отвлеченно, а в своей индивидуально-чувственной оболочке.

Уровень научной абстракции в историческом исследовании определяется, с одной стороны, предметом исследования, а с другой стороны — масштабами исследования.

Наибольшая степень теоретического обобщения материала в принципе возможна в области экономической истории. Исследователь истории экономических отношений имеет дело не с отдельными событиями, а с определенной совокупностью общественных отношений и массовых процессов. Здесь, как и в теоретическом исследовании, «дело идет о лицах лишь постольку, поскольку они являются олицетворением экономических категорий, носителями определенных классовых отношений и интересов». С этой

⁷⁴ А. В. Гулыга. О характере исторического знания. — «Вопросы философии», 1962, № 9, стр. 37. (См. также статью этого автора в настоящем издании. — *Ред.*)

точки зрения отдельное лицо нельзя «считать ответственным за те условия, продуктом которых в социальном смысле оно остается, как бы ни возвышалось оно над ними субъективно»⁷⁵.

Гораздо сложнее обстоит дело в сфере политической истории или истории культуры. Энгельс писал: «Чем дальше удаляется от экономической та область, которую мы исследуем, чем больше она приближается к чисто абстрактно-идеологической, тем больше будем мы находить в ее развитии случайностей, тем более зигзагообразной является ее кривая. Если Вы начертите среднюю ось кривой, то найдете, что чем длиннее изучаемый период, чем шире изучаемая область, тем более приближается эта ось к оси экономического развития, тем более параллельно ей она идет»⁷⁶.

Это накладывает свой отпечаток и на логику исторической науки. Разумеется, и в политической истории внимание ученого сосредоточено на ведущих тенденциях, на движении больших масс и классов, а отдельные единичные события рассматриваются как проявление этих общих тенденций. Но обойти специфические черты этих событий, не раскрыть особенности людей, возглавлявших движение на данном этапе, — значило бы схематизировать историю.

Еще выше роль повествования в истории культуры. Конечно, история литературы не просто излагает творчество одного писателя за другим, а стремится раскрыть закономерность литературного процесса каждой данной эпохи, выявить связь литературы с другими сферами общественной жизни, увидеть в ней отражение определенных социальных тенденций и т. д. Но если при этом не будет показано лицо именно данного писателя и его героев, то получится лишь вульгарно-социологическая схема, а не история литературы.

Как в социально-экономической истории правомерно использование детали, так в истории человеческого духа правомерно применение статистических и иных методов массового наблюдения. Статистика распространения грамотности, установление функциональных корреляций между социальной структурой и характером господствующих идей не отличаются принципиально от аналогичных методов, применяемых в исследовании социально-экономических отношений. Но для историка культуры недостаточно выявить степень распространенности данной идеи или ее связь с потребностями данного общества, класса. Рассмотрение духовной жизни общества только как рефлекса соответствующих материальных отношений односторонне, недостаточно; оно не отвечает на вопрос, почему, например, греческое искусство и сейчас сохраняет свою художественную ценность, хотя породившие

⁷⁵ К. Маркс. Капитал, т. I. — К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 23, стр. 10.

⁷⁶ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 39, стр. 176.

его материальные условия давно перестали существовать. Историк культуры интерпретирует идеи и образы прошлого, раскрывает их общечеловеческое содержание, вводит нас в круг мышления людей отдаленных эпох и делает далекое близким, чуждое — своим, помогая ныне живущему поколению утвердиться в наследии, оставленном ему предшествовавшими поколениями. Здесь невозможна та степень рационализации, которая достигается при изучении экономических процессов, и художественно-образное познание берет верх над научно-теоретическим.

Разумеется, между социально-экономической историей, понимаемой как история массовых процессов и безличных общественных отношений, и историей культуры, понимаемой как самосознание человеческого рода, нет китайской стены. Любое историческое явление может быть рассмотрено и как процесс, и как драма, с вытекающими отсюда различиями в методологии исследования и логике объяснения. Мы хотели выделить лишь два крайних полюса, на которые ориентируется историческое мышление. Проблема эта существенна и требует серьезного специального изучения.

МАТЕРИАЛЫ К БИБЛИОГРАФИИ ПО ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ

Предлагаемый вниманию читателя библиографический указатель включает три раздела.

Первый раздел: работы К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, а также материалы и документы КПСС и международного коммунистического движения.

Второй раздел: литература по философским вопросам исторической науки на русском языке за последние сто лет. Сюда включены и переводные издания.

Третий раздел: библиографические указатели и обзоры.

Указатель не претендует на полноту. При отборе литературы составитель руководствовался, во-первых, стремлением отметить работы оригинальные, представляющие и сегодня теоретический интерес, содержащие богатый фактический материал по проблемам философии истории, а также издания, ставшие библиографической редкостью и потому в той или иной мере выпавшие из научного оборота; во-вторых, стремлением отразить этапы развития философско-исторической мысли и разнообразие философских концепций и, наконец, в-третьих, фактом наличия уже имеющихся библиографий (см. третий раздел). Именно исходя из этих соображений избран алфавитный принцип построения наиболее объемного второго раздела указателя. Из сказанного ясно, что составитель стремился дать научно-информационный обзор либо наиболее важных, либо наименее известных работ по философии истории. Указатель не может рассматриваться как список литературы, рекомендуемой для ознакомления с данной проблематикой.

В указатель не включена зарубежная литература, так как информация о ней представлена достаточно полно в библиографиях Дж. Рула, М. Новицкого и других (см. третий раздел).

Помимо общепринятых, в указателе применяются следующие сокращения для журналов: «В. И.» — «Вопросы истории»,

«В. Ф.» — «Вопросы философии», «П. З. М.» — «Под знаменем марксизма».

Библиографический указатель составлен Ю. П. Сенокосовым на основании фондов, имеющих в библиотеках Москвы и Ленинграда, по состоянию на 1 января 1968 г.

І. ПРОИЗВЕДЕНИЯ К. МАРКСА, Ф. ЭНГЕЛЬСА, В. И. ЛЕНИНА¹

- Маркс К.* Философский манифест исторической школы права. — Т. 1, с. 85—92.
- Маркс К.* К критике гегелевской философии права. — Т. 1, с. 221—368; 414—429.
- Маркс К.* Тезисы о Фейербахе. — Т. 3, с. 1—4.
- Маркс К.* Нищета философии. Ответ на «Философию нищеты» г-на Прудона. — Т. 4, с. 65—185.
- Маркс К.* Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. — Т. 8, с. 119—217.
- Маркс К.* Британское владычество в Индии. — Т. 9, с. 130—136.
- Маркс К.* Будущие результаты британского владычества в Индии. — Т. 9, с. 224—230.
- Маркс К.* Из рукописного наследия К. Маркса. Введение. (Из экономических рукописей 1857—1858 годов.) — Т. 12, с. 709—738.
- Маркс К.* К критике политической экономии. — Т. 13, с. 5—167.
- Маркс К.* Гражданская война во Франции. — Т. 17, с. 324—370.
- Маркс К.* Из рукописного наследия К. Маркса. Конспект книги Бакунина «Государственность и анархия». — Т. 18, с. 581—624.
- Маркс К.* Письмо в редакцию «Отечественных записок». — Т. 19, с. 116—121.
- Маркс К.* Письмо В. И. Засулич. Наброски ответа на письмо В. И. Засулич. — Т. 19, с. 250—251; 400—421.
- Маркс К.* Капитал. Критика политической экономии. — Т. 23—25.
- Маркс К.* Теории прибавочной стоимости (IV том «Капитала»). — Т. 26, ч. I—III.
- Маркс К.* Маркс — П. В. Анненкову, 28 декабря 1846. — Т. 27, с. 401—412.
- Маркс К.* Маркс — Иосифу Вейдемейеру, 5 марта 1852. — Т. 28, с. 422—428.
- Маркс К.* Маркс — Энгельсу, 25 сентября 1857. — Т. 29, с. 153—155.
- Маркс К.* Маркс — Людвигу Кугельману, 11 июля 1868. — Т. 32, с. 460—462.
- Маркс К.* Маркс — Людвигу Кугельману, 17 апреля 1871. — Т. 33, с. 175.
- Маркс К.* Маркс — Фридриху Больте, 23 ноября 1871. — Т. 33, с. 277—283.
- Маркс К.* Экономическо-философские рукописи 1844 года. — К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М., 1956, с. 517—642.
- Маркс К.* Формы, предшествующие капиталистическому производству. М., 1940, 52 с. (См. также «Вестн. древней истории», 1940, № 1 (10), с. 8—26.)

¹ Помимо названных в данном разделе произведений основоположников марксизма-ленинизма см. также рубрики предметных указателей: «историзм», «историческое и логическое», «историография», «история», «исторический материализм» — для произведений К. Маркса и Ф. Энгельса — в Сочинениях, т. 20, с. 805—806; т. 39, с. 623—624; для произведений В. И. Ленина — в кн.: Алфавитный указатель произведений, вошедших в Полное собрание сочинений В. И. Ленина. Предметный указатель к новым произведениям В. И. Ленина, включенным в Полное собрание сочинений. М., 1966, с. 525; Справочный том к 4 изданию Сочинений В. И. Ленина, ч. I. М., 1955, с. 183—185.

Работы Маркса и Энгельса указаны по второму изданию их Сочинений, за исключением тех, которые не вошли в него. Работы Ленина — по Полному собранию сочинений в 55 томах. В тексте I раздела указывается том и страница этих изданий.

- Маркс К.** Глава о деньгах (Экономические рукописи 1857—1858 гг.) — Архив Маркса и Энгельса, т. IV, М., 1935, с. 5—253.
- Маркс К.** Конспект книги Льюиса Г. Моргана «Древнее общество». — Архив Маркса и Энгельса, т. IX, М., 1941, 192 с.
- Маркс К.** Из рукописи К. Маркса «Критика политической экономии» (Черновой набросок 1857—1858 гг.). — «В. Ф.», 1965, № 8; 1966, № 1, 5, 6, 9, 10; 1967, № 6, 7, 9; 1968, № 5.
- Marx K.** Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie (Rohtentwurf), 1857—1858. М., 1939, XVI, 764 S.; Berlin, 1953, XVI, 1102 S.
- Энгельс Ф.** Карл Маркс. «К критике политической экономии». — Т. 13, с. 489—499.
- Энгельс Ф.** Эмигрантская литература. (V. О социальном вопросе в России). — Т. 18, с. 537—548.
- Энгельс Ф.** Анти-Дюринг, отдел 3, гл. 2. — Т. 20, с. 278—295.
- Энгельс Ф.** Происхождение семьи, частной собственности и государства. В связи с исследованиями Льюиса Г. Моргана. — Т. 21, с. 25—178.
- Энгельс Ф.** Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. — Т. 21, с. 269—317.
- Энгельс Ф.** Из рукописного наследия Ф. Энгельса. О разложении феодализма и возникновении национальных государств. — Т. 21, с. 406—416.
- Энгельс Ф.** К истории первобытной семьи (Бахофен, Мак-Леннан, Морган). — Т. 22, с. 214—225.
- Энгельс Ф.** Энгельс — П. Л. Лаврову, 12—17 ноября 1875. — Т. 34, с. 133—138.
- Энгельс Ф.** Энгельс — Конраду Шмидту, 5 августа 1890. — Т. 37, с. 369—372.
- Энгельс Ф.** Энгельс — Йозефу Блоху, 21—22 сентября 1890. — Т. 37, с. 393—397.
- Энгельс Ф.** Энгельс — Конраду Шмидту, 27 октября 1890. — Т. 37, с. 414—422.
- Энгельс Ф.** Энгельс — Ф. Мерингу, 14 июля 1893. — Т. 39, с. 82—86.
- Энгельс Ф.** Энгельс — Н. Ф. Даниельсону, 17 октября 1893. — Т. 39, с. 127—130.
- Энгельс Ф.** Энгельс — В. Боргиусу, 25 января 1894. — Т. 39, с. 174—177.
- Маркс К. и Энгельс Ф.** Манифест Коммунистической партии. — Т. 4, с. 449—459.
- Маркс К. и Энгельс Ф.** Фейербах. Противоположность материалистического и идеалистического воззрений. (Новая публикация 1-й главы «Немецкой идеологии».) М., 1966, 157 с.
- Ленин В. И.** Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов? (Ответ на статьи «Русского богатства» против марксистов). — Т. 1, с. 125—346.
- Ленин В. И.** Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве (Отражение марксизма в буржуазной литературе). — Т. 1, с. 347—534.
- Ленин В. И.** От какого наследства мы отказываемся? — Т. 2, с. 505—550.
- Ленин В. И.** Развитие капитализма в России. — Т. 3, 609 с.
- Ленин В. И.** Гонители земства и Аннибалы либерализма. — Т. 5, с. 21—72.
- Ленин В. И.** Аграрный вопрос и «критики Маркса». — Т. 5, с. 95—268.
- Ленин В. И.** Материализм и эмпириокритицизм. — Т. 18, 384 с.
- Ленин В. И.** Демократия и народничество в Китае. — Т. 21, с. 400—406.
- Ленин В. И.** Три источника и три составных части марксизма. — Т. 23, с. 40—48.
- Ленин В. И.** Империализм, как высшая стадия капитализма (Популярный очерк). — Т. 27, с. 299—426.
- Ленин В. И.** Философские тетради. — Т. 29, 782 с.
- Ленин В. И.** Статистика и социология. — Т. 30, с. 349—356.
- Ленин В. И.** Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. — Т. 33, с. 1—120; 123—307.
- Ленин В. И.** Великий почин. — Т. 39, с. 1—29.

- Ленин В. И.* О государстве. — Т. 39, с. 64—84.
- Ленин В. И.* Экономика и политика в эпоху диктатуры пролетариата. — Т. 39, с. 271—282.
- Ленин В. И.* Детская болезнь «левизны» в коммунизме. — Т. 41, с. 3—104.
- Ленин В. И.* О продовольственном налоге (Значение новой политики и ее условия). — Т. 43, с. 205—245.
- Ленин В. И.* О нашей революции (По поводу записок Н. Суханова). — Т. 45, с. 378—382.
- Брежнев Л. И.* Пятьдесят лет великих побед социализма. М., 1967, 78 с.
- КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Ч. I—IV. М., 1954—1960.
- Материалы XXIII съезда КПСС. М., 1966, 304 с.
- О мерах по дальнейшему развитию общественных наук и повышению их роли в коммунистическом строительстве. Постановление ЦК КПСС. — «Коммунист», 1967, № 13, с. 3—13.
- Программа Коммунистической партии Советского Союза. М., 1967, 144 с.
- Программа и Устав Коммунистического Интернационала. М.—Л., 1930, 188 с.
- Программные документы борьбы за мир, демократию и социализм. М., 1966, 94 с.
- 50 лет Великой Октябрьской социалистической революции. Постановление Пленума ЦК КПСС. Тезисы ЦК КПСС. М., 1967, 64 с.

II. ЛИТЕРАТУРА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

- Абрамовский Э.* Психологические основы социологии и исторический материализм. Пер. с фр. М., 1900, 112 с.
- Августин.* О граде Божием. Творения блаженного Августина.... Изд. 2-е. Ч. 3—6. Киев, 1905—1910.
- Аверкиева Ю. П.* Проблема историзма и современная буржуазная этнография. — «В. И.», 1964, № 10, с. 96—107.
- Айзенберг А.* Марксистская критика Риккерта, или риккертская интерпретация марксизма. — «Проблемы марксизма», 1930, № 5—6, с. 48—64; 1931, № 1, с. 41—63.
- Аксельрод-Ортодокс Л. И.* Критика основ буржуазного обществоведения и материалистическое понимание истории. Вып. 1. Иваново-Вознесенск, 1925, 106 с.
- Алексеев Н. Н.* Науки общественные и естественные в историческом взаимоотношении их методов. Очерки по истории и методологии общественных наук. Ч. 1. Механическая теория общества. Исторический материализм. М., 1912, 270 с.
- Андреев Н.* К вопросу о понимании закономерности в истории. Социологический этюд. М.—Л., 1925, 103 с.
- Андреев Н.* Методологические проблемы истории. — «Зап. Науч. о-ва марксистов», 1928, № 2, с. 74—86.
- Араб-Оглы Э. А.* К критике культурно-исторической концепции Арнольда Тойнби. — «Вестн. истории мировой культуры», 1957, № 4, с. 3—21.
- Ардашев П. Н.* История как наука. — «Рус. богатство», 1896, № 4, с. 1—25.
- Ардашев П. Н.* О прогрессе в исторической науке. Киев, 1904, 31 с.
- Ардашев П. Н.* Психология в истории (Новейшая попытка психологического обоснования истории). — «Вопросы философии и психологии», 1895, кн. 3, с. 294—313.
- Аргановский С. Н.* Историческое единство человечества и взаимное влияние культур. Философско-методологический анализ современных концепций. Л., 1967, 268 с.
- Асланян Г. Г.* Идея прогресса в буржуазной философии истории. Ереван, 1965, XVI, 395 с.
- Асмус В. Ф.* Маркс и буржуазный историзм. М.—Л., 1933, 270 с.
- Астафьев П. Е.* Смысл истории и идеалы прогресса. М., 1885, 56 с.

- Базаров В.** История как осмысливание бессмыслицы. — «Соврем. Запад», 1926, кн. 1, с. 89—96.
- Бакунин М. А.** Государственность и анархия. — Избранные соч., т. 1. Пб. — М., 1919, 320 с.
- Баран А.** К экономической теории общественного развития. Пер. с англ. М., 1960, 429 с.
- Барз М. А.** О некоторых предпосылках формализации исторического исследования. — Проблемы всеобщей истории, вып. 1. Казань, 1967, с. 14—34.
- Барз М. А.** Структурный анализ в историческом исследовании. — «В. Ф», 1964, № 10, с. 83—92.
- Барз М. А. и Черняк Е. Б.** Структура и развитие классово-антагонистических формаций. — «В. Ф», 1967, № 6, с. 44—54.
- Барт П.** Философия истории как социология. Пер. с нем. СПб. 1902, XIX, 348 с.
- Батищев Г. С.** Общественно-историческая деятельная сущность человека. — «В. Ф», 1967, № 3, с. 20—29.
- Белинский В. Г.** Руководство ко всеобщей истории. Соч. Фр. Лоренца. — Полн. собр. соч., т. VI. М., 1955, с. 90—103.
- Берлин П.** К генезису материалистического понимания истории. — «Образование», 1904, № 11, с. 29—55.
- Бернгейм Э.** Введение в историческую науку. Пер. с нем. М., 1908, 135 с.
- Бернгейм Э.** Философия истории, ее история и задачи. Пер. с нем. М., 1910, 112 с.
- Бернштам А. Н. и Кричевский Е. Ю.** К вопросу о закономерности в развитии организической формации. — «Известия ГАИМК», 1932, т. XIII, вып. 3, 52 с.
- Бернштейн Э.** Исторический материализм. Пер. с нем. СПб., 1901, 332 с.
- Бестужев-Рюмин К. Н.** Теория культурно-исторических типов. — «Рус. вестн.», 1888, № 5, с. 210—270.
- Биццлли П. М.** Очерки теории исторической науки. Прага, 1925, 338 с.
- Блауберг И. В. и Юдин Э. Г.** Системный подход в социальных исследованиях. — «В. Ф.», 1967, № 9, с. 100—111.
- Богданов А. А.** Краткий курс экономической науки. М., 1924, 364 с.
- Богданов А. А.** Наука в общественном сознании. [Б. м.], 1923, 313 с.
- Богданов А. А.** Падение великого фетишизма. Современный кризис идеологии. М., 1910, 222 с.
- Бокль Г. Т.** История цивилизации в Англии. 4-е изд. СПб., 1906, XIV, 628 с.
- Бузескул В. П.** Из истории критического метода. Ранке и Штенцель. — «Известия АН СССР», 1926, т. XX, № 12, с. 1121—1138.
- Булгаков С. Н.** Два града. Исследования о природе общественных идеалов. 2 т. М., 1911.
- Булгаков С. Н.** История социальных учений в XIX в. М., 1913, 402 с. [изд. литогр.].
- Булгаков С.** Философия хозяйства. М., 1912, 321 с.
- Бугинов Н. А.** Этнографические материалы и их роль в изучении общины древнего мира. — Община и социальная организация у народов Восточной и Юго-Восточной Азии. Л., 1967, с. 168—191.
- Вайнштейн И.** К вопросу о методологии политической экономии у Маркса и классиков. — «П. З. М.», 1929, № 9, с. 103—139.
- Вайнштейн И.** Организационная теория и диалектический материализм. Систематическая критика А. Богданова. М.—Л., 1927, 242 с.
- Варга Е. С.** Об азиатском способе производства. — Варга Е. С. Очерки по проблемам политэкономии капитализма. М., 1965, с. 358—382.
- Васильев Л. С.** Некоторые проблемы генезиса мировой цивилизации в современных зарубежных исследованиях. — «Народы Азии и Африки». 1966, № 2, с. 171—180.
- Васильев Л. С. и Стучевский И. А.** Три модели возникновения и эволюции докапиталистических обществ. — «В. И.», 1966, № 5, с. 77—90.

- Васильев Н.* Вопрос о падении Западной Римской империи и античной культуры в связи с теориями истощения народов и человечества. Казань, 1921, 132 с.
- Введенский А.* Социализм как нравственная и теоретическая задача. Изд. 2-е. М., 1909, 159 с.
- Вебер М.* Город. Пер. с нем. Пг., 1923, 135 с.
- Вебер М.* История хозяйства. Очерк всеобщей социальной и экономической истории. Пер. с нем. Пг., 1923, 239 с.
- Вербин А. И. и Серцова А. П.* Исторический материализм и некоторые методологические вопросы исторической науки. — Методологические вопросы общественных наук. М., 1966, с. 331—350.
- Вербин А. И. и Фурман А. Е.* Место исторического материализма в системе наук. М., 1965, 191 с.
- Веретенников В. К.* вопросу о методологических приемах при разработке цифрового исторического материала. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1912, кн. I, с. 120—136.
- Веретенников В. И.* Случайность в историческом процессе и статистический метод. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1913, кн. II, с. 19—44.
- Вико Дж.* Основания новой науки об общей природе наций. Пер. с итал. Л., 1940, XXVI, 620 с.
- Виндельбанд В.* Прелюдии. Философские статьи и речи. Пер. с нем. СПб., 1904, VI, 374 с.
- Винер Н.* Кибернетика и общество. Пер. с англ. М., 1958, 200 с.
- Виноградов К. Б. и Ефимов Г. В.* Закат европоцентристской исторической концепции. — «В. И.», 1964, № 3, с. 114—125.
- Виноградов П. Г.* О прогрессе. М., 1898, 62 с.
- Виппер Р.* Кризис исторической науки. Казань, 1921, 37 с.
- Виппер Р.* Общественные учения и исторические теории XVIII и XIX вв. в связи с общественным движением на Западе. М., 1919, 199 с.
- Виппер Р.* Очерки теории исторического знания. М., 1911, 284 с.
- Витке Н. А.* Организация управления и индустриальное развитие (Очерки по социологии научной организации труда и управления). 2-е испр. и доп. изд. М., 1925, 250 с.
- Виткин М. А.* Первичная общественная формация в трудах К. Маркса. — «В. Ф.», 1967, № 5, с. 40—49.
- Внуков В. А.* Миф и действительность. Опыт психопатологии социального быта. М., 1924, 237 с.
- Воблый К. Г.* Вопрос о методе в истории политической экономии. — «Журн. М-ва нар. просвещения», 1907, № 11, 12.
- Войтовский Л. Н.* Очерки коллективной психологии. В 2-х частях. М.—Пг., 1923—1925.
- Вольтер Ф. М.* Философия истории. Пер. с франц. СПб., 1868, 430 с.
- Вольман Л.* Исторический материализм. Изложение и критика марксистского мирозерцания. Пер. с нем. СПб., 1901, IV, 325 с.
- Вопросы методологии исторической науки. — Труды Моск. гос. ист.-архивного ин-та, т. 25. М., 1967, 199 с.
- Вормс Р.* Общественные организмы. Пер. с франц. СПб., 1897, 246 с.
- Временник Ивана Тимофеева. М.—Л., 1951, 512 с.
- Всесоюзное совещание о мерах улучшения подготовки научно-педагогических кадров по историческим наукам. 18—21 декабря 1962 г. [Материалы]. М., 1964, 518 с.
- Вундт В.* Элементы психологии народов. Основные черты психологической истории развития человечества. Пер. с нем. СПб., 1913, 311 с.
- Гайденко П. П.* Буржуазная философия в поисках реального содержания исторического процесса. — «В. И.», 1966, № 1, с. 88—104.
- Гартман Л.* Об историческом развитии. Введение в историческую социологию. Пер. с нем. М., 1911, XVI, 128 с.
- Гарушняц Ю. М.* Об азиатском способе производства. — «В. И.», 1966, № 2, с. 83—100.

- Гвицман А. М.* Социология Уорда и ее отношение к социологическим построениям Маркса. СПб., 1913, 200 с.
- Гвоздев Г. К.* вопросу о телеологичности исторического процесса. — «Науч. обозрение», 1898, № 8, с. 1429—1444.
- Гегель Г.* Философия истории. Пер. с нем. под ред. и с пред. Ф. А. Горохова. — Соч., т. 8. М.—Л., 1935, LXX, 470 с.
- Гердер И. Г.* Избр. соч., М.—Л., 1959. [Раздел «Философия истории».]
- Герцен А. И.* К старому товарищу. — Собр. соч. в 30-ти томах, т. XX, кн. 2. М., 1960, с. 575—593.
- Герцен А. И.* Концы и начала. — Собр. соч. в 30-ти томах, т. XVI. М., 1959, с. 129—198.
- Гершензон М. О.* Исторические записки. Изд. 2-е. 1923, 224 с.
- Герье В. И.* Философия истории от Августина до Гегеля. М., 1915. 267 с. [1-е изд. — 1865 г.].
- Гейтер М. Я. и Мальков В. Л.* Ответ американскому ученому. — «В. И.», 1966, № 10, с. 29—50.
- Гизо Ф.* История цивилизации в Европе. Пер. с франц. Изд. 3-е, СПб., 1905, VII, 288 с.
- Глезерман Г. Е.* О законах общественного развития. М., 1960, 240 с.
- Глинка Д.* Наука о человеческом обществе. СПб., 1870, XXX, 395 с.
- Голосенко И. Д.* Философия истории Питирима Сорокина. — «Новая и новейшая история», 1966, № 4, с. 85—93.
- Городецкий Е. Н.* Вопросы методологии исторического исследования в послеоктябрьских трудах В. И. Ленина. — «В. И.», 1963, № 6, с. 16—34.
- Государство будущего.* Стенографический отчет дебатов Германского Рейхстага. Пер. с нем. СПб., 1906, XVI, 217 с. [Речи: Бахена, Бебеля и других].
- Граммши А.* Тюремные тетради. Пер. с итал. — Избр. произв., т. 3. М., 1959, 565 с.
- Грановский Т. Н.* О современном состоянии и значении всеобщей истории. М., 1852, 33 с.
- Гредескул Н. А.* Происхождение и развитие общественной жизни. Т. I. Биологические основы социологии. Л., 1925, 279 с.
- Грееф, де Г.* Общественный прогресс и регресс. Пер. с франц. СПб., 1896, 339 с.
- Грот Н. Я.* Опыт нового определения понятия прогресс. Одесса, 1883, 21 с.
- Грушин Б. А.* Очерки логики исторического исследования (Процесс развития и проблемы его научного воспроизведения). М., 1961, 214 с.
- Гуковский А. И. и Тразтенберг О. В.* Очерк истории докапиталистического общества и происхождения капитализма. Изд. 5-е. М.—Л., 1931, LXXIV, 422 с.
- Гулыга А. В.* О предмете исторической науки. — «В. И.», 1964, № 4, с. 20—31.
- Гулыга А. В.* О характере исторического знания. — «В. Ф.», 1962, № 9, с. 28—38.
- Гулыга А. В.* Понятие и образ в исторической науке. — «В. И.», 1965, № 9, с. 3—14.
- Гуманизм, его смысл и значение в новой истории человечества.* М., 1912, 75 с.
- Гумплович Л.* Основы социологии. Пер. с нем. СПб., 1899, 360 с.
- Гуревич А. Я.* Некоторые аспекты изучения социальной истории (Общественная историческая психология). — «В. И.», 1964, № 10, с. 51—68.
- Гуревич А. Я.* Общий закон и конкретная закономерность в истории. — «В. И.», 1965, № 8, с. 14—30.
- Гутнова Е. В.* Гуманизм и первые шаги буржуазной исторической мысли. — «В. И.», 1965, № 2, с. 86—102.
- Давыдов И.* Исторический материализм и критическая философия. Сб. статей. СПб., 1905, XX, 320 с.

- Данилевский Н. Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому. Изд. 5-е. СПб., 1895, XLII, 629 с.
- Данилов А. И. Марксистско-ленинская теория отражения и историческая наука. — «Средние века», 1963, вып. 24, с. 3—23.
- Данилов А. И. Теоретико-методологические проблемы исторической науки в буржуазной историографии ФРГ. — «Средние века», 1959, вып. 15, с. 91—113.
- Данилова Л. В. Становление марксистского направления в советской историографии эпохи феодализма. — «Ист. зап.», т. 76, 1965, с. 62—119.
- Деборин А. Философия и марксизм. Сб. статей. М.—Л., 1930, 307 с.
- Делевский Ю. К вопросу о возможности исторического прогноза. СПб., 1906, 48 с.
- Делевский Ю. Социальные антагонизмы и классовая борьба в истории. СПб., 1910, 387 с.
- Делевский Ю. Телеологические элементы в философии истории и космогонии. — «Ист. обозрение», 1915, т. 20, с. 60—86.
- Дементьев Г. Всеобщая политическая экономия (О возможности и необходимости полит. экономии в широком смысле). — «Проблемы марксизма», 1931, № 2, с. 153—169.
- Джемс В. Прагматизм. Вып. 1. СПб., 1910, 242 с.
- Дживилегов А. К. Оговорки материалистического понимания истории. — «Мир божий», 1900, № 2, с. 1—18.
- Джигоев О. И. Ценность и историческая необходимость. — «Науч. доклады высш. школы». Философские науки, 1966, № 6, с. 34—39.
- Джонс Р. Экономические сочинения. Пер. с англ. Л., 1937, 390 с.
- Дилигенский Г. Г. Марксистско-ленинская теория и конкретно-историческое исследование. — «В. И.», 1963, № 3, с. 88—100.
- Дискуссия о марксистском понимании социологии. — «Историк-марксист», 1929, т. 12, с. 189—213.
- Дискуссия о социально-экономических формациях. — «Историк-марксист», 1930, т. 16, с. 104—161.
- Дискуссия об азиатском способе производства. По докладу М. Годеса. М.—Л., 1931, 183 с.
- Диспут о книге Д. М. Петрушевского. — «Историк-марксист», 1928, т. 8, с. 79—128.
- Дроздов А. В. Человек и общественные отношения. Л., 1966, 123 с.
- Дубровский С. М. К вопросу о сущности «азиатского» способа производства, феодализма, крепостничества и торгового капитала. М., 1929, 170 с.
- Дьяконов А. П. Кризис исторических теорий на Западе в изображении немецкого историка Э. Трельча. — «Сб. о-ва ист., философ. и социальных наук при Пермском ун-те», 1929, вып. 3, с. 289—338.
- Дьяконов И. М. Община на древнем Востоке в работах советских исследователей. — «В. И.», 1963, № 1, с. 16—34.
- Дюментон Г. Г. Методология анализа пространственно-временного выражения социальных структур. — «Уч. зап.». (Томский гос. ун-т), 1965, № 61. Проблемы методологии и логики наук, вып. II, с. 94—102.
- Дюркгейм Э. Метод социологии. Киев—Харьков, 1899, 153 с.
- Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Пер. с франц. Одесса, 1900, 329 с.
- Ефимов А. Концепция экономических формаций у Маркса и Энгельса и их взглядов на структуру восточных обществ. — «Историк-марксист», 1930, т. 16, с. 128—137.
- [Ешевский] А. Н.-в. Задачи историка цивилизации. — «Вестн. Европы», 1869, т. 2, 330—351.
- Жаков М. П. К вопросу о генезисе человеческого общества. — «Проблемы истории доклассовых обществ», 1934, № 5, 6.

- Жилинская А. Н.* К вопросам методологии и методики обществоведения. Вып. 1. 2-е испр. и доп. изд. Л., 1929, 359 с.
- Жуков Е. М.* О периодизации всемирной истории. — «В. И.», 1960, № 8, с. 22—33.
- Жуковский Ю. Г.* XIX век и его нравственная культура. СПб., 1909, XXIX, 160 с.
- Жуковский Ю.* Карл Маркс и его книга о «Капитале». — «Вестн. Европы», 1877, № 9, с. 64—105.
- Зак Л.* Исторический материализм. — «Рус. богатство», 1895, № 1, с. 1—34. [В связи с выходом на рус. яз. кн. Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства»].
- Закат Европы.* — «Красная новь», 1922, № 2, с. 196—241. [Под этим общим заглавием объединены статьи: К. Грасиса «Вехисты о Шпенглере», В. Базарова «О Шпенглер и его критики» и С. Боброва «Контуженный разум»].
- Залесский А.* Сравнительный метод в истории и основные инстинкты. — «Дело», 1872, № 7, с. 325—340.
- Записки С.-Петербургского религиозно-философского общества.* Вып. I—IV. СПб. — Пг., 1908—1916.
- Застенкер Н. Е.* Проблемы исторической науки в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса. — «В. И.», 1964, № 6, с. 3—26.
- Зверев Н.* Основания классификации государств в связи с общим учением о классификации. Методологическое исследование. М., 1883, VIII, 388 с.
- Звоницкая Агн.* Опыт теоретической социологии, т. I. Социальная связь. Киев, 1914, 294 с.
- Зворыкин Н.* Человечество и его социальное развитие. М., 1901, V, 222 с.
- Зелигман Э.* Экономическое понимание истории. Пер. с англ., СПб., 1906, 100 с.
- Зибель Г.* О законах исторического знания. СПб., 1867, 31 с.
- Зибер Н. И.* Давид Рикардо и Карл Маркс в их общественно-экономических исследованиях. М., 1937, XXXIII, 570 с. [1-е изд. СПб., 1885].
- Зиммель Г.* Проблемы философии истории. Пер. с нем. М., 1898, 165 с.
- Зомбарт В.* Социология. Пер. с нем. Л., 1926, 138 с.
- Ибн-Халдун.* Введение (фрагменты). — Избр. произв. мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока. IX—XIV вв. М., 1961, с. 557—628.
- Иванов В. В.* Принципы историзма в произведениях В. И. Ленина 90-х годов. Томск, 1966, 208 с.
- Иванов Вяч. В.* Роль семиотики в кибернетическом исследовании человека и коллектива. — Логическая структура научного знания. М., 1965, с. 75—90.
- Иванов Г. М.* Своеобразие процесса отражения действительности в исторической науке. — «В. И.», 1962, № 12, с. 18—35.
- Ивановский В. Н.* Логика истории как онтология единичного. — «Груды Белорус. гос. ун-та», 1922, № 1, с. 14—25; № 2, с. 35—49.
- Ильенков Э. В.* Диалектика абстрактного и конкретного в «Капитале» Маркса. М., 1960, 285 с.
- Иолк Е.* К вопросу об «азиатском» способе производства. — «П. З. М.», 1931, № 3, с. 133—156.
- Исаев А. А.* Вопросы социологии. Сб. статей. СПб., 1906, 240 с.
- Исторический материализм.* Сб. статей. Сост. и пер. С. Семковский. Изд. 4-е. [Харьков], 1923, 289 с.
- Исторический материализм и социальная философия современной буржуазии.* М., 1960, 583 с.
- История и социология.* (Доклад акад. П. Н. Федосеева и Ю. П. Францева «О разработке методологических вопросов истории» на совещании Секции обществ. наук, прения по докладу). М., 1964, 341 с.
- Итоги науки в теории и практике.* Под ред. М. М. Ковалевского. Н. Н. Ланге и др. IX—XI. Общество. М., 1914.

- Кабо В. Р.* Становление классового общества у народов Океании. — «Народы Азии и Африки», 1966, № 2, с. 57—68.
- Каждан А. П.* О социальной природе византийского самодержавия. — «Народы Азии и Африки», 1966, № 6, с. 52—64.
- Казанский С. П.* Личный и общественный элементы в истории. — Сборник правопведения и общественных знаний, т. 6. СПб., 1896, с. 128—159.
- Гант И.* Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане. — Соч. в шести томах, т. 6. М., 1966, с. 5—23.
- Канторович А. Я.* Система общественных отношений Китая докапиталистической эпохи. — «Новый Восток», 1926, кн. 15, с. 67—93.
- Караваяев Г. Г.* Понятие теории исторического материализма. — «Вестн. Ленингр. ун-та». Серия экономики, философии. 1966, № 11, с. 67—75.
- Карев Ник.* Исторический материализм как наука. — «П. З. М.», 1929, № 12, с. 1—26.
- Кареев Н.* Историология. Из лекций по общей теории истории, ч. 2. СПб., 1915, 320 с.
- Кареев Н. И.* Моим критикам. Защита книги «Основные вопросы философии истории». Варшава, 1884, IV, 84 с.
- Кареев Н.* Основные вопросы философии истории. Изд. 3-е, сокр. СПб., 1897, XV, 456 с.
- Кареев Н. И.* Собрание сочинений, 3 т. СПб., 1911—1913. Т. 1. История с философской точки зрения. 1911, 199 с.; т. 2. Философия истории в русской литературе. 1912, 236 с.; т. 3. Критика экономического материализма. Старые и новые этюды. 1913, 224 с.
- Кареев Н.* Сущность исторического процесса и роль личности в истории. 2-е доп. изд. М., 1914, 574 с.
- Кареев Н.* Теория исторического знания. Из лекций по общей теории истории, ч. I. СПб., 1913. 320 с.
- Карл Маркс (1818—1883).* К двадцатипятилетию со дня его смерти. СПб., 1908, 410 с.
- Карл Маркс* и проблемы истории докапиталистических формаций. Сборник к 50-летию со дня смерти К. Маркса. — «Известия ГАИМК», вып. 90. М.—Л., 1934, 773 с.
- Карлейль Т.* Герои, почитание героев и героическое в истории. Пер. с англ. СПб., 1908, 261 с.
- Карсавин Л.* Восток, Запад и русская идея. Пг., 1922, 80 с.
- Карсавин Л. П.* Философия истории. Берлин, 1923, 358 с.
- Катаев Н.* К вопросу о теории социального развития. М., 1903, 192 с.
- Каутский К.* Материалистическое понимание истории, т. 1. М.—Л., 1931.
- Кауфман А. А.* К вопросу о статистическом методе в историко-экономических исследованиях. — «Науч. ист. журн.», 1913, № 1, с. 10—39.
- Келле В. Ж.* О некоторых направлениях развития исторического материализма. — «В. Ф.», 1967, № 10, с. 89—98.
- Кетле А.* Социальная система и законы ею управляющие. Пер. с франц. СПб., 1866, 313 с.
- Кидд В.* Социальная эволюция. Пер. с англ. СПб., 1897, XIV, 320 с.
- Киреевский И. В.* О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России. — Полн. собр. соч., т. I. М., 1911, с. 174—222.
- Киссель М. А.* Критика философии истории Р. Коллингвуда. — «Учен. зап. кафедр обществ. наук вузов г. Ленинграда», вып. 3. Философия. 1961, с. 200—214.
- Кистяковский Б. А.* Социальные науки и право. Очерки по методологии социальных наук и общей теории права. М., 1916, 704 с.
- Ковалевский М.* Историко-сравнительный метод в юриспруденции и приемы изучения истории права. М., 1880, 72 с.
- Ковалевский М. М.* Очерк происхождения и развития семьи и собственности. М., 1939, 187 с.
- Ковалевский М.* Социология. 2 т. СПб., 1910.

- Ковалевский М. М.* Экономический рост Европы до возникновения капиталистического хозяйства, т. I. М., 1898 [Из содержания: Вступление].
- Ковалевский П. И.* Психиатрические эскизы из истории. 4 т. СПб., 1899—1900.
- Коган Л. Н.* О специфике применения критерия практики в исторической науке. — В сб.: Практика — критерий истины в науке. М., 1960, с. 241—279.
- Кокин М. и Папаян Г.* «Цзинь-тянь». Аграрный строй Древнего Китая. С предисл. П. Мадьяра. Л., 1930, 184 с.
- Колганов М. В.* Собственность. Докапиталистические формации. М., 1962, 496 с.
- Колесницкий Н. Ф.* О некоторых типических и специфических чертах раннеклассовых обществ. — «В. И.», 1966, № 7, с. 82—91.
- Кон И. С.* К вопросу о специфике и задачах исторической науки. — «В. И.», 1951, № 6, с. 48—64.
- Кон И. С.* Неопозитивизм и вопросы логики исторической науки. «В. И.», 1963, № 9, с. 45—65.
- Кон И. С.* Позитивизм в социологии. Л., 1964, 207 с.
- Кон И. С.* Философский идеализм и кризис буржуазной исторической мысли (Критические очерки философии истории эпохи империализма). М., 1959, 403 с.
- Кондорсе Ж. А.* Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. Пер. с франц. М., 1936, XII, 266 с.
- Кондрачев Н. Д.* Теория истории А. С. Лаппо-Данилевского. — «Историч. обозрение», 1915, т. 20, с. 105—124.
- Конрад Н. И.* Запад и Восток. Статьи. М., 1966, 519 с.
- Константинов Ф. В.* Социология и политика. — «В. Ф.» 1962, № 11, с. 3—18.
- Константинов Ф. и Келле В.* Исторический материализм — марксистская социология. — «Коммунист», 1965, № 1, с. 9—23.
- Конт О.* Общий обзор позитивизма, ч. 1—2. Пер. с франц. — «Родоначальники позитивизма», вып. 4. СПб., 1912, 139 с.
- Косвен М. О.* Проблема доклассового общества в эпоху Маркса и Энгельса. — «Сов. этнография», 1933, № 2, с. 3—37.
- Косериу Э.* Синхрония, диахрония и история. — В сб.: Новое в лингвистике, вып. 3. М., 1963, с. 143—343.
- Котляревский С. А.* Власть и право. Проблема правового государства. М., 1915, 417 с.
- Кохановский Н. И.* Экономика и экономический принцип в их отношении к общей системе социальных наук. Владивосток, 1915, 724 с.
- Крапивенский С. Э.* Особая формация или переходное состояние общества? — «Народы Азии и Африки», 1966, № 2, с. 87—90.
- Краснов А. В.* Критика христианской концепции исторического процесса (На материалах русского православия). М., 1966, 72 с.
- Крживицкий Л.* Отдельная личность и общество. — «Соврем. мир», 1910, № 7, с. 156—176.
- Критика новейшей буржуазной историографии. Сб. статей. Л., 1967, 382 с.
- Кричевский Е. Ю.* Взгляды Маркса на доклассовое общество. — «Проблемы истории материальной культуры», 1933, № 3—4, с. 15—26.
- Кропоткин П. А.* Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса. Пб. — М., 1922, VIII, 342 с.
- Кроче Б.* Исторический материализм и марксистская экономия. Критические очерки. Пер. с итал. СПб., 1902, 322 с.
- Ксенополъ А. Д.* Понятие «ценности» в истории. Пер. с франц. Киев, 1912, 52 с.
- Куда идет современный капитализм? — «Проблемы мира и социализма», 1967, № 12, с. 36—46.
- Кунов Г.* К пониманию метода исследования Маркса. — В сб.: Основные проблемы политэкономии. [М.], 1922, с. 53—65.

- Кунов Г.* Марксова теория исторического процесса, общества и государства. 2 т. М.—Л., 1930.
- Куторга М. С.* Историческое развитие понятия истории от начала XVI столетия до нашего времени. М., 1870, 25 с.
- Кушнер Ш. И. (Кнышев).* Очерк развития общественных форм. 3-е изд., испр. и доп. М., 1927, 580 с.
- Кэри.* Руководство к социальной науке. Пер. с англ. СПб., 1869, 704 с.
- Лабриола А.* Очерки материалистического понимания истории. М., 1960, 199 с.
- Лавров П. Л.* Философия и социология. Избр. произведения, т. 2. М., 1965. [Из содержания: Исторические письма].
- Лавров П.* Формула прогресса Н. К. Михайловского. Противники истории. Научные основы истории цивилизации. СПб., 1906, 143 с.
- Лавровский В. М.* Проблема единства метода исторического и естественнонаучного познания. — Проблемы всеобщей истории, вып. 1. Казань, 1967, с. 3—13.
- Лавровский В. М.* К вопросу о предмете и методе истории как науки. — «В. И», 1966, № 4, с. 72—77.
- Ладыженский А. М.* Кризис современной культуры и его отражение в новейшей философии. Ростов н/Д, 1924, 40 с.
- Лакомб П.* Социологические основы истории. [М], 1895, 354 с.
- Ламанский В. И.* Об историческом изучении греко-славянского мира в Европе. СПб., 1871, IV. 316 с.
- Лангле и Сеньобос.* Введение в изучение истории. Пер. с франц. СПб., 1899, 278 с.
- Ланинский П.* «Социальное государство». Этапы и тенденции развития. — «Большевик», 1928, № 13—14, с. 8—37.
- Лаппо-Данилевский А. С.* Методология истории. Вып. I—II. СПб., 1910—1913.
- Лаппо-Данилевский А. С.* Методология истории. Вып. первый. Пг., 1923, 278 с.
- Лафарг П.* Происхождение и развитие собственности. Пер. с франц. М.—Л., 1928, 191 с.
- Лафарг П.* Экономический детерминизм К. Маркса. Пер. с франц. 2-е изд. М.—Л., 1928, 222 с.
- Лебон Г.* Психологические законы и эволюция народов. Пер. с франц. СПб., 1906, 150 с.
- Левада Ю.* Кибernetические методы в социологии. — «Коммунист», 1965, № 14, с. 43—53.
- Левада Ю. А.* Сознание и управление в общественных процессах. — «В. Ф.», 1966, № 5, с. 62—73.
- Леонтьев К. Н.* Восток, Россия и славянство. 2 т. М., 1885—1886.
- Лесевич В. В.* Очерк развития идеи прогресса. — «Соврем. обозрение», 1868, № 4, 5.
- Лесевич В. В.* Философия истории на научной почве (Очерк из истории культуры XIX в.). — «Отечеств. зап.», 1869, № 1, с. 163—196.
- Летурно Ш.* Прогресс нравственности. Пер. с франц. СПб., 1910, XVI, 384 с.
- Лойко Л.* К пониманию исторического процесса. М., 1901, 130 с.
- Ломакин Арк.* О ленинском этапе в исторической науке и задачи большевистских историков. — «Историк-марксист», 1934, № 1, с. 3—20.
- Лориа А.* Социология. Ее задачи, направления и новейшие успехи. СПб., 1903, 119 с.
- Лосев А. Ф.* Очерки античного символизма и мифологии, т. I. М., 1930. [Из содержания: Введение].
- Лосский Н. О.* Мир как органическое целое. М., 1917, 169 с.
- Лукач Г.* Материализация и пролетарское сознание. — «Вестн. Соц. Академии», 1923, кн. 4—6.
- Лукин Н. М.* Избр. труды, т. 3. М., 1963 [Из содержания: Маркс как историк; Основные проблемы построения всемирной истории].

- Луначарский А. В.* Религия и социализм. СПб., 1908. Ч. 1—230 с.; ч. 2—398 с.
- Луппол И. К.* Ленин и философия. К вопросу об отношении философии к революции. Изд. 3-е. М.—Л., 1930, 303 с.
- Луцкий И. В.* Отношение истории к науке об обществе. — «Знание», 1875, № 1, с. 1—42.
- Львов Б.* Социальный закон (Опыт введения в социологию). СПб., 1899, 157 с.
- Любич Н. Н.* Статистический метод в приложении к истории. Варшава, 1901, 17 с.
- Люксембург Р.* Введение в политическую экономию. М., 1960, 325 с.
- Максимовский В.* Вико и его теория общественных круговоротов. — Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, кн. 4, М.—Л., 1929, с. 7—62.
- Малинин А.* Старое и новое направление в исторической науке. Лампрехт и его оппоненты. М., 1900, II, 47 с.
- Мамардашвили М. К.* Исторический метод в «Истории философии» Гегеля. — «Вестн. истории мировой культуры», 1960, № 3, с. 39—54.
- Маньковский Л. А.* Теоретико-познавательный характер метода исследования в «Капитале» К. Маркса. — Историко-философские очерки. (Серия: Диалектика — теория познания). М., 1964, с. 97—131.
- Марголин С. О.* К критике основных мотивов исторического материализма. — «Логос», 1913, № 3—4, с. 209—240.
- Маркрян Э. С.* О концепции локальных цивилизаций. Критический очерк. Ереван, 1962, 179 с.
- Маркрян Э. С.* Об основных принципах сравнительного изучения истории. — «В. И.», 1966, № 7, с. 18—31.
- Маркелов Т. И.* Личность как культурно-историческое явление, т. 1. СПб., 1912, 240 с.
- Мартынов А.* Философские и социально-политические взгляды К. Маркса. — Сборник памяти К. Маркса. Вып. 1. М., 1918, с. 45—88.
- Маслов П.* Мировая социальная проблема. Чита, 1921, 267 с.
- Маслов П. П.* Теория развития народного хозяйства. Введение в социологию и политическую экономию. СПб., 1910, VI, 380 с.
- Маурер Г. Л.* Введение в историю общинного, подворного, сельского и городского устройства и общественной власти. Пер. с нем. М., 1880, IV, 358 с.
- Мачинский В.* О человеческой культуре. Эскиз социологии. СПб., 1909, 220 с.
- Медушевская О. М.* Некоторые проблемы методологии истории в современной французской историографии. — «В. Ф.», 1965, № 1, с. 107—115.
- Мейер А.* Религия и культура. СПб., 1909, 83 с.
- Мейер Э.* Теоретические и методологические вопросы истории. Пер. с нем. Изд. 2-е, испр. М., 1911, 71 с.
- Мейман М. Н.* Экономический закон движения рабовладельческого способа производства. — «Ист. зап.», т. 22, 1947, с. 314—366.
- Мейман М. Н. и Скажин С. Д.* К вопросу о непосредственном переходе к феодализму на основе разложения первобытнообщинного способа производства. — «В. И.», 1960, № 1, с. 75—99.
- Меликашвили Г. А.* К вопросу о характере древнейших классовых обществ. — «В. И.», 1966, № 11, с. 65—80.
- Менгер К.* Исследование о методах социальных наук и политической экономии в особенности. Пер. с нем. СПб., 1894, XXXII, 284 с.
- Меринг Ф.* Исторический материализм. Пер. с нем. Свердловск, 1925, 119 с.
- Меринг Ф.* Легенда о Лессинге. Пер. с нем. М., 1924, 378 с.
- Месин Ф.* Новая ревизия материалистического понимания истории. К критике кн. К. Каутского. М., 1929, 91 с.
- Метод в науках.* Сб. статей. Пер. с франц. СПб., 1911, 298 с.
- Методологические и историографические вопросы исторической науки.* Сб. статей. Вып. 1—4. Томск, 1963—1966. [Томский гос. ун-т им. В. В. Куйбышева. Труды. Т. 166, 173, 178, 187].

- Мечников Л. И.* Цивилизация и великие исторические реки. М., 1924, 255 с.
- Милль Дж. С.* Система логики силлогистической и индуктивной. Пер. с англ. 2-е изд. М., 1914, XXXI, 880 с.
- Миллюков П. Н.* Очерки по истории русской культуры, ч. 1. М., 1918 [Из содержания: Введение].
- Митин М. Б. В. И. Ленин и проблема человека.* — «В. Ф.», 1967, № 8, с. 19—31.
- Михайловский Н. К.* Полное собрание сочинений. СПб., 1907—1914. [Из содержания томов: т. 1 (1911): Что такое прогресс?; т. 2 (1907): Преступление и наказание; Герои и толпа; т. 3 (1909): Философия истории Луи Блана; Вико и его «новая наука»; т. 8 (1914): Статьи из журн. «Русское богатство»].
- Мишель А.* Идея государства. Пер. с франц., М., 1909, XXIV, 802 с.
- Мишин В. И.* Марксистская философия истории. — «В. Ф.», 1965, № 7, с. 154—156.
- Мишулин А. В.* Из историографии античности. [Критика исторических взглядов Ю. Белоха, Р. Пельмана, Э. Мейера, М. Вебера и др.] — «Проблемы истории докапиталистических обществ», 1935, № 1—2, с. 47—68.
- Момдзян Х.* Торжество марксистско-ленинской философии истории. — «Коммунист», 1967, № 10, с. 55—67.
- Монтескье Ш.* Избранные произведения. М., 1955 [Из содержания: О духе законов].
- Морган Л.* Древнее общество. Пер. с англ., Л., 1934, XVI, 350 с.
- Мошков Ю. А.* Кибернетика и методы исторического исследования. — «История СССР», 1965, № 6, с. 214—220.
- Надлер В. К.* Мифический элемент в истории. Харьков, 1887, 26 с.
- Наторп П.* Культура народа и культура личности. Пер. с нем. СПб., 1912, 189 с.
- Невский В.* Взаимодействие или монизм (О работах К. Тахтарева, П. Сорокина). — «Красная новь», 1921, № 2, с. 335—340.
- Некрасов П. А.* Философия и логика науки о массовых проявлениях человеческой деятельности. М., 1902, V, 138 с.
- Несмелов В.* Наука о человеке. 2 т. Казань. 1905—1906.
- Неусыхин А.* «Эмпирическая социология» Макса Вебера и логика исторической науки. — «П. З. М.», 1927, № 9, с. 113—143.
- Нечкина М. В.* К итогам дискуссии о «восходящей» и «нисходящей» стадиях феодализма. — «В. И.», 1963, № 12, с. 31—51.
- Нечкина М. В., Пашуто В. Г., Черняк Е. Б.* Эволюция исторической мысли в середине XX века. — «В. И.», 1965, № 12, с. 3—10.
- Николаев П.* Активный прогресс и экономический материализм. Сб. статей. М., 1892, 292 с.
- Николаева Л. В.* Свобода — необходимый продукт исторического развития. М., 1964, 292 с.
- Нионов П. Н.* [Ткачев]. Статистические примечания к теории прогресса. — «Дело», 1872, № 3, с. 60—107.
- Ницше Ф.* Ценность европейской культуры; Посмертные афоризмы; Происхождение морали; О пользе и вреде истории для жизни. — Собр. соч., т. IX. Пер. с нем. М., [б. г.]. 325 с.
- Нов И. М.* Прогресс и личность. — «Вестн. всемирной истории», 1901, № 8, 9.
- Новгородцев П. И.* Историческая школа юристов, ее происхождение и судьба. М., 1896, 226 с.
- Новгородцев П. И.* Об общественном идеале. Изд. 3-е. М., 1921, XII, 385 с.
- Новые идеи в социологии. Сб. № 1—4. СПб., 1913—1914.
- Новые идеи в экономике. СПб., 1914. Сб. № 5. Закономерность общественного развития. 140 с.
- Нуцубидзе Ш. И.* Восточный ренессанс и критика европоцентризма. — «Сообщения АН Груз. ССР», 1941, т. II, № 8 с. 773—782.
- О веяниях времени. СПб., 1908, 257 с.

- Об азиатском способе производства. Стенографический отчет дискуссии... [Тифлис], «Закннига», 1930, 153 с.
- Оболенский Л. Е. Изложение и критика идей неомарксизма. СПб., 1899, 144 с.
- Общее и особенное в историческом развитии стран Востока. Материалы дискуссии об общественных формациях на Востоке (Азиатский способ производства). М., 1966, 248 с.
- Оденвальд А. Историческая наука и ее значение для психологии. — «Ист. обозрение», 1895, т. 8, с. 1—33.
- Онкурский Б. Общественно-психологические этюды. — «Дело», 1872, № 5, 6.
- Оранский С. А. Основные вопросы марксистской социологии, т. I. Л., 1929, 245 с.
- Организованный капитализм. Дискуссия в Комакадемии. 2-е изд. М., 1930, 200 с.
- Орлов В. Н. Роль научного описания в историческом исследовании. — «Науч. доклады высш. школы». Философские науки, 1966, № 1 с. 46—53.
- Основные проблемы генезиса и развития феодального общества. Пленум ГАИМК. — «Известия ГАИМК», вып. 103. М.—Л., 1934, 395 с.
- Очерки истории исторической науки в СССР. Под ред. М. Н. Тихомирова, М. В. Нечкиной и др. Т. I—IV. М., 1955—1966.
- Очерки по философии марксизма. Философский сборник. СПб., 1908, 328 с.
- Очерки реалистического мировоззрения. Сборник статей по философии общественных наук и жизни. СПб., 1904, 601 с.
- П. Ю. Социологические взгляды Дюркгейма. — «Рус. богатство», 1898, № 11. с. 95—124.
- Павлов А. П. Представление о времени в истории, археологии и геологии. М., 1920, 24 с.
- Павлов П. В. Опыт введения в историю. — «Отечеств. зап.», 1874, № 5—6, с. 269—291.
- Памяти Карла Маркса. Сборник статей к 50-летию со дня смерти. М., 1933 [Из содержания: А. И. Тюменев. Марксизм и буржуазная историческая наука].
- Пашуканис Е. Б. Новейшие откровения К. Каутского. М., 1929, 77 с.
- Перлин Н. Исторический материализм. Опыт методологического построения. Киев, 1925, 138 с.
- Персов М. С. О соотношении общесоциологических и специфических законов формации. — «В. И.», 1955, № 1, 5.
- Перцов В. Н. Белох о статистическом методе в истории. — «Голос минувшего», 1914, № 2, с. 239—246.
- Перцов В. Н. Новые русские труды по теории исторической науки. — «Голос минувшего», 1914, № 4, с. 269—282.
- Петражицкий Л. И. Введение в изучение права и нравственности. Основы эмоциональной психологии. Изд. 3-е. СПб., 1908, 265 с.
- Петрушевский Д. Задачи и методы всеобщей истории. — «Науч. слово», 1904, № 3, с. 78—91.
- Петрушевский Д. Очерки из экономической истории средневековой Европы. М.—Л., 1928 [Из содержания: Введение].
- Петрушевский Д. Тенденции современной исторической науки. — «Образование», 1899, № 5—6, с. 73—104.
- Печуро Е. Э. «History and Theory» [Обзор]. — «В. И.», 1964, № 3, с. 195—201.
- Писарев Д. И. Исторические идеи Огюста Конта. — Полн. собр. соч. в шести томах, т. 5. СПб., 1901, с. 303—450.
- Писарев Д. И. Очерки из истории труда. — Соч., в 4-х томах, т. 2. М., 1954, с. 228—330.
- Плеханов Г. В. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю. М., 1949, 336 с.
- Плеханов Г. В. Собрание сочинений, т. VIII. ГИЗ, 1923, 411 с.
- Плеханов Г. В. Об «экономическом факторе». Первоначальная редакция. — «П. З. М.», 1931, № 4—5, с. 14—44.

- Погодин М. П.* Нечто о методах исторического исследования. М., 1858, 15 с.
- Позад А.* Очерк современных теорий происхождения семьи, общества и государства. Пер. с франц. Одесса, 1897, 112 с.
- Покровский М. Н.* Историческая наука и борьба классов. Вып. 1—2. М.—Л., 1933.
- Покровский М.* Русская история в самом сжатом очерке. — Избр. произв. М., 1967, кн. 3, с. 7—21. [См.: Введение. Общие понятия об истории.]
- Попов-Ленский И. Л.* Антуан Барнав и материалистическое понимание истории (К характеристике историко-философских идей в XVIII в.). Л., 1924, 195 с.
- Поршнев Б. Ф.* Социальная психология и история. М., 1966, 213 с.
- Поршнев Б. Ф.* Феодализм и народные массы. М., 1964, 520 с.
- Преображенский В. Д.* Очерк истории общественных форм. Изд. 2-е. М., 1929, 232 с.
- Пригожин А. Г.* Ленин и основные проблемы истории докапиталистических формаций. — «Проблемы истории докапиталистических обществ», 1934. № 1, с. 7—28.
- Пригожин А. Г.* Проблема социально-экономических формаций обществ древнего Востока. — «Известия ГАИМК», вып. 74, М.—Л., 1934, с. 3—31.
- Приписнов В. И.* О соотношении исторического материализма и исторической науки. — «В. Ф.», 1961, № 1, с. 103—113.
- Проблемы идеализма.* Сб. статей. М., 1903, 521 с.
- Проблемы развития в природе и обществе.* Сб. статей. М.—Л., 1958, 295 с.
- Против механистических тенденций в исторической науке.* М.—Л., 1930, 240 с.
- Против фальсификации истории.* Сб. статей. М., 1959, 448 с.
- Против фашистской фальсификации истории.* Сб. статей. М.—Л., 1939, 447 с.
- Пылин А. Н.* Панславизм в прошлом и настоящем. СПб., 1913, 189 с.
- Пылин А. Н.* [подпись: А. В.-н]. Приемы исторической работы. — «Вестн. Европы», 1893, № 1, с. 253—296.
- Пятковский А.* Опыт философской разработки русской истории (О соч. А. Шапова). — «Отечеств. зап.», 1870, № 7—8, с. 1—22.
- Равдоникас В. И.* За марксистскую историю материальной культуры. — «Известия ГАИМК», т. VII, Л., 1930, № 3—4, 94 с.
- Разумовский И.* Морган и материалистическое понимание истории. — «Учен. зап. Сарат. гос. ун-та», 1923, т. 1, вып. 4, с. 3—45.
- Раков Л. П.* К проблеме закона движения рабовладельческой формации. — «Проблемы истории докапиталистических обществ», 1934, № 3, с. 48—64.
- Ранке Л.* Об эпохах новой истории. Пер. с нем. М., 1898, 192 с.
- Раппопорт Х. Л.* Философия истории в ее главнейших течениях. СПб., 1898, 180 с.
- Ребане Я. К.* О принципах подхода к анализу общественной информации. — «Учен. зап.» (Тартуский гос. ун-т). Труды по философии, т. 10, 1966, с. 3—12.
- Резунинов В. Г.* Марксизм и проблема якобинской диктатуры. Л., 1966, 176 с.
- Рейснер М. А.* Проблемы социальной психологии. Ростов н/Д, 1925, VIII, 135 с.
- Рейснер М. А.* Теория Л. И. Петражицкого. Марксизм и социальная идеология. СПб., 1908, 239 с.
- Рейхардт В. В.* Очерки по экономике докапиталистических формаций. М.—Л., 1934, 179 с.
- Рейхесберг Н.* Статистика и наука об обществе. Пер. с нем. СПб., 1898, 137 с.
- Риккерт Г.* Границы естественнонаучного образования понятий. Логическое введение в исторические науки. Пер. с нем. СПб., 1903, 615 с.
- Риккерт Г.* Философия истории. Пер. с нем. СПб., 1908, 158 с.
- Роберти, де Е.* К оценке основных предпосылок социологической теории К. Маркса. — Русская школа общественных наук в Париже. СПб., 1905, с. 32—57.

- Роберти, де Е.* Новая постановка основных вопросов социологии. Пер. с франц. М., 1909, 291 с.
- Рожицын В.* Очередные проблемы генетической социологии. — «Наука на Украине», 1922, № 4, с. 232—247.
- Рожков Н. А.* Исторические и социологические очерки. Сб. статей. 2 ч. М., 1906.
- Рожков Н.* К теории исторического монизма. — «Соврем. мир», 1910, № 9, с. 165—169.
- Розанов В. В.* Теория исторического прогресса и упадка. — «Рус. вестн.», 1892, №№ 1—3.
- Розенталь М.* О категориях логического и исторического. — «Коммунист», 1956, № 7, с. 84—99.
- Роль народных масс и личности в истории. М., 1957, 376 с.
- Рославский-Петровский А. П.* Введение в курс истории цивилизаций. Харьков, 1865, 51 с.
- Рубин В. А.* Проблема восточной деспотии в работах советских исследователей. — «Народы Азии и Африки», 1966, № 4, с. 95—105.
- Рубинштейн М. М.* О смысле жизни. В 2-х ч. Л., 1927.
- Русанов Н.* Социалисты Запада и России. Изд. 2-е. СПб., 1909, VI, 393 с.
- Русанов Н.* Экономический принцип в социологии. — «Дело», 1881, №№ 10—12.
- Русская историческая литература в классовом освещении. Сб. статей с предисл. и под ред. М. Н. Покровского. В 2-х т. М., 1927—1930.
- Русские просветители (От Радищева до декабристов). Собрание произведений в 2-х томах. М., 1966.
- Руссо Ж.-Ж.* Об общественном договоре, или принципы политического права. Пер. с франц. М., 1938, VIII, 124 с.
- Руссо Ж.-Ж.* Рассуждение о науках и искусствах. — Избр. соч. М., 1961, т. 1, с. 41—64.
- Савин А. Н.* Христианские социальные теории и современная культура. — «Рус. мысль», 1913, № 8, с. 120—159.
- Сагацкий А. П.* Труд и возникновение общества. — «Проблемы истории классовых обществ», 1935, № 1—2, с. 177—192.
- Садынский Д. С.* Социальная жизнь людей. Введение в марксистскую социологию. Харьков, 1923, 203 с.
- Самодурова З. Г.* Актуальные проблемы ранней истории феодальной формации. — «В. И.», 1966, № 9, с. 159—162.
- Сазаров А. М.* Некоторые проблемы методологии историографических исследований. — В сб.: Методологические вопросы общественных наук. М., 1966, с. 351—368.
- Святловский В. В.* Методология экономической науки и метод Маркса. — «Зап. науч. о-ва марксистов», 1922, №№ 2, 5.
- Селезнев К.* Троцкизм в вопросах истории Русского государства. М.—Л., 1931, 125 с.
- Семенов В. С.* Проблема классов и классовой борьбы в современной буржуазной социологии. М., 1959, 247 с.
- Семенов С. А.* О методологических функциях исторических наук. — «Науч. доклады высш. школы. Философские науки, 1964, № 6, с. 72—78.
- Семенов Ю. И.* Как возникло человечество. М., 1966, 576 с.
- Семенов Ю. И.* К вопросу о первой форме классового общества. — «Учен. зап.» (Краснояр. гос. пед. ин-т), 1957, т. 9, вып. 1, с. 237—260.
- Семенов Ю. И.* Категория «социальный организм» и ее значение для исторической науки. — «В. И.», 1966, № 8, с. 88—106.
- Семенов Ю. И.* О периодизации первобытной истории. — «Сов. этнография», 1965, № 5, с. 74—93.
- Семенов Ю. И.* Проблема социально-экономического строя Древнего Востока. — «Народы Азии и Африки», 1965, № 4, с. 69—89.
- Семенов Ю. Н.* Общественный прогресс и социальная философия современной буржуазии. М., 1965, 297 с.

- Семковский С. Ю.* Конспект лекций по историческому материализму. Доп. изд. Харьков, 1924, 146 с.
- Сен-Симон.* Очерк науки о человеке. — Избр. соч., т. 1. М.—Л., 1948, с. 146—208.
- Сеньобос Ш.* Исторический метод в применении к социальным наукам. Пер. с франц. М., 1902, 206 с.
- Сергеев В.* Западная социология в период «высокого» и «организованного» капитализма. — «Историк-марксист», 1929, т. 12, с. 238—268.
- Сергеевич В. И.* Задача и метод государственных наук. М., 1871, VIII, 232 с.
- Сказкин С. Д.* К вопросу о методологии истории Возрождения и гуманизма. — «Средние века», вып. XI, 1958, с. 123—142.
- Слонимский Л.* Экономическое учение Карла Маркса. Изложение и критический разбор. СПб., 1898, 211 с.
- Смит А.* Исследование о природе и причинах богатства народов. Пер. с англ. М., 1962, 684 с.
- Собуль А.* Некоторые вопросы статистического изучения социальной истории. — «Новая и новейшая история», 1967, № 2, с. 29—38.
- Соколов В.* К вопросу о методологии общественных наук. — «Научные известия», 1, М., 1922, с. 51—101.
- Соколов Н. М.* Россия, Европа и человечество. — «Рус. вестн.», 1904, № 7, 10.
- Солнцев С. И.* Общественные классы. Изд. 2-е, испр. и доп. Пг., 1923, 216 с.
- Соловьев Вл. С.* Из философии истории. — «Вопросы философии и психологии», 1891, № 1, с. 133—157.
- Соловьев В. С.* Национальный вопрос в России. Вып. 1—2. Изд. 3-е. СПб., 1891.
- Соловьев Вл.* Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории со включением краткой повести об Антихристе. 3-е изд. СПб., 1901, XXII, 279 с.
- Соловьев Евг.* Семидесятые годы. Роль личности в истории и теории прогресса. — «Жизнь», 1899, №№ 7—9.
- Соловьев Э. Ю.* Экзистенциализм. — «В. Ф.», 1966, № 12; 1967, № 1.
- Сорель Ж.* Размышление о насилии. Пер. с франц. М., 1907, 167 с.
- Сорокин П.* Голод как фактор. Пг., 1922, 280 с.
- Сорокин П.* Система социологии. 2 т. Пг., 1920.
- Софронов Ф. В.* Механика общественных идеалов. — «Вопросы философии и психологии», 1901, кн. 5, с. 439—473.
- Софронов Ф. В.* Соотношение общественных сил. — «Вопросы философии и психологии», 1897, кн. 4, с. 569—608.
- Спекторский Е.* Проблема социальной физики в XVII в. В 2-х томах. Киев, 1910—1917.
- Спенсер Г.* Основания социологии. — Соч., т. 4. СПб., 1898, IV, 707 с.
- Спокойный Л. Ф.* Гносеологические и методологические воззрения Г. Риккерта. — «Зап. науч. о-ва марксистов», 1928, № 1, с. 123—140.
- Спорные вопросы методологии истории (Дискуссия об общественных формациях). Харьков, 1930, 237 с.
- Станкевич В.* Динамика мировой истории. Париж—Берлин. 1934, 245 с.
- Стасюлевич М.* Философия истории в главнейших ее системах. Изд. 3-е. СПб., 1908, XII, 335 с.
- Стефанов Н.* Теория и метод в общественных науках. Пер. с болгар. М., 1967, 271 с.
- Столыпин Д. А.* Учение О. Конта. Начала социологии. М., 1891, VIII, 252 с.
- Страхов Н. Н.* Борьба с Западом в нашей литературе. В 3-х книгах. СПб., 1896.
- Стронин А.* История и метод. СПб., 1869, 446 с.
- Струве В. В.* Марксово определение раннеклассового общества. — «Соп. этнография», 1940, № 3, с. 5—22.

- Струве В. В.* Проблема зарождения, развития и разложения рабовладельческих обществ древнего Востока (Доклад, прения и заключ. слово). — «Известия ГАИМК», 1934, вып. 77, с. 32—181.
- Струве П.* Марксовская теория социального развития. Пер. с нем. Киев, 1906, 62 с.
- Струве П.* Основной дуализм общественно-экономического производства и идея естественного закона. — «Вопросы философии и психологии», 1910, кн. 4, с. 528—570.
- Струве П.* Проблема роста производительных сил в теории социального развития. — Сборник статей, посвященных В. О. Ключевскому. М., 1909, с. 458—477.
- Сулковский Ф. В.* Вожди в истории. М.—Л., 1928, 119 с.
- Сыромятников Б. И.* Основные моменты в развитии исторической мысли. — «Рус. мысль», 1906, № 12, с. 71—97.
- Таксер А. А.* Проблема общественно-экономической формации. — «П. З. М.», 1932, № 1—2, с. 165—199.
- Талгеймер А.* К вопросу о социологическом методе. — Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, кн. 3. М.—Л., 1927, с. 480—490.
- Танхилевич О.* Об историческом и логическом. (К вопросу о гегелевском наследстве). — «П. З. М.», 1931, № 6, с. 29—43.
- Тард Г.* Личность и толпа. Очерки по социальной психологии. Пер. с франц. СПб., 1903, 178 с.
- Тард Г.* Социальная логика. Пер. с франц. СПб., 1901, VII, 491 с.
- Тардиф А.* Основы исторической критики. Пер. с франц. Воронеж, 1893, 16 с.
- Тарле Е.* Всеобщая история (Очерк развития философии истории). — СПб., 1908, 102 с. [Литограф. изд.].
- Тарле Е.* К вопросу о границах исторического предвидения. — «Рус. богатство», 1902, № 5, с. 41—56.
- Тарле Е.* Социология и историческое познание. — «Вестн. Европы», 1902, № 10, с. 429—474.
- Тарновский К. Н.* О социологическом изучении капиталистического способа производства. — «В. И.», 1964, № 1, с. 120—132.
- Тихтарев К. М.* Наука об общественной жизни, ее явлениях, их соотношениях и закономерности. Опыт изучения общественной жизни и построения социологии. Пг., 1919, 424 с.
- Тихтарев К.* Общество и государство и закон борьбы классов. Пг., 1918, 152 с.
- Тихтарев К.* Основные идеи социологии (Конт и Маркс). — «Соврем. мир», 1914, № 9, с. 1—22.
- Тейяр де Шарден.* Феномен человека. Пер. с франц. М., 1965, 296 с.
- Теория государства у славянофилов. Сб. статей И. С. Аксакова, К. С. Аксакова, А. В. Васильева. СПб., 1898, 94 с.
- Тер-Акопян Н. Б.* Развитие взглядов К. Маркса и Ф. Энгельса на азиатский способ производства и земледельческую общину. — «Народы Азии и Африки», 1965, № 2, 3.
- Тихомиров Л. А.* Монархическая государственность. Ч. 1—4. М., 1905.
- Тихомиров П.* Математический проект реформы социологии на началах философского идеализма. Сергиев Посад, 1903, 62 с.
- Тишлер Ф.* Материалистическое понимание истории и математика. — «Вестн. знания», 1909, № 5, с. 665—672.
- Ткачев П. Н.*² Роль мысли в истории. — Избр. сочинения на социально-политические темы, т. 3. М., 1933, с. 176—218.
- Токин Н.* К вопросу о производственных отношениях доклассового общества. — «Историк-марксист», 1934, № 1, с. 189—209.
- Трачевский А. С.* Современные задачи исторической науки. — «Вестн. знания», 1905, № 1, с. 149—158.

² См. также Нионов П. Н.

- Трубецкой Е. Н. Смысл жизни. М., 1918, VI, 232 с.
- Трубецкой Н. С. Европа и человечество. София, 1920, VI, 82 с.
- Трубецкой С. Н. Учение о Логосе в его истории. М., 1906, 459 с.
- Труды Первой всесоюзной конференции историков-марксистов. 2 т. М., 1930.
- Труды по знаковым системам. III. — «Учен. зап.» (Тартуский гос. ун-т), вып. 198. Тарту, 1967.
- Туган-Барановский М. Значение экономического фактора в истории. — «Мир божий», 1895, № 12: 1896, № 4, 5.
- Туган-Барановский М. И. Теоретические основы марксизма. Изд. 4-е. М., 1918, 195 с.
- Тугаринов В. П. Соотношение категорий исторического материализма. Л., 1958, 119 с.
- Тюменев А. Индивидуализирующий и генерализирующий методы в исторической науке. — «Историк-марксист», 1929, № 12, с. 153—184.
- Тюменев А. И. Передний Восток и античность. — «В. И.», 1957, № 6, 9.
- Тюрго А. Р. Рассуждение о всеобщей истории. — Избр. философские произв. М., 1937, с. 77—142.
- Уваров А. И. Структура теории в исторической науке. — Методологические и историографические вопросы исторической науки. Томск, 1965—1966, вып. 3, 4 (Томский гос. ун-т. Труды, т. 178, 187).
- Уваров С. С. Философия истории славян. — «Отечеств. зап.», 1870, № 5—8.
- Удальцов А. К теорий классов у Маркса и Энгельса. — Архив К. Маркса и Ф. Энгельса. М.—Л., 1924, кн. 1, с. 401—424.
- Унтерман Э. Дialectические этюды. Пер. с нем. М., 1907, 147 с.
- Уорд Л. Очерки социологии. Пер. с англ. М., 1901, V, 241 с.
- Уорд Л. Психические факторы цивилизации. Пер. с англ. М., 1897, XXIII, 384 с.
- Устинов В. А. Применение вычислительных машин в исторической науке (для анализа массовых исторических источников). М., 1964, 231 с.
- Утченко С. Л. Глазами историка. М., 1966, 264 с.
- Федосеев П. Н. Идеи Ленина и методология современной науки. — «Проблемы мира и социализма», 1967, № 4, с. 11—19.
- Федосеев П. Н. Проблемы мира в современной социологии. — «В. Ф.», 1967, № 1, с. 3—16.
- Ферри Э. Эволюция экономическая и эволюция социальная. Пер. с франц. СПб., 1906, 30 с.
- Фишге И. Г. Назначение человека. Пер. с нем. СПб., 1913, 200 с.
- Фишге И. Г. Основные черты современной эпохи. Пер. с нем. СПб., 1906, 232 с.
- Флит Ю. Я. Рец. на книгу «L'histoire et ses méthodes». Paris, 1961. — «В. И.», 1964, № 7, с. 179—181.
- Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. М., 1914, 812 с.
- Фокс Р. Взгляды Маркса и Энгельса на азиатский способ производства и их источники. — «Летописи марксизма», 1930, № 3, с. 3—29.
- Франк С. Очерк методологии общественных наук. М., 1922, 124 с.
- Франк С. Л. Философия и жизнь. СПб., 1910, 389 с.
- Францов Г. П. Исторические пути социальной мысли. М., 1965, 558 с.
- Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого «Я». Пер. с нем. М., 1925, 98 с.
- Фридлянд Ц. Марксизм и западноевропейская историография. — «Историк-марксист», 1929, т. 14, с. 13—35.
- Фридлянд Ц. Энгельс об истории как науке. — «Историк-марксист», 1935, № 8—9, с. 5—27.
- Фриман Э. А. Методы изучения истории. М., 1893, 339 с.
- Хатунцов Б. Н. О природе власти. Опыт исследования социально-психологических основ власти. Саратов, 1925, 149 с.
- Хвостов В. М. Плуралистическое миропонимание. — «Вопросы философии и психологии», 1911, кн. 4, с. 361—394.

- Хвостов В. М. Социология. М., 1917, 509 с.
- Хвостов В. М. Теория исторического процесса. М., 1919, 389 с.
- Хвостов В. М. Эволюция исторической науки и ее современное состояние. М., 1916, 51 с. [На правах рукописи].
- Хвостов М. М. Лекции по методологии и философии истории. Казань, 1913, 100 с.
- Хлебников Н. И. Исследования и характеристики. Киев, 1879. [Из содержания: Цивилизация, формы ее происхождения, развития и причины ее падения].
- Ходжсон М. Межрегиональная история полушарий как метод изучения мировой истории. — «Вестн. истории мировой культуры», 1957, № 1, с. 9—16.
- Хомяков А. С. Записки о всемирной истории, ч. I. М., 1900, 588 с.
- Хрустов Г. Ф. О возникновении материального производства. — «В. Ф.», 1960, № 3, с. 125—135.
- Хьюбшер А. Мыслители нашего времени. Пер. с нем. М., 1962, 357 с.
- Чаадаев П. Я. Сочинения и письма, т. II. М., 1914 [Из содержания: Философические письма. Апология сумасшедшего].
- Чагин Б. Ленин о роли субъективного фактора в истории. Л., 1967, 147 с.
- Чернов В. М. Марксизм и славянство. Пг., 1917, 102 с.
- Чернов В. Философские и социологические этюды. М., 1907, 379 с.
- Чернышевский Н. Г. Критика философских предубеждений против общинного землевладения. — Полн. собр. соч., т. V. М., 1950, с. 357—392.
- Чернышевский Н. Г. Очерк научных понятий по некоторым вопросам всеобщей истории. — Полн. собр. соч., т. X. М. 1951, с. 803—977.
- Черняков З. Социология в наши дни. Л., 1926, 231 с.
- Чесноков Д. И. Исторический материализм и социальные исследования. М., 1967, 47 с.
- Чижевский А. Л. Физические факторы исторического процесса. Калуга, 1924, 72 с.
- Чичерин Б. Курс государственной науки. Ч. 2. Социология. М., 1896, 433 с.
- Чичерин Б. Россия накануне двадцатого столетия. 4-е изд. Берлин, 1901, 160 с.
- Шелгунов Н. В. Сочинения. 2 т. СПб., 1895 [Из содержания томов: т. 1. Прошедшее и будущее европейской цивилизации; Фатализм исторического прогресса; т. 2: Социально-экономический фатализм; Историческая сила критической личности].
- Шенкман Б. И. Из рукописи «Духовное производство и его своеобразие». — «В. Ф.», 1966, № 12, с. 113—123.
- Шестов Л. Великие кануны. СПб., 1912, 314 с.
- Шилин К. И. Маркс об историческом и логическом методах исследования. — «Вестн. Моск. ун-та». Философия, 1966, № 3, с. 64—72.
- Шишко Л. По вопросам экономики и истории. Пг., 1917, 208 с.
- Шмит Ф. И. Стадиальность и историзм. — «Яфетический сборник», 1930, т. VI, с. 1—6.
- Шмюкле К. К критике немецкого историзма. — «П. З. М.», 1929, № 10—11; 1930, № 1.
- Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Пер. с нем. М., 1892, XXXVIII, 504 с.
- Шпенглер О. Закат Европы, т. I. М., 1923, 445 с.
- Освальд Шпенглер и закат Европы. М., 1922, 95с.
- Шпет Г. История как проблема логики. М., 1916, 473 с.
- Штаерман Е. М. Античность в современных западных историко-философских теориях. — «Вестн. древней истории», 1967, № 3, с. 3—24.
- Штаерман Е. М. О повторяемости в истории. — «В. И.», 1965, № 7, с. 3—20.
- Штаммлер Р. Хозяйство и право с точки зрения материалистического понимания истории. Пер. с нем. 2 т. СПб., 1907.
- Штейн Л. Социальный вопрос с философской точки зрения. Пер. с нем., М., 1899, XX, 708 с.

- Штейнберг А. З.** Начало и конец истории в учении П. Л. Лаврова. — В сб.: П. Л. Лавров. Статьи, воспоминания, материалы. Пг., 1922, с. 355—372.
- Штрик М.** Личность и общество. Чита, 1922, XIII, 145 с.
- Шэнно Ж.** Дискуссия о раннеклассовых обществах на страницах журнала «La Pensée». — «В. И.», 1967, № 9, с. 192—200.
- Щепкин Е. Н.** Вопросы методологии истории. — «Летопись ист. филолог. о-ва при Новороссийском ун-те». 1905, т. XII, с. 275—318.
- Щепкин Ю.** Экономическое объяснение истории. СПб., 1907, 32 с.
- Энгель Г.** Очерк материалистической социологии. Пг., 1923, 142 с.
- Энгель Г.** Очерк теории общества и государства. СПб., 1910, 80 с.
- Южаков С. Н.** Социологические этюды. 2 т. СПб., 1891—1896.
- Юм Д.** Об изучении истории. Пер. с англ. — Соч., т. 2. М., 1965, с. 817—821.
- Юшкевич П.** О материалистическом понимании истории. СПб., 1907, 104 с.
- Якоби П.** Нравственные условия цивилизации (Опыт применения медико-психологического анализа к исследованию общественных явлений). — «Знание», 1873, т. X, № 1, с. 129—204; т. XI, № 2, с. 1—33.
- Яроцкий В.** Объективная необходимость прогресса. — «Вопросы философии и психологии», 1901, кн. 4, с. 342—375; кн. 5, с. 474—495.

III. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАТЕЛИ И ОБЗОРЫ

- Балузатый С. Д.** Теория литературы. Аннотированная библиография, т. 1. Л., 1929, 248 с.
- Белицкий А. Н. и Рутман Р. Е.** Выборочная библиография работ по теории истории. — Критика новейшей буржуазной историографии. Сб. статей. Л., 1967, с. 371—381.
- Бунакова О. В. и Каменецкая Р. В.** Библиография трудов института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. 1900—1962. Л., 1967, 281 с.
- Вайсборд Э. А., Голиков К. И. и др.** История исторической науки в СССР. Дооктябрьский период. Библиография. М., 1965, 704 с.
- Винберг Н. А., Заднепровская Т. Н. и др.** Советская археологическая литература. Библиография. 1918—1940. М.—Л., 1965, 373 с.; 1941—1957. М.—Л., 1959, 773 с.
- Гернет М. Н.** Указатель литературы русской и иностранной по статистике преступлений, наказаний и самоубийств. М., 1924, 48 с.
- Государство и право.** Библиографический указатель литературы за 1926—1932 гг. Ч. 1—2. М., 1934.
- Дурденевский В. и Берцинский С.** Опыт библиографии общественных наук за революционное трехлетие (1918—1920). М.—Л., 1925, 270 с.
- История экономической мысли народов СССР с древнейших времен до 1917 г.** Указатель книжной и журнальной литературы за 1945—1958. М., 1960, 160 с.
- Кареев Н.** Указатель социологической литературы. СПб., 1897, 33 с.
- Карсавин Л. П.** Краткий обзор литературы по методологии истории. — В кн.: Карсавин Л. П. Введение в историю (Теория истории). (Серия «Введение в науку. История», вып. I). Пб., 1920, стр. 45—61.
- Клыкова С. М.** Критика буржуазной и реформистской философии и социологии. Указатель литературы. 1956—1965. М., 1967, 156 с.
- Кулажников М. Н.** Теория государства и права. Библиография. 1954—1964. Ростов н/Д. 1964, 220 с.
- И. Л.-кий.** Обзор литературы по философии истории за 1872 г. — «Знание», 1873, № 9, с. 58—92.
- Овсянников А. Н.** Библиографический указатель. Литература всеобщей истории за 25 лет, с 1855 по 1880 г. СПб. 1880, 100 с.
- Розанов Я. С.** Исторический материализм. Библиография книжной и журнальной литературы за 1865—1924 гг. [Харьков], 1925, 153 с.

- Розанов Я. С.* Философско-социологическая литература марксизма за первое десятилетие Советской власти. (1917—1927). М., 1928, 319 с.
- Русская литература по всеобщей истории. Библиографический обзор под ред. Д. Н. Егорова. Вып. 1—3. М.—СПб., 1913—1915.
- Семковский С.* Указатель литературы об историческом материализме на русском и иностранном языках. — В кн.: Исторический материализм. Сб. статей. Сост. и перев. С. Семковский. 1919, с. 319—337.
- Серебряная Е. И.* История зарубежной домарксистской философии. Библиография литературы, вышедшей в СССР на русском языке за 1917—1962 годы. М., 1963, 300 с.
- Смоленский Ил.* Книги и статьи по методологии истории (и по социологии). — В кн.: *Смоленский И.* История как наука и как предмет преподавания. Одесса, 1905, с. 163—170.
- Сомов Н. М.* Библиография русской общественности (К вопросу об интеллигенции). 2 ч. М., 1927—1930.
- Стариков Н. В.* Библиография к ст. «Исторический материализм». — Философская энциклопедия, т. 2. М., 1962, с. 364—368.
- Тахтарев К. М.* Систематический указатель книг по главнейшим социологическим вопросам. — В кн.: *Тахтарев К. М.* Социология, ее краткая история, научное значение, основные задачи, система и методы. Пр., 1917, стр. 76—112.
- Философия истории. [Рубрика.] — Новая иностранная литература по философии. Библиографический бюллетень. М., 1962—1967. (Фундамент. 6-ка обществ. наук им. В. П. Волгина АН СССР).
- Historical methods. [Рубрика.] — International Bibliography of Sociology, vol. XII—XVII. London, 1962—1967.
- Index to Volumes of «History and Theory», 1960—1966. — «History and Theory». 1967, vol. VI, N 1, p. 131—155.
- Klein M.* Bibliography of Writings on Historiography and the Philosophy of History. — Generalization in the Writing of History. Ed. by L. Gottschalk. Chicago, 1963, p. 213—247.
- Marxism and History. A Bibliography of English Language Works. Ed. by Lionel Munby and Ernst Wangermann. London, 1967, 62 p.
- Nowicki M.* Bibliography of Works in the Philosophy of History. 1958—1961. The Hague, 1964, 25 p.
- Rule J.* Bibliography of Works in the Philosophy of History. 1945—1957. The Hague, 1961, 87 p.
- Vurgaft L. D.* Bibliography of Works in the Philosophy of History. 1962—1965. Wesleyan University Press, 1967, p. 1—45.

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ РЕДАКЦИИ	5
ИСТОРИЯ КАК НАУКА <i>Гулыга А. В.</i>	7
ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАКОНОМЕРНОСТИ <i>Гуревич А. Я.</i>	51
О НАЧАЛЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ИСТОРИИ <i>Поршнев Б. Ф.</i>	80
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДОКАПИТАЛИ- СТИЧЕСКИХ ФОРМАЦИЙ <i>Виткин М. А.</i>	113
ОБЩЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ КАК ПРЕДМЕТ ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ <i>Плимак Е. Г.</i>	133
К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ <i>Ракитов А. И.</i>	161
ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ И НАУЧНЫЙ МЕТОД <i>Левада Ю. А.</i>	186
КАТЕГОРИЯ ВРЕМЕНИ В БУРЖУАЗНОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ XX ВЕКА <i>Гайденко П. П.</i>	225
К СПОРАМ О ЛОГИКЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЪЯСНЕНИЯ (СХЕМА ПОППЕРА — ГЕМПЕЛЯ И ЕЕ КРИТИКИ) <i>Кон И. С.</i>	263
МАТЕРИАЛЫ К БИБЛИОГРАФИИ ПО ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ <i>Сост. Сенокосов Ю. П.</i>	296

ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ

*Утверждено к печати
Институтом философии АН СССР*

Редактор Издательства
И. А. Беседин

Художник
Т. З. Шлосберг

Технический редактор
О. М. Гуськова

Сдано в набор 13/I 1969 г. Подписано
к печати 2/VI 1969 г.
Формат 60×90 1/16. Бумага № 2.
Усл. печ. л. 20. Уч.-изд. л. 21,1.
Тираж 5600.
Т-06781. Тип. зак. 25
Цена 1 р. 46 к.

Издательство «Наука»
Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
1-я типография издательства
«Наука».
Ленинград, В-34, 9 лин. п. 12

